

МИРОВОЙ **МБ** БЕСТСЕЛЛЕР®

Джойс Кэрол

ОУТС

ОДЕРЖИМЫЕ



Ногосту

МИРОВОЙ **МБ** БЕСТСЕЛЕР

Джойс Кэрол

ОУТС

ОДЕРЖИМЫЕ

Новости

МИРОВОЙ **МБ** БЕСТСЕЛЛЕР®

СЕРИЯ

Joyce Carol
Oates

HAUNTED

TALES OF THE
GROTESQUE

МИРОВОЙ **МБ** БЕСТСЕЛЛЕР®

Джойс Кэрол
Оутс

ОДЕРЖИМЫЕ

Новости

Москва, 1998

УДК 820(73)-31
ББК 84.7(7 Сое.)
О90

Перевод с английского Юлии РЫБАКОВОЙ
Книга издана в суперобложке

Исключительное право публикации книг, выходящих в серии «Мировой бестселлер», принадлежит АО „Издательство «Новости»“. Выпуск произведений серии без разрешения Издательства считается противоправным и преследуется по закону.

По вопросам оптовой закупки книг серии «Мировой бестселлер» обращаться по телефонам (095) 265-50-53 и 265-56-62.

Служба «Книга-почтой» Издательства: (095) 261-98-22.

На книги серии «Мировой бестселлер» можно подписаться в Агентстве «Книга-Сервис» по адресу: 117168, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1 (ст. метро «Профсоюзная»), тел. (095) 129-29-09, 124-94-49.

Наложенным платежом книги этой серии можно заказать через ЗАО «Бета-Сервис» по адресу: 111116, г. Москва, а/я 30, «Мировой бестселлер».

ISBN 5—7020—1017—5

Copyright © The Ontario Review, Inc., 1994

© АО „Издательство «Новости»“, издание на русском языке, 1998

© Ю.К.Рыбакова, перевод, 1998

© М.М.Занегин, художественное оформление 1998

Посвящается Элен Датлоу

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I	9
Привидения	11
Кукла	36
Ведущий «Бинго»	61
Белая кошка	86
ЧАСТЬ II	113
Натурщица	115
ЧАСТЬ III	167
Смягчающие обстоятельства	169
Доверьтесь мне	177
Виновный	181
Предчувствие	197
Смена фазы	215
ЧАСТЬ IV	237
Бедный Биби	239
День благодарения	248
Слепая	263
Радиоастроном	279
Проклятые обитатели Дома Блай	287
Мученичество	322
ПОСЛЕСЛОВИЕ:	
Размышления о гротеске	343

ЧАСТЬ I

ПРИВИДЕНИЯ

Дома с привидениями — запретные дома. Старая ферма Медлоков. Ферма Эрлих. Ферма Минтон на речке Элк. «Посторонним вход запрещен», — гласили таблички, но мы входили сколько хотели. Закон не допускал охоту, ловлю рыбы и любые прогулки, но мы делали все, что вздумается, потому что кому было остановить нас?

Наши родители предостерегали, чтобы мы держались подальше от покинутых владений: «Старые дома и амбары опасны», — говорили они. «Вас могут напугать», — говорили они. Я спросила маму, были ли там привидения, и она ответила, что, конечно нет, что там нет таких вещей, как привидения, и что я должна знать это. Она была недовольна мной, она недоумевала, как я могла верить в то, во что раньше никогда не верила, в то, из чего я давно уже выросла. Хотя это была лишь детская привычка — притворяться, что все еще маленькая, более ребенок, чем есть на самом деле. Я таращила глаза и старалась выглядеть удивленной и испуганной. Девочки склонны к таким притворствам, это форма скрытности, когда почти всякая мысль — тайная мысль. А с открытыми, но невидящими глазами можно окунуться в мечты, от которых кожа становится холодной и влажной и сердце начинает сильно биться, в мечты, которые, кажется, тебе не принадлежат, которые, должно быть, явились тебе от-

куда-то от кого-то, кого ты не знаешь, но кто знает тебя.

«Призраков не бывает, — говорили нам. — Это обыкновенное суеверие». Но ведь мы могли пораниться, лазая там, где нельзя. Полы и лестницы старых домов, должно быть, сгнили, крыши готовы обрушиться. Мы можем порезаться гвоздями и битым стеклом, мы можем провалиться в незакрытые колодцы. И потом, никогда не знаешь, с кем повстречаешься в заброшенном доме или амбаре, которые, казалось бы, давно пусты.

— Ты имеешь в виду бродяг? Вроде тех, кто слоняется по дорогам? — спросила я.

— Это может быть и бродяга, и кто-то, кого ты знаешь, — уклончиво ответила мама. — Мужчина или мальчик, кто-нибудь, кого ты знаешь... — Ее голос смущенно затих, и я передумала расспрашивать дальше.

Есть вещи, о которых не говорят. Так это было тогда. Но и впоследствии я никогда не беседовала об этом со своими собственными детьми, потому что у меня не находилось подходящих слов.

Мы выслушивали все, о чем рассказывали наши родители, мы почти всегда соглашались со всем, что они говорили, но потом тайком убегали и делали все, что заблагорассудится. Когда мы были маленькими девочками — моя соседка Мэри Лу Шискин и я — и когда мы подросли: в десять, в одиннадцать лет, наши мамы называли нас мальчуганками, хулиганками. Мы любили бродить по лесам и по берегу речки, оставляя позади целые мили. Мы, бывало, забирались на фермерские поля и следили за их домами — за теми, кого знали, за знакомыми ребятами из нашей школы. Больше всего мы любили исследовать пустовавшие, заколоченные усадьбы. Если удавалось залезть внутрь, пугали себя, воображая, что комнаты населены привидениями, хотя на самом деле знали, что привидений там не было, потому что привидений не существовало вообще. Хотя...

Я пишу в дешевенькой записной книжке с заляпанной обложкой и линованными страницами, в такой, которыми мы пользовались в школе. «В некотором царстве, в некотором государстве», — как говорила я своим детям, когда они засыпали в своих кроватках. «В некотором царстве, в некотором государстве», — начинала я, читая книжку, потому что так было надежнее. Несколько раз, слушая мои собственные истории, они пугались моего голоса и потом долго не могли заснуть. Я тоже не могла спать, а мой муж спрашивал: «Что случилось?» И я отвечала: «Ничего», — отворачиваясь, чтобы он не видел презрительного выражения моего лица.

Пишу карандашом, чтобы легко было стирать, и замечаю, что стираю постоянно, затирая бумагу до дыр. Миссис Хардинг, учительница пятого класса, учила нас аккуратно обращаться со школьными тетрадями. Она была грузная, с лицом жабы. У нее был низкий и хриплый, но задиристый голос, когда она спрашивала: «Вы, Мелисса, что скажете в свое оправдание?» А я с дрожащими коленками стояла молча. Моя подруга, Мэри Лу, смеялась в ладонь, извиваясь на стуле, потому что находила меня очень смешной. «Скажи старой ведьме, чтобы катилась к черту, — говорила она. — Тогда она тебя зауважает». Но, конечно, никто никогда не скажет такое миссис Хардинг. Даже Мэри Лу.

— Что вы имеете в свое оправдание, Мелисса, подавая тетрадь с рваной страницей? — Моя отметка за домашнюю работу была снижена с А до В, а миссис Хардинг награждена чувством глубокого удовлетворения, когда ставила жирную красную В, сморщив страницу. — От вас, Мелисса, я ожидала большего, вы разочаровали меня, — всегда говорила миссис Хардинг. Вот так, много лет спустя я помню эти слова лучше, чем те, что слышала на днях.

Однажды в классе появилась хорошенькая сменщица миссис Хардинг.

— Миссис Хардинг нездорова, сегодня я вместо нее, — сообщила она. Но мы видели беспокойство на ее лице, и мы догадались, что был какой-то секрет,

который она пока не скажет. Мы терпеливо ждали. А через несколько дней сам директор пришел в класс, чтобы сообщить нам, что миссис Хардинг больше не придет — она умерла от удара. Он говорил осторожно, будто мы были маленькие дети и могли огорчиться Мэри Лу, встретившись со мной взглядом, подмигнула, а я села на место с очень странным чувством, будто что-то начало заполнять мою голову, густое, как мед, и теплое, медленно стекая по спине.

— Отче наш, сущий на небесах... — возносила я молитву вместе со всеми, опустив голову и сжав сильно руки, но мои мысли были где-то, где-то там, прыгая бешено и неистово, и я знала, что у Мэри Лу они тоже были где-то.

По дороге домой в школьном автобусе она шепнула мне на ухо:

— Это все из-за нас, верно! То, что случилось с этой старой кошелкой Хардинг. Но мы никому не скажем.

«В некотором царстве, в некотором государстве жили-были две сестрицы, и одна была очень красивая, а другая была очень безобразная...» Хотя Мэри Лу Шискин вовсе не была моей сестрой. Я не была безобразной на самом деле, просто болезненного цвета мелкое, как у хорька, личико, с темными, почти без ресниц глазами, очень близко посаженными, и с носом, который выглядел не очень правильным. Вдобавок постоянное выражение тоски и разочарования.

А вот Мэри Лу действительно была хорошенькой. Даже в те немногие минуты, когда она бывала грубой и неуклюжей. С такими длинными шелковистыми белыми волосами, за которые долгие годы ее помнили все... А как же? Ведь когда потребовалось опознать ее, то именно эти шелковые белые волосы рассеяли последние сомнения.

Бессонные ночи. Я их люблю. По ночам я пишу, а сплю днем. Уже год, как умер мой муж, мои дети разлетелись и заняты своей собственной эгоистичной жизнью, как все дети, и некому помешать мне, некому совать нос в мои дела, некому во всей округе постучать

в мою дверь и спросить, жива ли я. Иногда из глубины зеркала явится неожиданное лицо, незнакомое, четкое, опустошенное, с глубоко посаженными глазами, вечно мокрыми, вечно моргающими от испуга, или смутнения, или просто от удивления, но я быстро отвожжу взгляд, мне вовсе незначит глядеть.

Все правда, что вы слышали о суетности стариков. Сознают себя молодыми, и действительно, под старыми лицами — сушие дети, и такие наивные!

Однажды, когда я была молоденькой невестой, почти симпатичной, румяной при хорошем настроении, со сверкающими глазами, мы поехали за город на воскресную прогулку. И, конечно, хотели поллюбезничать. Он был робок и неловок, как я, но он хотел нашей близости, а я убежала в кукурузное поле, в чулках, на высоких каблуках, притворяясь той, какой я никогда не могла быть, может Мэри Лу Шискин, Мэри Лу, которую мой муж никогда не знал. Вдруг я стала задыхаться и испугалась. Это был ветер в стеблях кукурузы, сухой шуршащий звук, этот ужасный шелест, будто шепот, как потусторонние голоса, и он поймал меня и хотел удержать, а я оттолкнула его, рыдая, а он спросил: «Что случилось? Боже мой, что случилось?»

Будто он действительно меня любил, будто его судьба заключалась во мне, но я знала, что никогда не буду достойна ее, той любви, того значения. Я прекрасно понимала, что была всего лишь Мелиссой, дурнушкой, той, на которую мальчишки не взглянут второй раз, и однажды он это поймет, и узнает, как его провели. Я оттолкнула его и сказала: «Оставь меня! Не прикасайся ко мне! Ты презираешь меня!» — прокричала я.

Он отпустил, а я спрятала лицо, рыдая.

Но потом, всего несколько недель спустя, я забеременела, как это обычно бывает.

Вокруг покинутых домов всегда были истории, и почти всегда они были печальные. Потому что фермеры разорялись и вынуждены были уезжать. Потому

что кто-то умирал, а ферму невозможно было содержать в должном порядке, и никто не хотел ее покупать, как ферму Медлоков, за речкой. Мистер Медлок умер в семьдесят девять лет, а миссис Медлок отказалась продавать ферму и жила одна, пока не пришел кто-то из местного здравоохранения и забрал ее. «Какой ужас», — говорили мои родители. «Бедная женщина», — говорили они и просили нас никогда, никогда не соваться в амбары Медлоков или в дом — постройки едва держались, даже при хозяевах они нуждались в хорошем ремонте.

Говорили, что миссис Медлок свихнулась, когда нашла своего мужа мертвым в одном из амбаров. Он лежал, распростертый на спине, с вытаращенными глазами, открытым ртом и высунутым языком. Она пошла искать его, а нашла вот таким и, говорят, никогда не смогла пережить это, не смогла вынести потрясения. Ее пришлось отправить в местную больницу для ее же блага (так говорили), а дом и амбары заколотить. Теперь здесь повсюду буйствовала высокая трава и чертополох. Весной цвели колокольчики, летом появлялись лилии. Когда мы проезжали мимо, я смотрела и смотрела, слегка прикрыв глаза, боясь увидеть кого-нибудь в окнах. Будет ли это лицо, бледное и осторожное, или мрачная фигура, взбирающаяся по крыше, чтобы спрятаться за трубой.

Мы с Мэри Лу гадали, были ли в доме привидения, были ли призраки в амбаре, где умер старик. Мы бродили вокруг, шпионя, мы не могли удержаться, каждый раз подкрадываясь все ближе и ближе. Но потом что-нибудь обязательно пугало нас, и мы убегали сквозь чащу, толкаясь и хватаясь друг за друга. Но вот однажды мы подошли к самому дому с черного входа и заглянули в окошко. Мэри Лу верховодила, Мэри Лу велела не бояться, ведь там никто больше не живет, и никто нас не поймает, и не важно, что земля была чья-то, полиция не арестовывала детей нашего возраста.

Мы обследовали амбары, сняли деревянную крышку с колодца и стали бросать туда камни. Мы подзыва-

ли кошек, но они не давали погладить себя. Это были амбарные кошки, тощие и нездоровые на вид. В местной конторе рассказывали, что миссис Медлок пустила к себе несколько кошек, и поэтому дом насквозь пропах ими. Когда кошки не подходили к нам, мы злились и швыряли в них камни, а они убегали шипя. «Противные, грязные твари», — говорила Мэри Лу. Однажды, ради забавы, мы залезли на рубероидную крышу над кухней Медлоков. Мэри Лу хотела потом залезть на большую крышу, на самый верх, но я испугалась и крикнула: «Нет, нет, пожалуйста, не делай этого, нет, Мэри Лу, пожалуйста». И голос у меня был такой страшный, что Мэри Лу взглянула на меня и не смеялась, и не дразнилась, как обычно. Крыша была такой покатою, я чувствовала, что она могла убиться. Я представила, как она срывается, скользит, я видела ее удивленное лицо и ее разметавшиеся волосы, когда она падала, и я отчетливо ощущала, что ничто ее не спасет.

— Ты зануда, — сказала Мэри Лу и сильно ушипнула меня. Но на крышу все-таки не полезла.

Потом мы бегали по амбарам, визжа во все горло, в свое удовольствие, до чертиков, как говорила Мэри Лу. Мы сваливали вещи в кучу: куски битой утвари, обрывки кожи, конской упряжи, охапки соломы. Скотины на ферме давно уже не было, но запах ее был еще силен. Сухой конский и коровий помет походил на грязь. Мэри Лу предложила: «Знаешь что, хочется сжечь все это». Она взглянула на меня, и я согласилась: «Ладно, давай, сожги все». Мэри Лу сказала: «Ты думаешь, я не смогу? Только дай мне спички». А я ответила: «Ты знаешь, у меня нет спичек». Мы переглянулись. И я почувствовала, как что-то наполнило мою голову, и в горле защекотало, будто я готова была то ли засмеяться, то ли заплакать. «Ты сумасшедшая». А Мэри Лу заявила, презрительно усмехнувшись: «Это ты сумасшедшая, тупица. Я просто дразнила тебя».

Когда Мэри Лу исполнилось двенадцать лет, моя мама возненавидела ее и всячески старалась поссорить

нас, она очень хотела, чтобы я подружилась с другими девочками. Она говорила, что у Мэри Лу дерзкий язык. На самом деле Мэри Лу не уважала старших, даже своих родителей. Мама догадывалась, что Мэри Лу смеялась над ней за ее спиной, распускала язык о нашей семье. Она была подлая, резкая, очень сообразительная, иногда грубая, как ее братья. Почему у меня не было других подруг? Шискины — такая дрянь. А как мистер Шискин вел свое хозяйство...

В городе, в школе, Мэри Лу часто игнорировала меня и сторонилась в присутствии других девочек, тех, что жили в городе, у которых отцы не были фермерами, как наши. Но когда приходило время отправляться в автобусе домой, она садилась рядом со мной, будто ничего не произошло, и я помогала ей с домашним заданием, если ей было нужно. Иногда я ненавидела ее, но потом все прощала, как только она улыбнется мне и скажет: «Эй, Лисса, ты на меня сердись?» Я строю рожицу и скажу: «Нет», совершенно не обижаясь на ее вопрос. Иногда я воображала, что Мэри Лу — моя сестра. Частенько я рассказывала себе историю о том, что мы сестры и очень похожи. На самом деле Мэри Лу иногда говорила, что хотела бросить семью, свою проклятую семью, и переехать ко мне. Потом, на следующий день или спустя час, она становилась угрюмой и дразнила меня почти до слез. «Все Шискины отличаются неприятным, дурным характером», — говорила она соседям, как будто гордилась этим.

Ее волосы были очень светлые, почти белые на солнце. Когда я впервые встретила ее, они были заплетены в косу и уложены вокруг головы. А она ненавидела эту косу, которую заплетала ей ее бабушка. «Точно Принцесса или Белоснежка из какой-нибудь проклятой глупой детской книжки с картинками», — говорила Мэри Лу. Когда она подросла, то отпустила косу ниже пояса и носила ее свободно. Коса была очень красивая, шелковистая и сверкающая. Я иногда мечтала о волосах Мэри Лу, но мечты эти были туманными. Просыпаясь, я никогда не могла вспомнить, была ли я

сама с длинными белыми волосами или это был кто-то другой. Лежа в постели, я некоторое время собиралась с мыслями, а потом вспоминала Мэри Лу, мою лучшую подругу.

Она была старше меня на десять месяцев и на дюйм повыше, немного тяжелее, не толстая, но в теле, крепкая и сбитая, с твердыми мускулами на руках, как у мальчика. У нее были голубые, как вымытое стекло, глаза, брови и ресницы почти белые. У нее был вздернутый нос и широкие славянские скулы, а рот порой был то нежен, а то искажен и насмешлив, в зависимости от ее настроения. Но она не любила свое лицо. «Потому что оно круглое, как луна», — говорила она, уставившись на себя в зеркало, хотя отлично знала, что была хорошенькая. Разве старшие мальчики не свистели ей вслед, разве водитель автобуса не кокетничал с ней, называя «блондиночкой», в то время как меня он никогда никак не называл.

Мама не любила, чтобы Мэри Лу приходила ко мне, когда никого не было дома. Она говорила, что не доверяет ей. Думала, что она может что-нибудь украсть или будет совать свой нос в те части дома, где ей бывать не следовало. «Эта девочка плохо на тебя влияет», — говорила она. Но все это была старая чепуха, которую я слышала так часто, что уже вовсе перестала слушать. Я бы сказала ей, что она сумасшедшая, но от этого могло стать только хуже.

Однажды Мэри Лу спросила:

— Разве ты не ненавидишь меня? Как твоя мама и моя? Иногда мне хочется...

Я закрыла уши руками и отвернулась.

Шискины жили в двух милях от нас, в самом конце дороги, где она сужалась. В то время дорога была немощеная и никогда не чистилась зимой. Помню их амбар с желтой силосной ямой. Помню грязный пруд, где поились дойные коровы; навоз, в котором они топтались зимой. Я помню, как Мэри Лу сказала, что хотела, чтобы все эти коровы сдохли — они вечно болели чем-нибудь, — тогда бы папа не выдержал и продал бы ферму, и они смогли бы жить в городе в

хорошеньком домике. Мне было больно слышать такое от нее, словно она забыла обо мне и бросила меня. «Будь ты проклята», — прошептала я.

Печка в доме Шискинов топилась дровами. Помню, как поднимался дым из их кухонной трубы, прямо в зимнее небо, словно вдох, который вы делаете все глубже и глубже, пока не закружится голова.

Потом этот дом опустел, но был заколочен всего на несколько месяцев — банк продал его на аукционе (оказалось, что банк владел большей частью фермы Шискинов, даже дойными коровами. Этого Мэри Лу не знала и ошибалась в своих планах).

Когда пишу, то слышу хруст травы, чувствую траву под ногами. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были две маленькие принцессы, две сестры, которые делали то, чего нельзя. Это хрупкое ужасное ощущение под ногами, скользкое, как вода. «Есть кто-нибудь дома? Эй, есть кто дома?» А там старый календарь, приколотый к кухонной стене, выцветшая картинка Иисуса Христа в длинной белой рубаше, забрызганной красным, с терновым венцом на склоненной голове. Мэри Лу хочет испугать меня, пытаюсь сделать вид, что в доме кто-то есть, и мы обе визжим и с хохотом убегаем туда, где нестрашно. Бешеный испуганный смех, а я никогда не знала, что в этом смешного или почему мы это делали. Добивали остатки оконных стекол, наваливались на ветхие перила, чтобы расшатать их совсем, бегали, наклонив голову, чтобы в лицо не попала паутина.

Одна из нас нашла мертвую птицу, скворца, в бывшей прихожей дома. Перевернули его ногой — у него был открытый глаз, который глядел прямо вверх, спокойно и обыкновенно. «Мелисса, — говорил этот глаз, безмолвный и ужасный, — я тебя вижу».

Это был старый дом Минтонов, каменный дом с провалившейся крышей и сломанным крыльцом, словно со старой фотографии. Со стороны дороги дом выглядел большим, но когда мы его изучили, то были разочарованы, узнав, что он не больше моего собственного

дома, всего лишь четыре узкие комнаты внизу, еще четыре наверху, чердак с косым потолком, полуразрушенная крыша. Амбары давно развалились, остался только каменный фундамент. Землю продали другим фермерам, в доме уже много времени никто не жил. «Старый дом Минтонов», — называли его люди. На речке Элк, где однажды нашли тело Мэри Лу.

В седьмом классе у Мэри Лу появился парень, которого у нее не должно было быть, и поэтому никто не знал об этом, кроме меня. Старший мальчик, который оставил школу и батрачил на ферме. Мне казалось, что он немного заторможен, не в речи, которая была достаточно беглая, вполне нормальная, а в том, как он соображал. Ему было шестнадцать или семнадцать, звали его Ганс. У него были жесткие белые волосы, как щетина у щетки, грубое корявое лицо, насмешливые глаза. Мэри Лу говорила, что просто с ума от него сходит, подражая более взрослым девочкам из города, которые всегда говорили, что «просто без ума от...» какого-то мальчика. Ганс и Мэри Лу целовались, когда думали, что я их не вижу, в развалинах на кладбище за домом Минтонов или на берегу речки в высокой болотной траве в конце дороги Шискинов. У Ганса была машина, которую он одолжил у одного из своих братьев, побитый «форд», передний бампер подвязан проволокой, выхлопная труба скребет землю. Мы выходили гулять на дорогу, а Ганс подъезжал, гудя клаксоном, и останавливался. Мэри Лу забиралась в машину, а я отходила в сторону, зная, что совершенно им не нужна, и ну их к черту. Я делала вид, что гуляю одна.

«Ты просто ревнуешь меня к Гансу», — сказала Мэри Лу с осуждением, и мне нечего было ответить. «Ганс прелесть. Ганс милый. Он не такой, как о нем говорят», — сказала Мэри Лу высоко и быстро, как научилась у старшей девочки из города, которая пользовалась известностью. «Он... — и она уставилась на меня, моргая и улыбаясь, не зная, что сказать, будто, по сути, она вообще не знала Ганса, — он не

простой, — сердито пояснила она. — Он просто не любит много болтать».

Пытаясь вспомнить Ганса Мюнцера спустя долгие десятилетия, могу лишь представить себе мускулистого парня с коротко остриженными светлыми волосами и с ушами торчком, с рябой кожей и с намеком на усы над верхней губой. Он смотрит на меня, сузив жесткие глаза, будто понимает, как я его боюсь, как хочу, чтобы он умер, исчез. И он тоже, наверное, ненавидит меня, если вообще воспринимает серьезно. Но он относится ко мне никак, его взгляд лишь скользит по мне, будто на моем месте никого нет.

Было много историй о всех заброшенных домах, но самая ужасная была про дом Минтонов, у дороги, возле речки Элк, в трех милях от нашего дома. Кто-то узнал, что мистер Минтон почему-то забил свою жену насмерть, а потом застрелился из ружья двенадцатого калибра. Он даже не пил, да и дела у него были не так уж плохи, по сравнению с другими.

Глядя на развалины, заросшие вьюном и дикой розой, трудно было поверить, что там случилось такое. Чрезвычайные события, и даже страшные дела человеческие, выглядят такими безмятежными, когда про них начинают забывать.

Все годы, что я помню, дом стоял заброшенный. Большая часть земель была продана, но наследники не хотели связываться с домом. Они не думали его продавать, и не думали его восстанавливать, и, конечно же, не собирались в нем жить, поэтому он был пуст. Владения были усеяны строгими табличками, но никто не обращал на них внимания. Бандиты вломились в дом и все разворовали, ребята Макфарланы однажды ночью пытались сжечь старый-старый сенной сарай. В то лето, когда Мэри Лу начала встречаться с Гансом, мы с ней залезли в дом через слуховое окошко — доски, охраняющие его, давно были сорваны — и медленно, как лунатики, прошли по комнатам, обхватив друг друга руками за талию, напряженно всматриваясь в пустоту, готовые увидеть призрак мистера Мин-

тона за каждым углом. Внутри пахло мышиным помесом, плесенью, гнилью, старой печалью. Куски обоев, сорванные со стен, обвалившаяся штукатурка, перевернутая и сломанная мебель, пожелтевшие газеты под ногами и битое стекло. Сквозь разбитые окна трепетно дрожащими полосками проливался свет. Воздух был подвижен, точно живой: танцующие атомы пыли.

«Я боюсь», — шепнула Мэри Лу. Она сжала мою поясницу, и во рту у меня пересохло. Не слышалось ли мне что-то наверху — тихий настойчивый шепот, вроде ворчания, будто кто-то пытается уговорить кого-то. Но, когда я замерла, прислушалась, звук исчез и остались слышны только успокаивающие летние голоса птиц, сверчков и цикад.

Я знаю, как умер мистер Минтон: он нацелил дуло ружья себе под подбородок и нажал курок пальцем ноги. Его нашли наверху в спальне, полголовы разнесло. Тело его жены обнаружили в баке на чердаке, куда он пытался ее спрятать. «Думаешь, нам стоит сходить наверх?» — с беспокойством спросила Мэри Лу. У нее похолодели пальцы, а на лбу я увидела маленькие капельки пота. Ее мама заплела ей одну толстую опрятную косу, так она ходила большую часть лета, но сейчас некоторые локоны выбились.

— Нет, — проговорила я испуганно. — Не знаю. — Мы не решались подняться в спальню и долго просто стояли на месте.

— Конечно не надо, — согласилась Мэри Лу. — Чертовы ступеньки развалятся под нами.

На полу и на стене в прихожей были капли крови.

— Я их видела. — Мэри Лу усмехнулась. — Это просто мокрые брызги, тупица.

Я слышала голоса наверху, или это был один жужжащий назойливый голос? Я хотела, чтобы Мэри Лу тоже услышала, но она их не замечала.

Наконец мы были в безопасности, мы отступали. Мэри Лу сказала, будто покаялась:

— Да, этот дом особенный.

Мы заглянули в кухню, надеясь найти что-нибудь ценное, но там ничего не было, только битая посуда,

старые кастрюли и сковородки, да еще пожелтевшие газеты. Вдруг сквозь окно мы увидели змею, загорающую на ржавом водяном баке, растянувшуюся на два фута. Она была красивого медного цвета, ее чешуя блестела, как пот на мужской руке. Казалось, она спала. Никто из нас не завизжал, не захотел бросить в нее чем-то, мы просто стояли, глядя на нее очень долго.

У Мэри Лу больше не было парня. Ганс перестал приходить. Мы иногда видели его за рулем старого «форда», но он, похоже, нас не замечал. Мистер Шискин, узнав про него и Мэри Лу, задавал ей всякие неприятные вопросы, перебивая ее и не веря ей. Потом он неожиданно подверг ее ужасному унижению, отправившись к Гансу и притащив его.

— Ненавижу их всех, — заявила Мэри Лу, ее лицо потемнело от прилива крови. — Как бы я хотела...

Мы отправлялись на ферму Минтонов на велосипедах или ходили туда через поля. Это место нравилось нам больше всего. Иногда брали с собой поесть: пирожки, бананы, конфеты. Сидели на сломанных ступеньках на крыльце, словно это был наш дом. Словно мы были сестры, которые жили в доме и устроили на крыльце пикник. Вокруг летали пчелы, мухи, комары, и мы их отгоняли. Мы укрывались в тени, потому что солнце было такое злое и жгучее — белесый жар, льющийся прямо на голову.

— Тебе хотелось бы убежать из дома? — спросила Мэри Лу.

— Я не знаю, — ответила я беспокойно. Мэри Лу вытерла рот и презрительно сощурилась на меня.

— Я не знаю, — повторила она фальцетом, передразнивая меня.

Сверху за нами кто-то следил, женщина или мужчина, кто-то там стоял, старательно прислушиваясь, а я не могла двигаться, такая медлительная и сонная от жары, точно муха, застрявшая на липком цветке, который собирается захлопнуть ее и проглотить. Мэри Лу смяла кусок вощеной бумаги и бросила его в траву.

Она тоже была сонная, медлительная и зевающая. Она сказала:

— Ни хрена, они же меня найдут. Тогда еще хуже.

Я покрылась потом, меня начало знобить. По рукам пошла гусиная кожа. Я видела нас, сидящих на каменных ступеньках, так, как мы смотрелись бы со второго этажа. Мэри Лу с вытянутыми и раскинутыми ногами, коса через плечо, я сижу, обняв колени руками, моя спина напряженная и прямая, потому что знаю, что за мной следят.

Мэри Лу спросила, понизив голос:

— Ты трогала себя в некоторых местах, Мелисса?

— Нет, — ответила я, делая вид, что не понимаю, о чем это она.

— Ганс хотел это сделать, — сказала Мэри Лу. В эту минуту она была ужасно противная. Потом она захихикала. — Я ему не разрешила, потом он еще кое-что захотел — начал расстегивать брюки и просил, чтобы я его потрогала. И...

Мне нужно было заткнуть ее, ударить по губам. Но она продолжала, а я не произнесла ни слова, пока мы обе не начали хихикать, и я не могла остановиться. Потом я большую часть забыла, даже забыла, почему была так возбуждена, и мое лицо горело, а глаза слезились, когда я смотрела на солнце.

По дороге домой Мэри Лу сказала:

— Некоторые вещи так печальны, что невозможно о них говорить.

Но я притворилась, что не слышу.

Спустя несколько дней я пришла одна. Через скошенное кукурузное поле: стебли сухие и сломанные, метелки выжжены. И этот шуршащий, шепчущий звук ветра, который я слышу теперь, если прислушаюсь. Моя голова болела от возбуждения. Я рассказывала себе истории о том, как мы строим планы побега, как мы предполагаем жить в доме Минтонов. Я подобрала с земли ивовый прут, упавший с дерева, но все еще зеленый и гибкий, и хлестала им все вокруг, словно

плеткой. Разговаривала с собой, хохотала, все время думая, не следит ли кто за мной.

Я залезла в дом через слуховое окошко и вытерла руки о джинсы. Волосы мои прилипли к затылку.

У подножия лестницы я позвала: «Кто там?» — голосом, который должен был сказать, что это была игра. Я знала, что никого нет.

Сердце мое бешено стучало и трепыхалось, как птица, пойманная руками. Без Мэри Лу мне было скучно, поэтому я звучно топала, чтобы они там знали, что я была здесь и не боялась. Я пела, свистела. Разговаривала с собой и била вещи ивовым прутом. Громко смеялась, немного сердитая. Почему я сердилась, ну, я не знала, кто-то шептал мне, приглашая наверх, кто-то предупреждал, чтобы я наступала на середину ступеней, а то они сломаются.

Внутри дом был красивый, если смотреть на него правильно, не обращая внимания на запах, стекла под ногами, битую штукатурку, заляпанные обои, свисающие ключьями. Высокие узкие окна, смотрящие на дикую разросшуюся зелень. Я услышала что-то в одной из комнат, но когда заглянула туда, то ничего не увидела, кроме кресла, лежащего на боку. Хулиганы сорвали с него обивку и хотели поджечь. Ткань была грязная, но я угадала, что она когда-то была симпатичная — цветочный рисунок, мелкие желтые цветочки и зеленый плющ. В кресле сидела женщина, крупная женщина с лукавыми, наблюдательными глазами. Она держала на коленях вязанье, но вязала, не просто уставившись в окошко, а в ожидании, кто бы пришел в гости.

Наверху комнаты были такие душные и жаркие, что у меня появились мурашки на теле, как при лихорадке. Я не боялась! Я хлестнула по стенам ивовым прутом. Высоко в углу в одной из комнат гудели осы вокруг толстого круглого гнезда. В другой комнате я выглянула в окно, чтобы вдохнуть воздуха, и тут же представила, что это мое окно. Я буду здесь жить. Она посоветовала мне прилечь отдохнуть, потому что у меня мог быть разрыв сердца, а я делала вид, что

ничего не знала о разрывах сердца, но она знала, что я знала, потому что разве не мой кузен свалился во время сенокоса в прошлом году? Говорили, что его лицо прокрылось пятнами и покраснело и что он быстро-быстро дышал, потому что ему не хватало кислорода, а потом он упал. Я смотрела на запущенный яблочный сад, чувствовала запах гниющих яблок, сладкий винный запах, небо было туманное, давящее, низкое и теплое, видимость плохая. Вдали, в полумиле, сквозь плавно качающиеся ветви ив блестела речка Элк, словно подмигивала.

Кто-то сурово приказал мне отойти от окна.

Но я не спешила повиноваться.

В самой большой комнате лежал старый матрас, снятый с ржавых-пружин и брошенный на пол. Местами вата из него была вынута, а весь он был в отметилах от сигарет. Ткань была испачкана чем-то вроде ржавчины, и мне не хотелось на него ложиться, но было надо. Однажды я пришла к Мэри Лу после школы и увидела матрас во дворе на солнце. Она сообщила с отвращением, что это был матрас ее младшего брата, он снова описался, и матрас проветривали. «Будто этот запах когда-нибудь выветрится», — ворчала Мэри Лу.

Внутри матраса что-то шевельнулось, черное и блестящее, это был таракан-прусак, но мне не разрешили вскочить. «Представь, что ты должна лечь на этот матрас и заснуть, — было сказано мне. — Представь, что не можешь уйти домой, пока не сделаешь этого». Мои веки были тяжелые, в голове стучала кровь. Надо мной пишал комар, но я была слишком усталая, чтобы прогнать его. «Ложись на матрас, Мелисса, — говорила она мне. — Ты знаешь, что должна быть наказана».

Я встала на колени, но не на матрас, а на пол возле него. Запахи комнаты были сильные и удушливые, ручейки пота стекали по лицу и из-под мышек, но мне было все равно, меня клонило ко сну. Я видела, как моя рука, словно чужая, медленно потянулась и дотронулась до матраса, и черный блестящий таракан убежал в испуге, и второй, и третий таракан, но я не могла вскочить и закричать.

«Ложись на матрас и прими наказание».

Я взглянула через плечо. Там на пороге стояла женщина, которую я никогда не видела. Она смотрела на меня. Ее темные глаза блестели. Она облизнула губы и пренебрежительно произнесла:

— Что ты делаешь в этом доме, мисс?

Я испугалась. Пыталась ответить, но говорить не могла.

— Ты пришла посмотреть на меня? — спросила женщина.

Трудно было определить ее возраст. Старше моей мамы, но выглядела моложе. На ней была мужская одежда. Ростом с мужчину, широкоплечая, длинноногая, с большими грудями, как коровье вымя, под рубашкой, не упрятанными в бюстгалтер, как у других женщин. Ее густые, жесткие седые волосы были коротко острижены, по-мужски, и торчали грязными клочьями. Глаза у нее были маленькие и черные, глубоко посаженные, кожа вокруг них была похожа на синяк. Я никогда не видела таких, как она. Ее бедра были громадные, шириной с меня. На пояснице у нее был валик мягкой кожи, но она не была толстой.

— Я задала тебе вопрос, мисс. Почему ты здесь?

От страха меня почти парализовало, я почувствовала, как начал сокращаться мой мочевого пузырь. Я молча уставилась на нее, постепенно нагибаясь к матрасу.

Казалось, что ей нравился мой испуг. Она подошла ближе, пригнувшись в дверях. Издевательски ласковым голосом она спросила:

— Ты пришла ко мне в гости, не так ли?

— Нет, — ответила я.

— Нет! — засмеялась она. — Ну конечно, да.

— Нет, я не знаю вас.

Она наклонилась ко мне и прикоснулась пальцами к моему лбу. Я зажмурила глаза, ожидая удара. Ее прикосновение было холодным. Она смахнула прилипшие волосы с моего лба.

— Я видела тебя здесь раньше. Тебя и ту, другую, — сказала она. — Как ее зовут? Ту блондинку. Вы нарушили закон.

Я не могла шевелиться, ноги онемели. Быстрые, отчаянные и назойливые мои мысли метались во все стороны, но не могли ни за что зацепиться.

— Тебя зовут Мелисса, не так ли? — спросила женщина. — А как зовут твою сестру?

— Она мне не сестра, — прошептала я.

— Как ее зовут?

— Не знаю.

— Ты не знаешь?

— Не знаю, — отозвалась я, приседая.

Женщина, сочувственно посмотрев на меня, отступила, полувздохнув, полухрюкнув.

— Придется тебя наказать.

Я вдыхала запах праха вокруг нее и еще чего-то холодного. Я начала хныкать, говорить, что не сделала ничего плохого, никого не обидела в доме, я просто смотрела, я больше не буду.

Она улыбнулась мне, обнажив зубы. Она знала мои мысли задолго до того, как они приходили мне в голову.

Кожа на лице у нее слоилась, как луковая шелуха, словно обгорела на солнце или она болела какой-то кожной болезнью. Некоторые кусочки отвалились. Она казалась мокрой и лоснящейся.

— Не обижайте меня, — еле выговорила я. — Пожалуйста, не обижайте.

Я заплакала. Из носа текло, как у маленькой. Я хотела проползти мимо нее, подняться и убежать, но женщина стояла у меня на пути, загородив дорогу и наклонившись надо мною, дыша влажно и тепло в самое лицо, как корова.

— Не обижайте меня, — повторила я.

Но женщина возразила:

— Ты знаешь, что должна быть наказана. Ты и твоя хорошенькая блондинка сестра.

— Она не моя сестра, — сказала я.

— А как ее зовут? — Женщина наклонилась надо мной, извиваясь от смеха.

— Отвечай, мисс. Как ее имя?

«Не знаю», — хотела сказать я, но язык произнес:

— Мэри Лу.

Огромные груди женщины прыгали у нее на животе, я чувствовала, что она тряслась от смеха. Но при этом она спокойно говорила, что Мэри Лу и я очень плохие девочки, и знали, что ее дом был запретной территорией, и мы всегда это знали, а разве мы не знали, что люди приходили сюда поскорбеть под его крышей?

«Нет», — хотела сказать я, но язык произнес:

— Да.

Женщина смеялась, сгибаясь надо мной.

— Ну, мисс «Мелисса», как тебя называют твои родители, они не знают, где ты?

— Я не знаю.

— Не знают?

— Нет.

— Они ничего о тебе не знают, не так ли? Что ты делаешь и что думаешь? Ты и Мэри Лу.

— Нет.

Она долго смотрела на меня, улыбаясь. Улыбка ее была широкая и доброжелательная.

— Ты смелая маленькая девочка, не так ли? Самостоятельно мыслишь, верно? Ты и твоя хорошенькая маленькая сестричка. Бьюсь об заклад, что ваши попки взгрели не раз. — Женщина ухмыльнулась, показывая свои большие, пожелтевшие от табака зубы. — Эти нежные маленькие попки.

Я продолжала хныкать. Мой мочевого пузырь напрягся.

— Подай это, мисс, — приказала женщина. Она взяла ивовый прут из моей руки. Я забыла, что держала его. — Теперь я приступаю к наказанию, спусти джинсы. Спусти джинсы и ложись на матрас. Быстро. — Теперь она была строга и деловита. — Быстро, Мелисса! И трусики тоже! Или ты хочешь, чтобы я это сделала вместо тебя?

Она нетерпеливо хлестала прутом по ладони левой руки, издавая губами мокрый бранный звук. Бранилась и дразнила. Ее кожа блестела пятнами, туго натянутая на широких костях ее лица. Ее черные и мокрые маленькие глазки сузились еще больше. Она была

такая большая, что ей пришлось устроиться получше надо мной, чтобы, нагнувшись, не потерять равновесие и не упасть. Я слышала ее хриплое нетерпеливое дыхание, которое окружало меня как ветер.

Я сделала так, как она велела. Не я все это делала, а это происходило само.

— Не делайте мне больно, — шептала я, лежа на животе на матрасе с вытянутыми руками, вцепившись ногтями в пол. Грубое шершавое дерево ранило кожу. — Не делайте, не делайте мне больно. О, пожалуйста.

Но женщина не обращала на мои стенания никакого внимания, ее теплое, влажное дыхание стало громче, а половицы сильно закрипели под ее тяжестью.

— Теперь, мисс, теперь, «Мелисса», как тебя называют, это будет наш секрет, не так ли?

Когда все закончилось, она утерла рот и сказала, что сегодня она меня отпускает, если я пообещаю никогда никому не рассказывать и если завтра пришло к ней свою хорошенькую маленькую сестру.

— Она не сестра мне, — зарыдала я, когда смогла перевести дух.

Я потеряла контроль над своим мочевым пузырем и начала мочиться еще до последнего удара ивового прута, мочиться беспомощно и рыдать, а потом женщина отругала меня, говоря, что я не маленькая, чтобы так вот обмочиться, но в голосе ее слышалось сочувствие. Она отступила, чтобы дать мне пройти.

— Вон отсюда! Марш домой! И помни!

Я выскочила из комнаты, мне вдогонку звенел ее смех. Я бежала и бежала вниз по лестнице, будто ноги мои стали невесомыми, будто воздух стал водой, а я плыла. Я выбежала на улицу и через кукурузное поле, рыдая, бросилась домой, жесткие стебли хлестали меня по лицу.

— Вон отсюда! Марш домой! И помни!

Я сказала Мэри Лу о доме Минтонов и о том, что со мной там кое-что случилось, но что это был секрет. А она сперва не поверила, сказав с насмешкой:

— Это было привидение? Это был Ганс?

Я сказала, что не могу рассказать.

— Не можешь рассказать что? — спросила она.

— Просто не могу рассказать.

— Почему? — пытала она.

— Потому что обещала.

— Обещала кому? — не отставала Мэри Лу. Она смотрела на меня своими большими голубыми глазами, словно хотела загипнотизировать. — Ты проклятая врушка.

Потом она начала снова спрашивать меня, что случилось, что за секрет, было ли это связано с Гансом. Нравилась ли она ему еще, сходил ли он по ней с ума. А я, скривив свой рот, показывая, как я к нему отношусь, ответила, что Ганс тут ни при чем, совсем ни при чем.

— Тогда кто? — спросила Мэри Лу.

— Я говорю, что это секрет.

— О, черт, какой секрет?

— Секрет.

— Настоящий секрет?

Я отвернулась от Мэри Лу, дрожа, мой рот продолжал кривиться в странной, ужасной улыбке.

— Да, настоящий секрет, — сказала я.

В последний раз, когда я виделась с Мэри Лу, она не села рядом со мной в автобусе, а прошла мимо, высоко подняв голову, с презрением взглянув на меня краем глаза. Когда она выходила, то, поравнявшись со мной, толкнула и наклонилась, чтобы сказать: «Я сама выясню, но тебя я все равно ненавижу. — Говорила она достаточно громко, чтобы все услышали: — Всегда ненавидела».

«В некотором царстве, в некотором государстве», — начинаются сказки. Но потом они заканчиваются, и вы не знаете, что случилось, что на самом деле должно было случиться. Вы знаете только то, что вам сказали, только то, что подразумевают слова. Теперь, когда я

закончила свою историю, исписав полблочнота почерком, который меня разочаровывает, детская неуверенность смущает мою душу. Когда история закончена, я не знаю, что она значит. Я знаю, что произошло в моей жизни, но не знаю, что случилось на этих страницах.

Мэри Лу нашли убитой спустя десять дней после тех слов, что она сказала мне. Ее тело было найдено в речке Элк, в четверти мили от дороги и дома Минтонов. Где, как сообщала газета, никто не жил в течение пятнадцати лет.

Говорилось, что Мэри Лу было тринадцать лет. Ее не было семь дней, ее искали в округе все.

Отмечалось, что никто не жил в доме Минтонов многие годы и что только бродяги иногда находили там убежище. В той же заметке было сказано, что тело было раздето и изуродовано. Подробностей не было.

Это случилось очень давно.

Убийцу (или убийц, как обычно пишут в газетах) так никогда и не нашли.

Ганса Мюнцера, конечно, арестовали и держали в местной тюрьме три дня, пока полиция его допрашивала, но в конце концов вынуждены были его отпустить. Как объяснили в газетах, из-за недостатка улик, хотя все знали, что он виноват, кто же еще, все это знали. Еще долгие годы об этом шли пересуды, даже после того, как Ганс уехал и Шискины уехали тоже. Но никто не знал куда.

Ганс клялся, что не делал этого, что не видел Мэри Лу неделями. Были люди, свидетельствовавшие в его пользу, говорили, что он не мог этого сделать, потому что у него больше не было машины брата, и что все то время он работал. Трудился в поле и не мог улизнуть так далеко, чтобы сделать то, в чем обвиняла его полиция. И Ганс повторял и повторял, что не виноват. Мой папа сказал, что сукина сына следовало повесить, все знали, что это Ганс сделал, если только не какой-нибудь бродяга или рыбак. Рыбаки часто ездили на речку Элк поудить окуней, разводили костры на берегу

и оставляли мусор после себя. Иногда они забирались в дом Минтонов, ища, что бы утащить. В полиции были номера машин и водительских прав некоторых из них. Их допрашивали, но ничего не узнали. Потом был и тот сумасшедший, старый отшельник, живший в картонном домике возле свалки Шахин, и все говорили, что его давно надо отправить в больницу. Но все точно знали, что виноват Ганс, и Ганс убрался как можно скорее, просто исчез, и даже его семья не знала куда, если только они не обманывали, хотя утверждали, что не обманывали.

Мама обнимала меня, рыдая, мы обе плакали. Она говорила, что Мэри Лу была теперь счастлива, что Мэри Лу была теперь на небесах и что Иисус Христос взял ее к себе. И я знала это, не так ли? Мне хотелось смеяться, но я не смеялась. «Мэри Лу не следовало ходить с мальчиками, не с такими плохими мальчиками, как Ганс», — говорила мама. — Ей не следовало шляться так, как она это делала». Я знала это, не так ли? Слова мамы наполняли мою голову, наводняли ее, поэтому не было опасности, что я засмеюсь.

— Иисус и тебя любит, ты знаешь это, Мелисса? — спросила мама, все еще обнимая меня. Я сказала ей: «Да». Я не смеялась, потому что я плакала.

Они не взяли меня на похороны, сказали, что меня это испугает. Хотя гроб был закрытый.

Говорят, что когда вырастешь, то помнишь давние события лучше тех, что случились недавно, и теперь я обнаружила, что это так.

Например, я не помню, когда купила эту тетрадь в универсальном магазине Вулфорда — было ли это на прошлой неделе, или в прошлом месяце, или просто несколько дней назад. Не помню, почему начала писать, с какой целью. Но помню, как Мэри Лу наклонилась и прошептала мне в ухо те слова. И помню, как ее мама, спустя несколько дней, в неурочное время зашла к нам спросить, не видела ли я Мэри Лу в тот день. Помню, что у меня было в тарелке: пюре в виде маленького могильного холмика. Помню голос Мэри

Лу, когда она звала меня, стоя у дороги, сложив ладони рупором, за что мама ее не любила. Это была манера никчемных людей.

— Лисса! — звала Мэри Лу, а я отзывалась.

— О'кей, я иду!

В некотором царстве, в некотором государстве. .

КУКЛА

Много лет тому назад маленькой девочке подарили на ее четвертый день рождения старинный кукольный домик необычайной красоты, причудливости и удивительного размера, ибо он выглядел таким большим, что, казалось, в нем мог разместиться ребенок.

Говорили, что кукольный домик был построен почти сто лет тому назад дальним родственником матери маленькой девочки. В семье он переходил от поколения к поколению и все еще был в отличном состоянии: с высокой двускатной крышей, множеством высоких узких окон, с настоящими стеклами и темно-зелеными ставнями, которые закрывались, с тремя каминными из камня, игрушечными фонарями и игрушечным цоколем (белым), с верандой, которая почти окружала весь дом, цветными витражами на входной двери и на лестничной площадке первого этажа, вдобавок в домике был купол, который чудесно поднимался. В главной спальне стояла кровать с балдахином в белых кисейных оборках и рюшах, на большинстве подоконников расположились маленькие цветочные ящички, мебель, конечно викторианская, была вся без исключения роскошной, сделанной с невероятной тщательностью и любовью. Абажуры были украшены миниатюрной позолоченной бахромой. Стояла там и изумительная старинная ванна на львиных ножках, и почти в каждой комнате висела люстра. Впервые увидев кукольный

домик утром своего дня рождения, маленькая девочка была так изумлена, что не могла говорить, потому что подарок был неожиданный и сверхъестественно «реальный». Это был подарок со значением. Он должен был остаться хорошей памятью о ее детстве.

У Флоренс было несколько кукол, которые не могли все вместе уместиться в кукольном домике, потому что они были достаточно большими. Девочка подносила их близко к домику с открытой стороны и играла с ними. Она хлопотала над ними, шептала им что-то, ругала их и придумывала для них различные роли. Однажды из ниоткуда явилось имя Бартоломео — имя семьи, которой принадлежал кукольный домик. «Откуда ты взяла это имя?» — спрашивали ее родители, и Флоренс отвечала, что это были люди, которые жили в домике. Да, но они настаивали: «Откуда ты взяла это имя?»

Ребенок, смущенный и немного раздраженный, указал молча на куклу.

Одна кукла была девочка с белокурыми локонами и голубыми, почти круглыми глазами в густых ресницах, другая кукла была рыжим, веснушчатым мальчиком в хлопчатобумажном комбинезоне и клетчатой рубашке. Они брат и сестра. Еще была кукла-женщина, возможно мама, у которой были яркие красные губы, она носила шляпку, искусно сделанную из серо-голубых перьев. Был даже младенец, сделанный из нежнейшей резины, лысенький и невыразительный, и слишком большой, по сравнению с другими куклами. И вдобавок был спаниель, почти девяти дюймов в длину, с большими карими глазами и веселым вздернутым хвостиком.

Каждая кукла была поочередно любимицей Флоренс. Были дни, когда она предпочитала девочку-блондинку, чьи глазки моргали, а кожа была цвета нежного бледного персика. Бывали дни, когда она любила одного рыжеволосого мальчика. Порой она оставляла все куклы и играла только со спаниелем, который был достаточно мал и прекрасно умещался в большинстве комнат домика.

Иногда Флоренс раздевала кукол и мыла их маленькой мочалкой. Какие странные были они без одежды!.. Тела у них блестящие, гладкие и никакие. У них не было ничего секретного и постыдного, никаких неровностей, где бы могла собраться грязь — совершенно простые. Их лица всегда были невозмутимы. Спокойные, бесстрашные, пристальные глаза, которые не реагировали на резкие слова и шлепки. Но Флоренс очень любила своих кукол и редко их наказывала. Сокровищем ее был, конечно, кукольный домик, с его покатою викторианской крышей, мишурной отделкой, множеством окон и этой замечательной верандой, на которой стояли маленькие деревянные кресла-качалки, каждое со своей крошечной подушечкой.

Гости, друзья ее родителей или ее маленькие ровесницы, всегда удивлялись, когда впервые видели его.

Они говорили: «О, как он прекрасен!» — хотя, может быть, он и не был таким. Просто кукольный домик — немного ниже тридцати шести дюймов.

Спустя почти четыре десятилетия, проезжая по Ист Фейнлайт Авеню в Ланкастере, в штате Пенсильвания, в городе, где она раньше никогда не бывала, Флоренс Парр удивилась, увидев в стороне от дороги, на вершине величавого, покрытого вязами холма старый кукольный домик, точнее его копию. Домик. Самый настоящий дом. Она была так поражена, что в течение нескольких секунд не знала, что делать. Мгновенной реакцией было остановить машину. Поскольку она была осторожным водителем, вернее очень аккуратным водителем, то при первых признаках замешательства или трудности она всегда останавливала свою машину.

Широкая красивая аллея вязов и платанов украшала неизвестную ей улицу. Конец апреля; ароматная, почти до головокружения, весна после суровой, затяжной зимы. Воздух, казалось, дрожал, наполненный теплом и цветом. Дома в этой части города были ослепительно впечатляющими и величественными, как многие, что ей довелось видеть в своей жизни. Настоящие особняки, хвастающие благополучием. Их пока-

тые элегантные газоны отгораживались от улицы кирпичными стенками, витыми железными оградами или пышными вечнозелеными стриженными кустами. Повсюду росли азалии, эти прекраснейшие из весенних цветов, алые, белые, желтые и ярко-оранжевые, почти безукоризненно красивые. Видны были ухоженные клумбы тюльпанов, преимущественно красных; изысканные цветущие яблони, вишни, и цветущие деревья, которые Флоренс узнала, но не могла вспомнить названия. Ее дом был окружен старомодным железным забором, а на его огромном парадном газоне росли красные и желтые тюльпаны, пробившиеся сквозь траву.

Она очутилась на дорожке перед калиткой, которая была точно такой же, как громоздкие ворота, закрывающие подъездную дорогу. Эта калитка не только давно была открыта, но и, возможно, давно была неподвижна. Свежей черной краской было написано от руки: «1377, Ист Фейнлайт». Но не было указано ни имени, ни фамилии владельца. Флоренс стояла, глядя на дом, сердце ее бешено билось. Она не могла поверить в то, что видела. Да, это был он, конечно, и все же это мог быть и не он. Прошло так много лет.

Старинный кукольный домик. Ее домик. Она помнит малейшие детали. Двускатная крутая крыша, покрытая, как выяснилось, черепицей; старые витражи; нелепый купол был таким очаровательным; веранда, белый цоколь, который выглядел довольно облезлым и серым на ярком весеннем солнце; самое поразительное — восемь высоких узких окон с темными ставнями, по четыре на каждом этаже. Флоренс не могла определить, были ли ставни темно-зелеными или черными. Какого цвета они были в кукольном домике?.. Она заметила, что мишурная отделка сильно подгнила.

Первый восторг, почти обморок, который охватил ее в машине, прошел, но она все еще чувствовала неприятное нетерпение. Ее старый кукольный домик. Здесь на улице Ист Фейнлайт в Ланкастере, в Пенсильвании. Увиденный так внезапно этим теплым весенним утром. И что это значило?.. Очевидно, должно

быть объяснение. Дальний дядюшка, построивший этот дом для своей дочери, просто скопировал игрушку или что-то в этом роде. Без сомнения, существовало много таких домов. Флоренс мало знала викторианскую архитектуру, но предполагала, что на свете достаточно подобных копий, даже среди больших дорогих домов. В отличие от современных архитекторов, зодчие того времени были, вероятно, сильно ограничены в своих фантазиях и поэтому снова и снова использовали какие-то основные формы и определенную отделку — купола, фронтоны, сложную резьбу. Больше всего ее поразило простое совпадение. Получилась бы забавная история, интересный анекдот, когда она расскажет все дома. Хотя, возможно, это вообще не стоило вспоминать. Ее родители были бы заинтригованы, но они оба умерли. Вообще она старательно охраняла себя и свою личную жизнь, поскольку хорошо представляла, что ее друзья и знакомые могут истолковать любое ее слово, сказанное о себе, в соответствии с их представлениями о ней как об общественном деятеле, и она хотела этого избежать.

Ее внимание привлекло какое-то движение в одном из верхних окон. Оно вдруг необычайным образом быстро перешло к другим окнам, перемещаясь справа налево... Но нет, это было всего лишь отражение облаков, летевших по небу над ее головой.

Она стояла неподвижно, это было ей несвойственно, нехарактерно для нее. И все же она стояла, не двигаясь. Ей не хотелось подойти к ступенькам веранды, не хотелось позвонить в дверь. Конечно, такое поведение было странным, но ведь времени было так мало: ей действительно нужно было ехать. Ее ждали. Но и отвернуться она не могла. Потому что это был тот самый дом. Невероятно, это был ее старый кукольный домик (который она, конечно, отдала — тридцать, тридцать пять? — лет тому назад, и с тех пор редко вспоминала о нем). Смешно было стоять здесь, такой удивленной, такой несообразительной, такой бесконечно ранимой... И все же, как ей следует поступить,

как не нарушить странное ощущение сокровенного, вселенского. Дом воскрес.

Она все-таки позвонит в дверь. А почему нет? Она была высокая, довольно плечистая, уверенная в себе женщина, со вкусом одетая, в весеннем кремовом костюме, у нее не было привычки часто извиняться или неловко себя чувствовать. Много лет назад, возможно, она была застенчивой, глупой, стеснительной девочкой, но не теперь. Ее волнистые седеющие волосы были красиво зачесаны назад и открывали широкий чистый лоб. У нее была яркая гладкая натуральная кожа, она не пользовалась косметикой и давно перестала думать о ней. Надо сказать, она была весьма привлекательной женщиной, особенно когда улыбалась и ее темные напряженные глаза расслаблялись. Она позвонит в дверь и посмотрит, кто ей откроет, и спросит что-нибудь, что придет ей в голову. Когда-то она искала соседей, которые жили где-то здесь, она собирала голоса для школьных выборов, интересовалась старыми вещами или мебелью для...

На пути к дому она вспомнила, что оставила ключи в зажигании и не выключила мотор. Да и забыла сумочку на сиденье.

Она заметила, что движется необычно медленно. Это не походило на нее. И это совершенно незнакомое дезориентирующее ощущение нереальности, ощущение проникновения в другой мир... Где-то неподалеку залаяла собака. Этот звук, казалось, проникал к ней в грудь и живот. Приступ паники, непроизвольное моргание... Но это была чепуха, конечно. Она позвонит в дверь, кто-то окажется дома, возможно слуга, возможно престарелая женщина, у них будет короткий разговор. Флоренс заглянет ей через плечо в фойе, чтобы убедиться, все та же ли там винтовая лестница, на месте ли старинная медная люстра, сохранился ли «мраморный» пол. «Вам знакома семья Парр, — спросит Флоренс. — Мы жили в Каммингтоне, в штате Массачусетс, поколениями, думаю, вполне возможно, что кто-то из моих родственников навещал вас в этом доме. Конечно, это было давно. Простите за беспокой-

ство, но, проезжая мимо, увидела ваш восхитительный дом и не могла не остановиться из любопытства...»

На обеих створках дубовой двери были цветные стекла. Блестящие, большие и яркие. В кукольном домике их едва было видно, просто кусочки цветного стекла. Но здесь они были размером в квадратный фут, ослепительно красивые: красные, зеленые, синие, почти как витраж в церкви.

«Извините за беспокойство, но я ищу семью по фамилии Бартоломео. У меня есть основания думать, что они живут где-то здесь». Но когда она уже была готова взойти на веранду, паническое чувство усилилось. Ее дыхание стало частым и беспокойным, мысли бешено метались, она была просто в ужасе и не могла пошевелиться. Собака лаяла уже истерически.

Когда Флоренс бывала в гневе, или расстроена, или обеспокоена, она имела привычку шептать себе свое имя. «Флоренс Парр, Флоренс Парр, Флоренс Парр». Это успокаивало. Флоренс Парр. Ей порой бывало немного стыдно, но, в конце концов, она ведь была Флоренс Парр, это подразумевало ответственность. Она произносила свое имя, идентифицировала себя. Обычно этого хватало, чтобы взять под контроль непослушные нервы. Но панику она не испытывала уже много лет. Казалось, силы исчезли, покинули ее тело. Она со страхом подумала, что может сию минуту потерять сознание. Как нелепо будет она выглядеть...

Однажды, будучи молодым инструктором в университете, она почти поддалась панике посреди лекции о метафизическом в поэзии. Странно, приступ во время лекции возник не в начале семестра, а где-то на второй месяц после начала учебного года, когда она уже начала думать о себе как о вполне состоявшемся преподавателе. Совершенно исключительное чувство страха, непонятного бесконечного страха, который она никогда не смогла понять... В тот момент, когда она говорила о знаменитом образе Донне в стихотворении «Реквием» — «Браслет ярких волос на кости» — неожиданно ее охватило чувство непостижимого ужаса. Она едва могла перевести дыхание.

Она хотела выбежать из аудитории, выбежать из здания. Будто демон явился ей. Он дохнул ей в лицо, потащил ее, хотел сбить с ног. Она задыхалась, она была бы уничтожена. Это ощущение, хотя оно не сопровождалось ни болью, ни особыми видениями, возможно, было самым неприятным в ее жизни. Она не знала, почему так испугалась, она не помнила, почему ей хотелось только убежать из комнаты, от любопытных глаз студентов. Этого ей никогда не дано было понять.

Но она не сбежала. Она заставила себя остаться на кафедре. Хотя ее голос сник, она не остановилась, а продолжала лекцию, говоря в беспросветный туман. Без сомнения, студенты заметили ее дрожь, но она была упрямая. Молодая женщина двадцати четырех лет, она действительно была очень крепкая, и, заставив себя имитировать самое себя, свой нормальный тон и поведение, она смогла преодолеть приступ. Когда страх постепенно исчез, зрение нормализовалось и сердцебиение успокоилось, она была абсолютно уверена, что приступ в аудитории больше не повторится. Так оно и было.

Но теперь она не смогла совладать с собой. У нее не было кафедры, чтобы схватиться за нее руками, не было записи лекции, некого были имитировать, она могла оказаться в очень глупом положении. И, конечно, за ней кто-то наблюдал... Она поразилась, вспомнив, что не было никакой причины и объяснения ее присутствия в этом месте. Что, на самом деле, собиралась она сказать, когда позвонит в дверь? Как объяснить со скептически настроенным незнакомцем? Что ей просто хочется посмотреть его дом. Прошепчет, что против воли прошла по этой дорожке и что ничего не может объяснить. «Пожалуйста, простите, можете смеяться надо мной, я не в себе. Сегодня я не я, я только хочу заглянуть в ваш дом, увидеть, все тот ли он, что я помню... У меня был дом как ваш. Он был точно такой, как ваш. Но в моем доме никто не жил, кроме кукол, кукольная семья. И я их любила, но всегда

чувствовала, что они загораживали путь, стоя между мною и чем-то еще...»

На лай собаки ответила другая, соседская собака. Флоренс отступила. Затем повернулась и поспешила к своей машине. Ключи действительно торчали в зажигании, а ее красивая кожаная сумка лежала на сиденье, где она так опрометчиво ее оставила.

Она бросилась прочь от кукольного домика, ее сердце при этом сильно билось. «Какая же ты дура, Флоренс Парр», — грубо отругала она себя, заливаясь жаркой густой краской.

Продолжение дня — полуденный прием, сам обед, послеобеденное собрание — прошли легко, даже обыкновенно, но все казалось нереальным, все было как-то неубедительно. То, что она была Флоренс Парр, президент колледжа Шамплейн, что она должна была произнести превосходную речь на конференции управляющих небольшими частными школами свободных искусств, — вот что поражало ее как обман и фальшивка. Образ кукольного домика все яснее вставал перед ее мысленным взором. Какие странные были ощущения... Но рядом не было никого, с кем она могла бы поговорить об этом, хотя бы облегчить душу или превратить все в забавный анекдот... Сослуживцы не замечали ее замешательства. Скорее наоборот, они заявили, что она прекрасно выглядит, что они рады видеть ее и счастливы пожать ей руку. Многих она давно знала, мужчин и женщин, но в основном мужчин, с кем раньше работала в каком-либо колледже. Кое-кто был ей незнаком — более молодые администраторы, которые слышали о ее героических усилиях в колледже Шамплейн и хотели быть представлены ей. Во время шумного коктейля Флоренс слушала свой какой-то странный голос, говорящий об обыкновенных вещах: о сокращении контингента, о кампаниях создания фондов, поддержке частных школ и их выпускников, о пожертвованиях, инвестициях, государственной и федеральной помощи. Ее замечания при-

нимались с искренним уважением и вниманием. С ней как будто все было в порядке.

К обеду она надела льняной костюм нежно-голубого цвета в синюю полоску, который подчеркивал ее рост, грациозную фигуру и отвлекал внимание от широких плеч и мало развитых бедер. Она была в новых туфлях на модных трехдюймовых каблуках, хотя и ненавидела их. Прическа ей очень шла, она сделала маникюр и даже отполировала ногти накануне вечером. Она ощущала себя очень интересной, особенно в контексте людей среднего и более старшего возраста. Но мысли ее продолжали витать где-то далеко, далеко от красивой, хотя и довольно темной, колониального стиля столовой, от воодушевленной умной послеобеденной речи известного администратора и писателя, бывшего президента колледжа Вильям и формально — теперь уже давнего — коллеги Флоренс по Сватмору. Она улыбалась одним, смеялась с другими, но никак не могла быть внимательной к критическим остроумам обходительного седовласого джентльмена. Ее мысли постоянно возвращались к кукольному домику, там, на улице Ист Фейнлайт. Хорошо, что она не позвонила в дверь, а вдруг открыл бы кто-то из присутствующих теперь на приеме — здесь собрались представители колледжей Ланкастера. Какой абсолютной дурой выставила бы она себя...

Сразу после десяти она ушла к себе в комнату, расположенную в каменном здании интерната, оставив гостей, которые явно хотели поговорить с ней. Она знала, что ее ждет бессонная ночь. Оказавшись в комнате со старинной мебелью и замысловатыми обоями, она пожалела, что покинула оживленную атмосферу внизу. В эти дни небольшие колледжи переживали трудности: у большинства управляющих, присутствующих на конференции, были серьезные проблемы с финансами, моральный облик учащихся стремительно падал. Тем не менее встреча проходила в духе товарищества и сердечности. Конечно, это было естественное поведение людей на общественном мероприятии. Просто невозможно иначе в такой ситуации — забав-

ные замечания, благодарный смех, чувство радостного соучастия, даже при незавидной судьбе. Какие люди странные, подумала Флоренс, готовясь лечь в постель, двигаясь неестественно медленно. На публике она одна, наедине с собой другая, и все же везде настоящая... в обоих случаях она ощущала себя совершенно настоящей.

Она лежала, не засыпая, в незнакомой кровати. Вдалеке слышались голоса. Она включила кондиционер, чтобы заглушить их, — зашелестел только вентилятор, — но все равно не могла уснуть. Дом на Ист Фейнлайт, кукольный домик ее детства. Она лежала с открытыми глазами, думая о глупых, разрозненных вещах, неторопливо размышляя, почему же она не поддалась этому приступу желания шагнуть на ступени веранды, к двери. В конце концов, она же Флоренс Парр. Представить только, что ее кто-то видел со стороны — факультетский совет, студенты, ее коллеги-администраторы, — видел ее нерешительность, растерянность и нерасторопность. Это случалось с ней лишь тогда, когда она забывала, кто была на самом деле и начинала воображать себя совершенно одинокой. Вот тогда ею овладевало чувство страха и беспомощности.

Светящийся циферблат ее часов сообщил, что было десять тридцать. Не слишком поздно, разумеется, чтобы одеться, вернуться к дому и позвонить в дверь. Конечно, она позвонит только в том случае, если в доме будет гореть свет, если там еще не спят... Наверное, там жил престарелый джентльмен, один, кто-нибудь, кто знал ее деда, кто навещал Парров в Каммингтоне. Потому что должна быть какая-то связь. Конечно, легко говорить о совпадениях, но она знала, знала с глубоким, неколебимым убеждением, что существовала связь между кукольным и настоящим домами... Давая объяснения тому, что постучит в дверь, она предполагала, что возьмет легкий, разговорный тон. Годы администрирования научили ее дипломатии: не следует казаться слишком серьезным. Угрюмость начальников всегда смущает, в беседе требуется лишь легкость и некоторая доверительность, ореол личного

и даже секретного понимания. Людям не нужно равноправия со своими лидерами, они хотят, им совершенно необходимо, чтобы в начальниках было некоторое превосходство. Превосходство, однако, не должно быть отчужденным, иначе оно становится оскорбительным...

Вдруг она испугалась: ей показалось, что приступ паники может наступить следующим утром, когда она будет выступать со своей речью «Будущее человечества и американское образование». Ее доклад назначен на девять тридцать, она будет выступать первой: первый достойный спикер конференции. И вполне возможно, что вернется та обезоруживающая слабость, то чувство абсолютной, почти инфантильной беспомощности.

Она села, включила свет и просмотрела свои записи. Они были сделаны от руки, не отпечатаны. Она попросила секретаршу не печатать их. Стилль речи в форме обращения был раньше использован ею в различных вариантах. Она всегда добивалась контакта с аудиторией, а не формального прослушивания, но, конечно, она зачитает основные статистические данные. И все же было ошибкой не отпечатать записи. Она порой не могла разобрать свой почерк.

Не мешало бы выпить. Но она не могла пойти в Ланкастер Инн, где должна была проходить конференция и где находился бар. Как нарочно, в комнате у нее тоже ничего не было. Вообще-то она редко выпивала, и никогда не пила в одиночку... Однако, если это ей поможет заснуть: успокоит ее скачущие мысли.

Кукольный домик подарили ей на день рождения. Много лет тому назад. Она не помнила, как давно. И еще ее куклы, ее маленькая кукольная семья, о которой она не думала целую жизнь. На нее нахлынуло чувство потери и нежности.

Флоренс Парр, которая довольно часто страдала бессонницей, но, конечно, никто не знал об этом.

Флоренс Парр, у которой был узелок в правой груди, настоящая киста, безобидная, совершенно безобидная, появившаяся сразу после ее тридцать девятого дня рождения. Но никто из ее друзей в Шамплейн

не знал об этом. Даже ее секретарша не знала. И безобразная эта штучка оказалась доброкачественной: совершенно безвредной. Значит, хорошо, что никто не знал.

Флоренс Парр, о которой знали, что почти со всеми она держалась на расстоянии, точнее сказать, начеку. «К ней нельзя приблизиться», — сказал кто-то. Но все же чаще говорили, что она была замечательно душевной, открытой, и откровенной, и абсолютно бесхитростной. Всеми признанный президент. Ее поддерживал факультет. Бывали порой отдельные завистники, особенно среди вице-президентов и деканов, но у нее была всеобщая поддержка, она знала об этом и была благодарна, намереваясь и дальше сохранять ее.

Было далеко за полночь. Ее сознание продолжало неутомимо, не переставая работать.

«Следует ли поддаться импульсу, быстро одеться и вернуться к дому? Это займет не более десяти минут. И вполне возможно, огни в доме будут погашены, жильцы будут спать, с улицы она увидит, что визит несомненно исключен. Она всего лишь проедет мимо и будет избавлена от дерзкого поступка.

Если я сделаю это, то последствия...

Если я не сделаю этого, то...»

Конечно, она не была импульсивным человеком. И не восхищалась импульсивными, «спонтанными» людьми, которые хорошо знали о своей спонтанности. Она считала их недоразвитыми, скорее всего, эксгибиционистами.

Она защитит себя от обвинения в расчетливости и осторожности. Просто она была очень прагматична. Она воспринимала задачи с большим интересом и серьезно увлекалась ими, одной за другой, месяц за месяцем, год за годом. В это время все другие проблемы просто должны были отойти в сторону. Например, она никогда не была замужем. Удивительное состояло бы не в том, что Флоренс Парр вышла замуж, а в том, что у нее нашлось бы время поддерживать отношения, которые привели бы к свадьбе. «Я не против замужества, — однажды сказала она с неподдельной наивнос-

тью, — но мужчина занял бы так много времени: встречи, разговоры...»

В Шамплейн все любили ее и сочиняли про нее анекдоты. Говорилось, что она и в более молодые годы была так равнодушна к мужчинам, даже к достойным мужчинам, что спустя несколько лет не смогла узнать молодого лингвиста, который в Виденерской библиотеке сидел рядом с ней, каждый день здоровался и иногда приглашал ее на чашечку кофе (она всегда отказывалась: она была слишком занята). Когда же он появился в Шамплейне женатый, автор хорошо принятой книги по теории лингвистики, профессор гуманитарного факультета, Флоренс не только не узнала его, но вообще не могла его вспомнить, хотя он отлично помнил ее и даже рассказал ей, во что она была одета в ту зиму, не забыв упомянуть цвет ее вязаных носков. Она была сильно смущена, но в то же время польщена и заинтригована. Это лишний раз доказывало, что Флоренс Парр была неизменной Флоренс Парр во все времена.

Потом ей стало как-то грустно, поскольку эта история доказала (разве это не так?), что она действительно была совершенно равнодушна к мужчинам. Она осталась старой девой не из-за того, что ее никто не выбрал, и не потому, что она слишком разборчива, а просто потому, что вовсе не интересовалась мужчинами. Она их даже не «видела», когда они представлялись ей. Это было печально, но это было неопровержимо. Она была аскеткой не по воле, а по темпераменту.

В этот момент она решительно отложила конспект. Сердце ее билось, как у девчонки. Выбора не было, она должна удовлетворить свое любопытство, если хотела заснуть, если не хотела сойти с ума.

Подарок кукольного дома стал событием ее детства, а визит в дом на Ист Фейнлайт должен стать событием ее жизни, хотя Флоренс Парр надеялась не вспоминать об этом в дальнейшем.

Ночь была теплая, тихая, наполненная ароматом цветов и совсем не страшная. Флоренс ехала к дому, постепенно успокаиваясь при виде множества огней в

домах. Конечно, еще не поздно. Конечно, в том, что она хотела сделать, не было ничего особенного.

Свет внизу горел. В гостиной. Тот, кто там жил, еще не лег спать. Ждал ее.

«Замечательно, я спокойна. После стольких глупых часов неуверенности».

Она поднялась по ступенькам веранды, которые слегка поскрипывали под ней. Позвонила в дверь. Через минуту-другую зажегся наружный свет. Она почувствовала себя выставленной напоказ и начала нервно улыбаться. Приходилось улыбаться, быстро узнаешь, как это делается. Отступать поздно. На крыльце она заметила старую мебель. Два кресла-качалки и диванчик, когда-то белые, а теперь облезлые, без подушек.

Сердито залаяла собака.

«Флоренс Парр, Флоренс Парр». Она знала, кто она есть. Но ему говорить не обязательно. Кто бы он ни был, смотрящий на нее сквозь темные цветные стекла — старик, чей-то забытый дедушка. Пока что владение домом в этой части города означало деньги и положение: можно пренебрегать такими вещами, но они имеют значение. Даже уплата налогов, школьных налогов...

Дверь открылась, на пороге стоял чудаковатый человек, разглядывая ее и ласково улыбаясь. Он был не тот, кого она ожидала увидеть. Он не был престарелым, скорее неопределенного возраста, вполне возможно, что даже моложе ее.

— Да? Здравствуйте. Чем могу?.. — спросил он.

Она услышала свой голос, ясный, спокойный. Отрепетированный вопрос. Еще вопросы. С оттенком извинения, под которым сохранялась уверенность.

— ...проезжая мимо сегодня утром, остановилась у друзей... Просто любопытствую о старых связях между нашими семьями... Или хотя бы моей семьей и теми, кто построил этот...

Разумеется, он поражен ее появлением и не совсем понимает вопросы. Она говорила слишком быстро, придется повторить.

Он пригласил ее войти, что было очень любезно. Хотя любезность показалась ей несколько автоматической. У него были хорошие манеры. Удивлен, но не подозрителен. Доброжелателен. Слишком молод для этого дома, для такого старого, дряхлого и элегантного дома. Ее присутствие на его пороге, смелые вопросы, широкая продуманная улыбка — все это, должно быть, сбило его с толку, но все же он отнесся к ней с уважением и без осуждения, не находя ничего странного в ее поведении. Добрый простой человек. Это было облегчением. Правда, он кажется немного примитивным тугодумом. Он, конечно же, не имел никакого отношения к... тому, к чему причастна она в этом уголке мира. Он никому о ней не расскажет.

— ...впервые в городе? ...остановилась у друзей?

— Я только хочу спросить: имя Парр что-нибудь вам говорит?

Собака теперь просто заливалась лаем. Но держалась на расстоянии.

Флоренс провели в гостиную, наверное единственную освещенную комнату внизу. Она узнала старую лестницу, как всегда, грациозную. Но они сделали что-то странное с обивкой стен — покрасили в синева-тосерый цвет. И пол больше не был мраморным, а скорее выглядел слабой имитацией — что-то вроде линолеумной плитки...

— Люстра, — вдруг сказала она.

Человек повернулся к ней, улыбаясь своей дружелюбной, ироничной, усталой улыбкой.

— Да?..

— Она очень красивая, — заметила Флоренс. — Должно быть антикварная.

В уютном оранжевом свете гостиной она заметила, что у него песочно-рыжие волосы, редющие на темени, но по-детски кудрявые с боков. Ему было под сорок, но лицо преждевременно покрылось морщинами. Он стоял, приподняв одно плечо, как будто от усталости. Она снова начала извиняться за беспокойство, за то, что отняла у него время своим непродуманным и, возможно, тщетным любопытством.

— Все хорошо, — ответил он. — Я обычно ложусь спать далеко за полночь.

Флоренс оказалась сидящей в углу мягкого дивана. Ее улыбка была по-прежнему напряженной, но широкой, как прежде. Лицо начало согреваться. Может, он не заметит, как она покраснела.

— ...бессонница?

— Да, иногда.

— У меня тоже... иногда.

Мужчина был одет в зелено-синюю клетчатую рубашку с тоненькими красными полосками. Фланелевая рубашка. Рукава закатаны до локтей. И что-то вроде рабочих брюк. Хлопчатобумажные. Мысли ее отчаянно метались в поиске нужных слов, и она услышала себя, спрашивающую про его сад, газон. Так много очаровательных тюльпанов. В основном красные. И платаны, и вязы.

Он смотрел на нее, облокотившись локтями о колени. Слегка загорелое лицо. Кожа типичная для рыжеволосых, немного веснушчатая.

Стул, на котором он сидел, был ей не знаком — обивка ужасного коричневого цвета, подделка под жатый бархат. Флоренс думала: «Кто его купил? Должно быть, глупая молодая жена».

— ...семья Парр.

— Из Ланкастера?

— О нет, из Каммингтона, Массачусетс. Наша семья долгие годы жила там.

Он раздумывал над именем, хмурясь и глядя на ковер.

— ...звучит знакомо...

— О, неужели? Я надеялась...

Собака подошла ближе, перестав лаять, размахивая и стуча хвостом о диван и ножку старинного стола, едва не перевернув настольную лампу. Мужчина шелкнул пальцами, и собака успокоилась. Она задрожала и издала полуворчание-полувздых, легла на пол неподалеку от Флоренс, положив морду на лапы и вытянув хвост. Она хотела ее погладить, чтобы познакомиться. Но это было какое-то безобразное существо — места-

ми облезлое, с взъерошенными белыми усами и голым отвислым брюхом.

— Если собака вам мешает...

— О, нет, вовсе нет.

— Он только хочет быть дружелюбным.

— Я вижу, — сказала Флоренс, по-девчоночьи рассмеявшись, — ...он очень симпатичный.

— Ты слышишь? — спросил мужчина, снова щелкнув пальцами. — Леди говорит, что ты очень симпатичный! Неужели ты не можешь хотя бы не ворчать? Какие у тебя дурные манеры.

— Я не держу домашних животных, но люблю их.

Она начала чувствовать себя очень уютно. Гостиная была не совсем такая, как она ожидала, но вполне приличная. Здесь стоял довольно низкий, очень сильно набитый диван, на котором она сидела. Подушки сделаны из серебристо-белого, серебристо-серого материала, пухлые, толстые, огромные, как вымя или груди. Чудовищный предмет мебели, с которым, однако, никто бы не хотел расстаться, потому что, наверняка, он переходил от поколения к поколению, должно быть, еще с начала века. Был здесь и викторианский стол на застенчиво величественных ножках, покрытый скатертью с кистями и с чрезмерно большой настольной лампой. Вещь, которая заставила бы Флоренс только улыбнуться в антикварном магазине, но здесь она смотрелась вполне нормально. Вообще-то, ей следовало высказать свое мнение, раз уж она уставилась на нее.

— ...антикварная? Европа?

— Думаю, да, — ответил мужчина.

— Это должно изображать фрукт, или дерево, или...

В форме луковицы, телесного, персикового цвета, на ножке из тонированной меди. Потемневший от пыли позолоченный абажур, отделанный голубой вышивкой, который когда-то, возможно, был довольно симпатичным.

Они поговорили об антикварных вещах. Старинных домах. Семьях.

Начал ощущаться странный аромат. Он не был неприятным.

— Желаете ли выпить чего-нибудь?

— Да, я...

— Извините, я на минуту.

Оставшись одна, она захотела побродить. Комната была длинная, узкая, плохо освещенная, да и то только с одной стороны, по сути, другой конец был погружен в темноту. Слабый намек на мебель, старое механическое пианино, несколько стульев, окно-фонарь, которое, должно быть, выходило в сад. Ей очень хотелось рассмотреть портрет над камином, но собака может залаять или рассердиться, если она пошевелится.

Пес подполз поближе к ее ногам, извиваясь от удовольствия.

Рыжий, слегка сутулый мужчина принес ей стакан чего-то темного. В одной руке он держал свой стакан, в другой ее.

— Попробуйте, скажете, что думаете.

— Похоже на очень крепкий шоколад. Черный и горький, и густой.

— Его следовало бы подавать очень горячим, — сказал мужчина.

— Там есть какой-нибудь ликер?

— Слишком крепкий для вас?

— О, нет. Нет. Совсем нет.

Флоренс не приходилось пробовать что-нибудь более горькое. Она чуть не подавилась.

Но через минуту все стало нормально, она заставила себя сделать второй глоток и третий, и колющее, болезненное ощущение во рту прошло.

Рыжий мужчина не вернулся на свой стул, а стоял перед ней, улыбаясь. В другой комнате он что-то спешно сделал со своими волосами: попытался, наверное, руками зачесать их назад. Лоб у него немного блестел от пота.

— Вы здесь живете один?

— Дом кажется довольно большим, не так ли? Для одинокого человека.

— Но, конечно, у вас есть собака...

— Вы теперь живете одна?

Флоренс поставила стакан с шоколадом. Вдруг она вспомнила, что ей это напоминало: коллега ее отца по работе, много лет тому назад, привез из поездки в Россию коробку шоколада. Девочка взяла в рот конфету и была разочарована ее неожиданно горьким вкусом. Она выплюнула ее в ладошку на виду у всех.

Словно читая ее мысли, рыжий мужчина дернулся, отрывисто шевеля нижней челюстью и правым плечом. Но он не переставал улыбаться, как прежде, и Флоренс даже не поняла, что ей стало не по себе. Она продолжала мило говорить о мебели в гостиной, не уставая восхищаться красивыми старинными домами, как этот. Мужчина соглашался, будто ожидая, что она скажет еще.

— ...семья по фамилии Бартоломео? Конечно, это было много лет тому назад.

— Бартоломео? Они жили в окрестностях?

— В общем, я надеюсь. Это причина, по которой я пришла. Я знала одну маленькую девочку, которая...

— Бартоломео, Бартоломео, — медленно произнес мужчина, хмурясь. Его лицо сморщилось. От напряжения у него изогнулся уголок рта, и снова его правое плечо задергалось.

Флоренс испугалась, что он расплескает шоколад.

Наверное, у него было какое-то нервное заболевание. Но спрашивать ей было неудобно.

Он бормотал себе под нос имя Бартоломео с мрачным и даже раздраженным выражением лица. Флоренс пожалела, что задала вопрос, потому что это была ложь, в конце концов. Она редко лгала. И все-таки это вырвалось у нее, просто сорвалось с уст.

Она виновато улыбнулась, пригнув голову, и еще раз отпила шоколада. Она не заметила, как пес подкрался ближе. Его большая голова теперь лежала у нее на ступне, а мокрые коричневые глаза смотрели на нее. Детские глаза. Он ворчал, на самом деле, он ворчал у ее ног, но, конечно, он не мог иначе... Потом она заметила, что он наделал на ковер лужу, совсем рядом. Темное пятно, маленький пруд.

Но она не могла отодвинуться с отвращением. Все-таки она была в гостях и уходить было еще рано.

— ...Бартоломео. Вы говорите, они жили где-то здесь?

— О, да.

— Но когда?

— Ну, я вообще-то не знаю... Я была маленькой тогда...

— Но когда это было?

Он странно смотрел на нее, почти вызывающе. Угол его рта изогнулся еще больше. Он двинулся, чтобы поставить стакан, и движение его было отрывистым. Точно кукла. Но все это время он не переставал смотреть на нее. Флоренс знала, что люди часто чувствовали себя неловко под взглядом ее огромных пристальных глаз, но она ничего не могла с собой поделать. Она не ощущала той страсти и упрека, которые они изображали. Поэтому она пыталась смягчить взгляд улыбкой. Но иногда улыбка угасала, и тогда она ничего не могла обмануть.

Теперь, когда мужчина перестал улыбаться, она заметила, что он действительно насмехался. Его спутанные белесые брови иронично поднялись.

— Вы говорили, что впервые в этом городе, а теперь утверждаете, что бывали здесь...

— Но это было так давно. Это было всего лишь...

Он выпрямился. Он был невысок и не очень крепкого телосложения. По правде, его талия была слишком тонкая для мужчины. И брюки, или джинсы, на нем были странные, облегающие на бедрах, без швов и без молнии или пуговиц, без гульфика. Они сидели на нем очень тесно. Ноги его были слишком коротки для туловища и рук.

Он опять начал улыбаться Флоренс. Лукавая улыбка с упреком. Голова его механически дергалась, показывая на что-то на полу. Он пытался указать подбородком, но движение это было неуклюжим.

— Вы что-то сделали на полу вон там, на ковре.

Флоренс задохнулась. Она сразу отпрянула от собаки, начала отрицать.

— Это не я, не я...

— Прямо на ковре. Чтобы все видели и нюхали.

— Конечно же, это не я, — запротестовала Флоренс, краснея от негодования. — Вы хорошо знаете, что это...

— Кому-то придется убирать за вами, а я не собираюсь это делать, — усмехаясь сказал мужчина.

Глаза его стали злыми и колючими.

Она ему совсем не нравилась, она видела это. «Не надо было приходить сюда. Но как же уйти, как убежать?» Собака снова подобралась к ней и нюхала с ворчанием ее ноги, а рыжий мужчина, который сначала казался таким доброжелательным, теперь нагнулся над ней, упершись руками в свои узкие бедра и гнусно улыбаясь, словно пугая ее, как пугают зверей или детей. Он хлопнул в ладоши. От внезапного звука Флоренс заморгала. Потом он наклонился и еще раз хлопнул, прямо ей в лицо. Она закричала, залившись слезами, чтобы он отпустил ее. Она откинулась на подушки, убрав голову как можно дальше, а он вдруг ударил ее по обеим щекам. По ее телу раскатилось жгучее, острое ощущение, от лица и шеи к животу, вниз, а оттуда в грудь, в рот и даже в окованные ноги. Она взвизгнула, умоляя рыжего мужчину прекратить, конвульсивно извиваясь на диване и пытаясь убежать.

— Лгунья. Плохая девчонка. Противная девчонка! — кричал кто-то.

На ней были новые очки для чтения в симпатичной оправе, шикарно скроенный весенний костюм, шелковая блузка с цветочным рисунком и тесные, но очень модные туфли.

Аудитория, уважаемая и внимательная, за трибуной не видела ее дрожащих рук и слегка трясущихся колен. Все очень удивились бы, узнав, что утром она не могла притронуться к завтраку, что она чувствовала себя подавленной и изможденной, хотя все-таки смогла заснуть предыдущей ночью где-то около двух часов и спала, как обычно, без сновидений.

Она несколько раз подряд откашлялась. Привычка, которую у других она ненавидела.

Но постепенно силы вернулись к ней. Утро было таким солнечным, таким праздничным. Эти люди, в конце концов, были ее коллегами. Они, конечно, желали ей добра и даже казались искренне заинтересованными в том, что она говорила о будущем человечества. Возможно, доктор Парр знала что-то, чего они не знали, возможно, она поделится с ними своими профессиональными секретами.

Минуты шли, и Флоренс слышала, как ее собственный голос наполнялся и звучал все уверенней, восстанавливая привычный ритм. Она начала расслабляться, стала более ровно дышать, она возвращалась в привычное русло. В ее докладе речь шла о том, о чем много раз уже говорилось на таких же совещаниях, где участвовали деканы и руководители кафедр Шамплейна совместно с другими педагогами. Когда она подчеркнула опасность конкуренции малых частных учебных заведений между собой, некоторые слушатели аплодировали ей с большим энтузиазмом. А когда она отметила, многозначительно отметила, необходимость многопрофильности частных школ, аплодисменты зазвучали громче. Конечно, такие замечания мог сделать каждый, в этом не было ничего оригинального, но аудитория, казалось, была рада слышать их именно от нее. Они на самом деле восхищались Флоренс Парр — это было очевидно.

Она сняла очки. Улыбнулась, и заговорила, не глядя в свои записи. Эта часть ее речи — занятный обзор последствий некоторых экспериментальных программ в Шамплейне, начатых, когда она стала президентом, — была более специфичной, более интересной, и, конечно, она знала ее наизусть.

Предыдущая ночь была для нее самой трудной. По крайней мере, самое ее начало. Сознание Флоренс бесконтрольно металось. Эти огненные всполохи страха, бессонницы. И никто не мог помочь. И никакого выхода. Она заснула, читая записи доклада, а просну-

лась внезапно, сердце бешено колотилось, тело взмогло от пота — она лежала, прижавшись к стенке кровати, шея зачоченела и болела, левая нога подвернута под себя. Она видела сон о том, как поддавалась соблазну и поехала посмотреть кукольный дом, но, конечно же, все это время она не покидала комнату в гостинице. На самом деле она никогда не выходила из своей комнаты.

Она никуда не выходила, а только заснула, и видела сон, и не хотела возвращать свой сон. Проснувшись, она ничего не помнила. Флоренс Парр была из тех, кто, просыпаясь, просыпался готовый начать новый день.

В заключение речи Флоренс все воодушевленно заплодировала. Ей приходилось произносить подобные речи не один раз, смешно было так волноваться.

Поздравления, рукопожатия. Подали кофе.

Флоренс зарделась от облегчения и удовольствия, окруженная доброжелателями. Это был ее мир, эти люди, ее коллеги, они знали ее, восхищались ею. Зачем беспокоиться о чем-то! Флоренс думала, улыбаясь этим ясным лицам, пожимая чьи-то руки. Это были хорошие, серьезные профессионалы, и они ей очень нравились.

Вдали пролетел слабый насмешливый голос: «Лгунья! Грязная лгунья!» Но Флоренс слушала настоящие, довольно разумные замечания молодого человека, нового декана в Вассаре. Как хорош был свежий горячий кофе! И булочка с тонким абрикосовым слоем, которую она взяла с серебряного подноса.

Обида и неприятности той ночи постепенно таяли. Видение кукольного домика блекло, умирало. Она не хотела его вспоминать, не желала думать о нем. Вокруг собрались хорошие друзья, знакомые, союзники. Она знала, что ее кожа сияла, как у девочки, ее глаза лучились чисто и с надеждой. В такие минуты, ободренная присутствием единомышленников, она, как от аплодисментов, забывала и возраст, и одиночество — главные струны души.

«Единственная реальность — это день». Она всегда это знала.

Конференция удалась на славу. Дома сослуживцы узнали, что выступление Флоренс было принято очень хорошо. А через несколько недель она уже начала забывать об этом. Так много конференций! Так много тепло принятых речей! Флоренс была профессионалом, и скорее от природы, чем по долгу службы, она нравилась как женщинам, так и мужчинам. Она не подстрекала споров, она «поощряла» обсуждение. Теперь Флоренс готовилась к первой большой конференции, которая должна была состояться в Лондоне в сентябре: «Роль гуманности в двадцать первом веке». Флоренс понимала всю ответственность и говорила друзьям:

— Это же настоящий вызов.

Когда по почте пришел чек на пятьсот долларов, гонорар за выступление в Ланкастере, в Пенсильвании, Флоренс сперва удивилась — не могла вспомнить ни выступления, ни обстоятельств. *Как странно! Она никогда там не была, не так ли?*

Потом, словно увидев сон, она вспомнила: красивый пенсильванский пейзаж, залитый весенними цветами, небольшую группу поклонников, собравшихся вокруг нее, чтобы пожать ей руку. Почему, подумала Флоренс, она так волновалась во время выступления? Может быть, она вдруг задумалась, как выглядит на публике? Подобно идеально точному часовому механизму, подобно живому манекену, она всегда будет делать правильно, и вы тоже заплодируете, когда услышите ее выступление.

ВЕДУЩИЙ «БИНГО»

Вдруг появляется Джо Пай, ведущий «Бинго», опоздав на целых десять или пятнадцать минут, и каждый в бинго-холле, кроме Роуз Малоу Одом, восторженно кричит, приветствуя его, или хотя бы широко улыбается, показывая, как ему рады и что прощают его за опоздание.

— Только глянь, что на нем сегодня! — восклицает толстая молодая мамаша с ямочками на щеках, сидящая напротив Роуз, сияя, как ребенок. — Это что-то! — бормочет женщина, видя равнодушные глаза Роуз.

Джо Пай — ведущий «Бинго». Джо Пай у всех на устах в Тофилде, или в некоторых районах Тофета. Он тот, кто купил на улице Пурслейн возле гостиницы «Веселые перышки» (которую, как думала Роуз, давно заколотили или даже снесли, но, оказывается, она все еще работает) старую аркаду «Забавы Арлекина» и так преуспел со своим бинго-холлом, что даже старые друзья ее папы в церкви или в клубе поговаривали о нем. Совет города Тофет прошлой весной пытался запретить заведение Джо Пая. Во-первых, потому, что в холле собиралось слишком много людей, возникала угроза пожара, во-вторых, потому, что он не заплатил какой-то налог или еще что-то («Или, — злобно думала Роуз, — не дал взятку») в «Совет здравоохранения и санэпиднадзора», чей инспектор якобы был «неприятно поражен» состоянием сортиров, качеством стульев и пищи с колбасой и сыром, подаваемой в буфете.

Две или три церкви, завидующие прибылям Джо Пая, которые могли бы из-за него потерять свои собственные доходы (поскольку вечера по четвергам для большинства церквей Тофилда были главным денежным источником, но, слава Богу, не для епископальной церкви Святого Маттиаса, прихожанами которой были Одомы), старались выжить Джо за пределы города. Так они уже избавились от всех этих книжных магазинов для «взрослых» и от откровенных кинофильмов. В печати появлялись передовицы и письма «за» и «против». И хотя Роуз Малоу не питала к местной политике ничего, кроме отвращения, и едва знала, что происходит в ее родном городе — ее мысли, как говорили папа и тетя, всегда где-то витали, — даже она с интересом следила за «Спором вокруг Джо Пая». Ей понравилось, что бинго-холл не закрыли, в основном потому, что это расстроило бы жителей ее квартала, обитателей районов гольф-клубов, парка и бульвара Ван Дусен. Если бы кто-нибудь мог предположить, что она посетит этот холл и даже будет сидеть, как теперь, за невозможно длинным, покрытым клеенкой столом, под этими ужасно яркими огнями, среди шумных веселых людей, которые, казалось, все друг друга знают и которые счастливо пожирают «прохладительные», — хотя всего лишь семь тридцать и, конечно же, они пообедали заранее, и почему они так таращат глаза на идиотского Джо Пая? — Роуз Малоу просто рассмеялась бы, отчаянно размахивая руками так, как, по мнению ее тетушки, было «непристойно».

Ну вот Роуз Малоу Одом сидит в бинго-холле у Джо Пая. Вообще-то она приехала рано и теперь смотрит, сложив руки под грудью, на легендарного Джо. В это время здесь были другие посетители — старшеклассницы с вытравленными волосами и в серьгах, с ужасно размалеванными лицами, и даже одна-две пожилые женщины в ярко-розовых халатиках с зелеными виньетками Джо Пая на воротничках. Впереди восседал учтивый молочно-шоколадный молодой человек в тройке, чьей обязанностью являлось, как догадалась Роуз, просто приветствовать игроков «Бин-

го» и, может быть, выставлять хулиганов, белых и черных, поскольку этот холл совершенно непристойное место. Но Джо Пай в центре внимания. Джо Пай являет собой все. Его быстрая доброжелательная болтовня в микрофон так же глупа и бессвязна, как монолог каждого местного диск-жакея, которых набум вспоминала Роуз, чтобы отвлечься. И все же каждый жадно внимает ему и начинает смеяться, еще не дослушав шутку до конца.

Ведущий «Бинго» очень интересный мужчина. Роуз сразу это заметила и приняла к сведению. Не важно, что у него черные, будто выкрашенные чернилами волосы, эспаньолка и совершенно черные брови. Кожа у него гладкая, как отшлифованный, какой-то ненастоящий камень, и такая загорелая, как у одного из тех мужчин, что смотрят на солнце с рекламных щитов, закуривая сигарету. Не важно, что губы у него слишком розовые, а верхняя губа загнута чересчур сильно, будто он дуется на кого-то, и его наряд (где взять более мягкое выражение? — бедняга одет в поразительно белый тюрбан и в тунику с серебряным и розовым люрексом, и еще на нем черные широкие, как пижамные, брюки из ткани воздушной, как шелк), от которого Роуз хочется закатить глаза и удалиться. Но все же он привлекателен, даже красив, если привыкнуть — Роуз пока еще не привыкла — называть мужчин красивыми. Его глубоко посаженные глаза горят неподдельным энтузиазмом, или почти неподдельным. Его костюм, абсурдный, как он есть, сидит на нем отлично, удачно подчеркивая широкие плечи, тонкую талию и узкие бедра. Его зубы, которые он часто, слишком часто обнажает в улыбках, предположительно сногшибательных, безупречно белые и ровные, какими обещали быть зубки Роуз Малоу. Правда, она уже в двенадцать или около того лет знала, что ужасный мост и еще более ужасный «прикус», от которого глаза лезли на лоб, не сделают ее зубы более привлекательными — да они вовсе и не были привлекательными. Зубы произвели на нее впечатление, вызвали зависть, настороженность. И невыносимо, что Джо Пай так

часто улыбается, манерно потирая руки и разглядывая восторженную хихикающую публику.

Естественно, голос у него мелодичный и задушевный, когда не вынужден быть «зажигательным», и Роуз думает, что если бы он говорил на другом языке — если бы ему не нужно было производить дешевых эффектов, говоря о «прекрасных дамах», «джек-пот-призах», «таинственных картах» и об «удовольствии на сто тысяч всего за сто» (в некоторых ситуациях она не совсем понимала, о чем речь), — то она могла бы считать его голос вполне приятным. Могла бы, если бы постаралась, если подумать, что он сам очень приятный. Между тем глупая болтовня не вредит его соблазнительной силе, или силам, и Роуз обнаруживает, что забылась и подает деньги розовой девице в обмен на грязную бинго-карточку, покраснев от смущения.

Конечно, этот вечер экспериментальный, правда, эксперимент не очень серьезный: она приехала сюда на автобусе, без сопровождения, в чулках, на довольно высоких каблуках, с накрашенными губами, надушенная, менее домашняя на вид, чем обычно, для того чтобы лишиться, как принято говорить, своей девственности. Или, возможно, выражаясь точнее, менее самовлюбленно, она приехала сюда, чтобы найти любовника?..

Но нет. Роуз Малоу Одом не нужен любовник. Ей вообще не нужен мужчина, ни в каком виде, но она полагает, что один все-таки необходим для ритуала, который она намерена совершить.

— А теперь, леди и джентльмены, если вы готовы, если вы все готовы начать, — поет Джо Пай, а в это время девица с прической в форме морковки и широченной алой улыбкой поворачивает ручку барабана, в котором сгрудились белые, как в пинг-понге, шарики, — я приступаю, и желаю от всего сердца вам всем и каждому в отдельности удачи. Помните, что в каждой игре более одного победителя, и десятки победителей каждый вечер, и вообще у Джо Пая есть железное правило, чтобы никто не ушел с пустыми руками. О, ну вот, давайте посмотрим: первый номер...

Роуз Малоу машинально, закусив нижнюю губу, склоняется над своей грязной карточкой, зажав между пальцами зерно кукурузы. Первый номер...

Это случилось накануне ее тридцать девятого дня рождения, почти два месяца тому назад, когда Роуз Малоу Одом постигла необходимость пойти и «лишиться» своей девственности.

Возможно, решение не было только ее, полностью ее. Оно пришло в голову, когда она писала одно из своих потрясных, безрассудных писем (за которые, она знала, друзья ценили ее — до чего же Роуз веселая, любили говорить они, до чего же она смелая) на этот раз Жоржине Вескот, которая вернулась в Нью-Йорк Сити со вторым разводом за плечами, с новой сложной, престижной, но не очень денежной работой (подзревала Роуз) в Коламбии* и с новой книгой, сборником эссе по современным художницам, только что заключив контракт с «Издательским Домом» Нью-Йорка. «Дорогая Жоржина, — писала Роуз. — Жизнь в Тофилде забавная, как прежде, с папиными, тети Оливии и моими перекрестными походами в дорогую клинику, о которой я тебе рассказывала. И, похоже, случился скандал эпического масштаба в «Женском Клубе» Тофилда, на том основании, что родственник клуб, который сдает помещение (догадываюсь, что они левацкого типа, ты, Хэм и Каролина обязательно примкнули бы, если бы имели несчастье обитать в этих местах) внес в свои списки двоих или троих тайных членов. Что, хотя и не нарушает устава клуба, конечно же, ранит его дух». «И еще, — продолжала Роуз очень поздно, когда ее тетушка Оливия отошла ко сну и даже папа, страдающий бессонницей, так же как Роуз, пошел спать, — и еще я сообщала тебе о конференции НСПБЛ... в Холидей Ин... (которую еще не построили, когда вы с Джеком приезжали)... по общегосударственному «Экспрессу»?... Тем не менее (боюсь, я говорила тебе, или это была Каролина, или вы обе), конферен-

* Коламбия Бродкастинг Систем — радио- и телевизионная компания в США. — *Прим. ред.*

ция была назначена, номера и банкетный зал заказаны, но какой-то предприимчивый энергичный репортер из «Международного Времени» (который потом перебрался в Норфолк на более денежную работу) обнаружил, что НСПБЛ означает «Национальная социалистическая партия белых людей» (я не преувеличиваю, Жоржина, хотя вижу, как ты морщишь нос на еще одну глупую фантазию Роуз Малоу. «Почему она не свалит все это в одну историю или в символическую поэму, как она сделала однажды, чтобы ей было чем оправдать затворничество, молчание и коварство». Слышу, как ты ворчишь, и ты права на сто процентов) и есть не что иное, как (ты готова???) «Американская нацистская партия! Да. На самом деле. Есть такая партия, и папа говорит, она перехлестывается с Кланом* и некоторыми граждански настроенными организациями в нашей округе, которые, он полагает, специфичны, возможно, потому, что его старая дева дочь выглядела слишком восторженной и авантюрной. Как бы там ни было, но нацистам отказали в Холидей Ин, и на тебя произвели бы впечатление передовицы газет, резко их порицающие (я слышу, как говорят — но может, это сюрреалистический юмор, — что нацисты не только носят на руках повязки со свастикой, но имеют еще маленькие значки на внутренней стороне отворотов пиджаков, натуральная свастика...)». А потом она сменила тему, сообщая новости о друзьях, мужьях и женах друзей и бывших мужьях и женах, о последних делах знакомых, скандальных и прочих (поскольку среди жизнерадостной, общительной, гениальной группы, которая сложилась сама собой в Кембридже, Массачусетс, почти двадцать лет тому назад, Роуз Малоу была единственная, кто любил писать письма, кто держал всех вместе по почте, единственная, кто продолжал писать, не получая ответа по году, а то и по два), и в наглом постскриптуме она добавила, что стремительно приближался ее тридцать девятый

*Имеется в виду ку-клукс-клан — тайная расистская организация в США. — *Прим. ред.*

день рождения, и она решила избавиться от своей проклятой девственности, в качестве подарка самой себе. «Поскольку моя железная фигура стала еще более гладкой, чем когда-либо, а груди размером с походный котелок, то после весенней простуды и рецидива противного бронхита такой поступок будет хорошим испытанием».

Конечно, это была не более чем шутка, одна из причудливых, самоиздевательских шуток Роуз — постскрипtum, нацарапанный, когда ее веки начали сами закрываться от усталости. И все же... И все же, когда она написала: «Я решила избавиться от своей проклятой девственности», — и запечатала письмо, она поняла, что осуществление плана было неизбежно. Она мужественно пройдет через это. Много лет назад, когда Роуз была самым многообещающим молодым писателем в своем кругу и награды, дружеская поддержка и призы сыпались ей в руки, она заставила себя довести до конца все бесчисленные проекты только потому, что они были рискованные и могли причинить ей боль (хотя Роуз презирала пуританское равнодушие Одомов к удовольствиям, по соображениям ума, но верила, что болезненные ощущения и даже сама боль имели целебный эффект).

Таким образом, она решилась на следующий вечер, в четверг, сказав папе и тете Оливии, что идет в городскую библиотеку. Когда они, как она и ожидала, с тревогой спросили, почему, в самом деле, она отправилась туда в такое время, Роуз ответила, насупившись, как школьница, что это ее дело. «Но разве библиотека открыта в такой странный час», — хотела знать тетя Оливия. «По четвергам она работает до девяти», — ответила Роуз.

В тот первый четверг Роуз направилась в бар для одиноких, о котором была наслышана. Он находился на первом этаже нового высотного административного здания. Но сразу ей не удалось найти его, она долго ходила вокруг огромной башни из стекла и бетона на своих неудобных высоких каблуках, бормоча, что ни-

что не стоит таких усилий, даже если они так болезненны. (Конечно, она была целомудренная молодая женщина, чье представление о сексе не сильно продвинулось с уровня средней школы, когда более грубые, более безрассудные и более осведомленные дети, выкрикивая определенные слова, могли заставить Роуз Малоу Одом зажать уши руками). Потом она нашла этот бар, вернее, нашла длинную очередь молодых людей, которая вилась по темным бетонным ступенькам в переулок, и по переулку на сотни ног. Это были страждущие попасть в «Шантеклер». Она испугалась не только очереди, но обилия молодых в толпе: все не старше двадцати пяти, все одеты не так, как она (она оделась как в церковь, которую ненавидела. Но как еще следует одеваться?). Поэтому она повернулась и отправилась в библиотеку, где сотрудники знали ее и уважительно расспрашивали о «работе» (хотя давным-давно она ясно дала понять, что больше не «работает» — требование ее мамы, когда она сильно болела. Потом ненадежное здоровье папы, и, конечно же, ее собственная история респираторного заболевания. Вдобавок анемия и ломкие кости не позволяли ей сконцентрироваться). Избавившись от заботливого кудачанья старых дам, она провела остаток вечера вполне продуктивно — она прочла «Антигону» в новом для нее переводе, сделала записи, как всегда, вызванные случайными мыслями, для статей, рассказов или поэм, а затем, как всегда, смяла эти записи и выбросила. Но вечер не прошел зря.

В следующий четверг она отправилась в отель в Тофилде, намереваясь посидеть в полумраке бара, пока что-нибудь не произойдет. Но едва она ступила в вестибюль, как ее окликнули Барбара и ее муж. В итоге ей пришлось пообедать с ними. Они на несколько дней приехали в Тофилд навестить родителей Барбары, которые ей всегда нравились. Хотя она не виделась с Барбарой пятнадцать лет и не думала о ней ни разу за все эти пятнадцать лет (если не считать того, что она помнила, как близкий друг Барбары на шестом курсе придумал жесткое, но, вероятно, очень точное

прозвище для Роуз — «Устрица»), она действительно хорошо провела вечер.

Любой, кто наблюдал бы их столик в сводчатом, с дубовыми панелями, ресторане «Парк-Авеню», обратив особое внимание на высокую, тонкую, немного нервную женщину, которая часто смеялась, обнажая десны, и которая, казалось, не могла постоянно не трогать свои волосы (шелковые, как у ребенка, светло-коричневые, никак не уложенные, очень шедшие ей к лицу) и поправляла свой воротничок или серьги — этот человек был бы просто потрясен, узнав, что женщина (неопределенного возраста: ее «нежные» выразительные шоколадно-коричневые глаза могли принадлежать и неуклюжей шестнадцатилетней девчонке, и элегантной пятидесятилетней женщине) собиралась провести вечер в поисках мужчины.

Потом, в третий четверг (четверги стали теперь традицией: ее тетя протестовала очень слабо, а папа дал ей книгу для возврата), она пошла в кино, в тот самый кинотеатр, где в тринадцать или четырнадцать с подружкой Дженет Броум она повстречала... или почти повстречала... что называлось тогда «старших», семнадцати-восемнадцатилетних мальчиков (больших мальчиков, с ферм, проводивших день в Тофилде, бродивших в поисках девочек. Но даже в темноте «Риальто» ни Роуз, ни Дженет не походили на девушек, которых искали те мальчики). И ничего не случилось. Ничего. Роуз ушла из кинотеатра посреди фильма — простоватой самодовольной комедии о прелюбодеяниях на Манхэттене — и уехала на автобусе домой, присоединившись к тете и папе, когда подали мороженое и бисквиты.

— У тебя слезятся глаза.

Роуз отрицала, но на следующее утро слегла с простудой.

Она пропустила один четверг, но на следующей неделе снова рискнула. С пристрастием и без тени симпатии разглядев себя в зеркале спальни (которое казалось тусклым и затертым — но разве зеркала могут стариться, думала Роуз), придя к выводу, что, да, ее

можно было назвать хорошенькой, с точки зрения человека, взглянувшего на нее при достаточно тусклом освещении, с ее большими, как у креветки, глазами и высоким ростом, этим весьма неуклюжим достоинством. Теперь она поняла, что ее проект был погибельный, но решение вернуться в отель «Парк-Авеню» давало ей «чувство злого удовлетворения за черта ради», как сформулировала она в более позднем письме (на этот раз к девушке, женщине, с которой она делила комнату на последнем курсе в Радклиффе. В то время она была такой же девственницей, как Роуз, и, возможно, еще более запуганной мужчинами, чем она, а теперь Паулина была в разводе, с двумя детьми, жила с ирландским поэтом и несколькими его детьми на севере Слиго в башне, но не как у Ито*).

И поначалу вечер был обещающим. Совершенно случайно Роуз забрела на «Вторую ежегодную конференцию сторонников эволюции» и села в уголке переполненного зала, слушая, как читал с листа осанистый представительный джентльмен в пенсне и с красной гвоздикой в петлице. Она даже потом воодушевленно аплодировала (доклад был, смутно вспоминала Роуз, о необходимости межпланетных контактов — или такие контакты уже являются реальностью, а ФБР и «университетские профессора» объединились против этого?) Второй докладывала женщина ее возраста с тростью и, похоже, придерживающаяся мнения, что Христос обитает в космосе — «там, в космосе», — что следует из внимательного чтения «Евангелия от Иоанна». Аплодисменты были еще более бурными. Однако Роуз хлопала лишь из вежливости, поскольку она сама в течение нескольких лет много думала об Иисусе из Назарета и размышляла над своими мыслями. В конце концов в один прекрасный день она тайно пришла к психиатру в госпиталь «Маунт Яроу», в слезах признавшись, что все знала — все-все — о том, что это чепуха, к тому же скучная чепуха, но все же она порой ловила себя на том, что «верила». «Была ли она клини-

* Ито Сэй — японский писатель-модернист. — *Прим. ред.*

чески невменяемой?» Некоторое дрожание ее голоса, закатывание глаз, должно быть, насторожили врача и убедили его в том, что Роуз Малоу Одом была вроде него самого — она ходила в школу на севере? — поэтому он развеял ее тревоги и сказал, что, конечно, это все была чепуха, да, хочется с ней поспорить и говорить ужасные вещи, но понимание и поддержка семьи не иссякнут. Он выпишет ей успокоительное, если она страдает бессонницей, и не следует ли ей пройти общее обследование? Она выглядит (он хотел быть вежливым и не знал, как ранил ее сердце) усталой. Роуз не сказала, что недавно прошла полную диспансеризацию и была в отличной форме: никаких проблем с дыхательными органами, анемия под контролем. Под конец разговора врач догадался, кто она была.

— Как, вы знаменитость? Не вы ли написали новеллу, от которой все были в шоке?

Роуз взяла себя в руки и сухо сказала, что в этой части Алабамы никто не считался знаменитостью, после чего причина ее визита была забыта. Теперь уже Иисус из Назарета плавал в космосе... или облетал какую-то луну... или он находился в космическом корабле (слова «космический корабль» употреблялись выступающими часто), ожидая первых пришельцев с планеты Земля.

Роуз познакомилась с седовласым джентльменом лет семидесяти, который пересел через два-три откидных стула, чтобы быть поближе к ней. Позже к ним присоединился более молодой мужчина, возможно лет пятидесяти, с сальными слипшимися волосами и легким заиканием, по значку которого она узнала, что он Г. Спидвел из Сиона, Флорида, и который предложил угостить ее чашечкой кофе после конференции. Роуз ощутила — что? — интерес, любопытство, отчаяние? Ей пришлось по-школьному приложить палец к губам, поскольку престарелый господин справа и господин Г. Спидвел разговаривали слишком оживленно, пытаясь произвести на нее впечатление, рассказывая о своем опыте встреч с НЛО, а между тем к выступлению готовился третий докладчик.

На этот раз тему «Следующая и финальная стадия эволюции» представлял Реверенд Джейк Кромвель из Института новой Голландии по религиозным исследованиям в Стоунсид, Кентукки. Роуз сидела очень прямо, сложив на сдвинутых коленях свои руки (потому что, должно быть случайно, к ним прижималось колено мистера Спидвела) и делала вид, что слушает. В голове у нее царил полный беспорядок, точно в курятнике, куда забралась собака. Она никак не могла сообщить, что чувствовала, пока наконец мысли не улеглись.

Все-таки она была в зале отеля «Парк-Авеню» сентябрьским вечером в четверг и слушала доклад свиноподобного мужчины в тесном серо-красном клетчатом костюме и ярко-красном галстуке. Она заметила, что многие из присутствующих были инвалидами — с тросточками, на костылях и даже в инвалидных колясках (одна такая коляска, управляемая молодым человеком с птичьим хищным лицом, который мог быть ее ровесником, но выглядел лет на двенадцать, была просто совершенством: с блоком управления, при помощи которого он мог делать все, что захочет. Роуз самой довелось пользоваться инвалидной коляской несколько лет тому назад, когда у нее защемило нерв в спине, но у нее коляска была совсем простая). Большинство из них были в возрасте. Присутствовали и мужчины ее лет, но они не вызывали никакого вдохновения. А мистер Спидвел, пропахший чем-то странным, вроде тапиоки*, так же исключал малейшие фантазии. Роуз, разглядывая декор зала, посидела еще несколько минут, из вежливости, чтобы не повредить своему имиджу, позволяя монотонному голосу Реверенда Кромвеля убаюкать себя. (На ковре колыхались флуоресцентно-оранжевые, зеленые и фиолетовые змеи. От слабых дуновений едва колыхались чувственные сорокафутовые бархатные драпировки. Там был даже кричаще-несуразный, но гипнотизирующий зеркальный потолок с освещением «звездная пыль», от

* Тапиока — крупа из крахмала клубней маниока съедобного. —

которого у присутствующих был фантастический, даже неземной вид, несмотря на их костыли, лысые головы и трясущиеся шеи). Потом она потихоньку сбежала.

А теперь Роуз Малоу Одом сидит за длинным столом в бинго-холле Джо Пая, ощущая неудобство в желудке после натурального апельсинового сока, который только что выпила, с обещающей, многообещающей карточкой перед ней. Она думает, естественно ли нахлынувшее возбуждение или это результат апельсиновой кислоты, или всего лишь реакция мозга, поскольку, конечно, ей не хочется выиграть. Она никак не может представить себя выкрикивающей: «Бинго!» — достаточно громко, чтобы ее слышали. Уже десять тридцать вечера, и уже кое-кто выиграл, даже опоздавшие. Постепенно ее окружают визжащие, радостные: «Бинго!», ревушие: «Бинго!» и, пожалуй, дватри разочарованных вздоха. Вдобавок ей действительно надо бы домой. Джо Пай — единственный привлекательный мужчина (мужчин здесь не больше дюжины). Но вот только не похоже, что Джо Пай, в его потрясающем костюме, в ярко-белом тюрбане с золотой заколкой, с его грациозными плечами и сладким голосом, обратит на нее внимание. И любопытство, а может быть, инерция продолжали держать ее на месте. Какого черта, думает Роуз, двигая кукурузные зерна по грязным квадратикам толстой карточки, знакомясь с парнем по имени Тофетянс. Конечно, есть куда более плохие способы провести вечер... На неделе она отстрочит письма Гамильтону Фраю и Каролине Сирс, хотя теперь их очередь писать. Она опишет в деталях этот вечер и своих новых друзей (толстую, потную, добрую женщину по имени Лобелия, что сидит напротив, и забавно, что Роуз преуспевает в игре, потому что только что Лобелия обменялась с ней карточками, просто так. «Ты дай мне свою, а я тебе свою, Роуз!» — попросила она, очаровательно и широко улыбнувшись. И, конечно же, Роуз немедленно повиновалась), а также невозможно ярко освещенный холл, с его непропорционально большим американским флагом над

сценой Джо Пая, и всех странных, чудаковатых, печальных, нетерпеливых, заядлых игроков. Некоторые из них очень старые, с умудренными лицами и парализованными руками. Есть здесь и инвалиды, карлики или увечные каким-то другим непонятным образом, есть и очень молодые (вообще-то просто скандал, дети, так поздно, играют в бинго рядом со своими матерями, часто на двух-трех карточках, в то время как их мамы сразу на четырех. Неужели нет никаких ограничений?). И, ко всему, отвратительные музыкальные записи, назойливо звучащие на фоне неустанного голоса Джо Пая. Конечно же, она не обойдет вниманием самого Джо Пая, ведущего «Бинго», у которого для каждого присутствующего в холле припасена теплая, зубастая улыбка и который — если только ее слабые глаза из-за яркого освещения не обманулись — послал ей особенный взгляд и подмигнул в начале вечера, вероятно заметив нового посетителя. На базе этих заметок она сочинит забавный, прелестный анекдот. К себе она будет совершенно безжалостно беспощадна и сделает упор на феномен неизвестности, феномен ее психологического значения (нет ли здесь смысла, означающего, что всякая неизвестность, а не только неизвестность бинго-холла просто глупа?). Затем опишет неудачников, которые, даже если выигрывают, все равно остаются неудачниками (ибо какая существует разница между всеми этими людьми и электросушилкой, или стодолларовой купюрой, или уличным барбекю-грилем, или груженым электропоездом, или огромным томом Библии с иллюстрациями в белой кожаной обложке?). Она опишет стоны разочарования и недовольства, когда кто-то в толпе кричит: «Бинго!». Она опишет шелестящее ворчание, когда номера победителя после проверки усталой девицей оказываются верными: слезы победителей, сердечные рукопожатия и поцелуи, раздаваемые Джо Паем, будто каждый победитель был особенно ему дорог — старый друг, жаждущий поддержки. В ее повествовании будет и светло-желтая горчица на сосисках и булочках, и несколько младенцев, которым, к несчастью, подгуз-

ники меняли на скамейке совсем рядом от нее, и суеверное прикосновение Лобелии к кресту на цепочке вокруг шеи, и маленькая усталая девочка, уснувшая на полу, положив головку на розового мишку, которого выиграл кто-то из ее родственников несколько часов назад, и...

— Ты выиграла! Вот здесь, эй! Она выиграла! Прямо здесь! Вот карточка, вот! Ну вот же! Джо Пай, сюда!

Пожилая женщина слева от Роуз, с которой в самом начале она обменялась несколькими приятными словами (выяснилось, что ее имя Корнелия Тизл. Она когда-то убирала дом у соседей Одомов, у Филарри), вдруг кричит и хватается руку Роуз, от возбуждения сметая все зерна с карточки. Но это ничего, ничего, у Роуз действительно выигрышная карточка, она сделала игру, и никуда не денешься.

Как обычно, стоны, рыдания, ворчание злого разочарования, но розыгрыш завершается, и девушка в медном шлеме волос и с жвачкой во рту считывает номера Роуз Джо Паю, который не просто комментирует их: «Да» — или: «Нет», — а: «Да, верно!», «Продолжай, детка», — и: «Вот умница». Он ослепительно широко улыбается, будто никогда не был свидетелем чего-то более замечательного в своей жизни. «Выигрыш в сто долларов! Впервые у нас (если только глаза меня не обманывают) и выиграла сто долларов!»

Лицо Роуз горит от смущения, сердце сильно бьется, она должна подняться на сцену Джо Пая и получить чек. Джо Пай сердечно ее поздравляет, его шумный влажный поцелуй неуклюже попадает где-то рядом с ее губами (ей следует сопротивляться и сердито отстраниться — мужчина так близок, так реален).

— Ну вот вы и улыбаетесь, милая, не так ли? — радостно говорит он.

Рядом он кажется еще красивее, правда, белки его глаз слишком белые, а золотая заколка на тюрбане в виде поющего петуха... Кожа у него очень загорелая, а эспаньолка еще чернее, чем предполагала Роуз.

— Я следил за тобой весь вечер, детка, и ты была бы гораздо милее, если бы расслабилась и больше улыбалась, — шепчет Джо Пай ей в ухо. От него сладко пахнет, как от фруктовой конфеты или вина.

Обиженная Роуз отступает, но Джо Пай останавливает ее, снова взяв за руку, за ее холодную тонкую руку, которую он потирает между своими ладонями.

— Ты здесь впервые, да? В первый раз сегодня вечером? — спрашивает он.

— Да. — Роуз отвечает так тихо, что он наклоняется, чтобы услышать.

— Ты из Тофета? В городе живут родственники?

— Да.

— Но ты раньше не была в бинго-холле Джо Пая?

— Нет.

— И вот ты выиграла сто долларов! Как ты себя чувствуешь?

— О, прекрасно...

— Что?

— Замечательно. Я не ожидала...

— Ты любишь играть в бинго? Я имею в виду в этих церквях в городе или еще где-то.

— Нет.

— Не любишь? А здесь просто ради забавы? Выиграла сто долларов в первый же вечер. Какая удача, не правда ли? Знаешь, крошка, ты действительно хорошенькая, разрумянившаяся. Хотел бы знать, не побудешь ли здесь еще полчаса, пока я закончу. Рядом есть уютный бар. Я понял, что сегодня ты одна, а? Может, мы выпьем по чашке кофе, просто мы вдвоем?

— О, я не думаю, мистер Пай...

— Джо Пай. Меня зовут Джо Пай, — жарко шепчет он, улыбаясь и наклоняясь к ней. — А как зовут тебя? Что-то похожее на цветок, не так ли? Какой-то цветок...

Смущенная, Роуз хочет убежать. Но он крепко держит ее руку.

— Слишком застенчивая, чтобы сказать Джо Паю свое имя? — спрашивает он.

— Меня зовут... Меня зовут Оливия, — заикается Роуз.

— О, Оливия, Оливия, не так ли? — произносит Джо Пай, сдерживая улыбку. — Разве Оливия... Ну, иногда я ошибаюсь, сама понимаешь: замкнет иногда, и я ошибаюсь. Но я никогда не утверждал на сто процентов, что не ошибаюсь. Тогда Оливия. О'кей, замечательно, Оливия. Почему ты такая пугливая, Оливия? В микрофон не слышно, о чем мы говорим. Ты свободна около одиннадцати, чтобы выпить чашечку кофе? Да? Рядом с «Веселыми перышками», возле бинго-холла, там очень уютно, мило и по-домашнему, только мы вдвоем, безо всяких сложностей...

— Меня ждет папа, и я...

— Ну что ты, Оливия, ты же из Тофилда, разве тебе не хочется быть гостеприимной с приезжим?

— Просто я...

— Ну хорошо, согласна? Да? Договорились? Как только закончу? Рядом с «Веселыми перышками»?

Роуз смотрит на мужчину, в его сверкающие глаза и на блестящую заколку в тюрбане и слышит, как сама слабо бормочет согласие. Лишь тогда Джо Пай отпускает ее руку

И как-то так случилось, невероятно нелепо, но к полуночи Роуз Малоу Одом оказалась в глубоком, как склеп, кресле бара, в обществе Джо Пая, ведущего «Бинго» (чей белый тюрбан поразителен даже здесь в клубах табачного дыма и в лучах мерцающего пестрого света от высоко подвешенного телевизора), и двух-трех призрачных одиноких фигур, никому не нужных и угрюмых пьяниц, которым совершенно нет дела до окружающих (один из них, довольно прилично одетый пожилой джентльмен с распухшим и приплюснутым, как у мопса, носом, смутно напомнил ей отца — конечно, если не обращать внимания на этот алкогольный нос). Она нервно потягивает «апельсиновый пвет» — дамское кисло-сладкое варево, которое она не пила с тысяча девятьсот шестьдесят второго года, а сегодня заказала, или это заказал для нее ее спутник, поскольку она отказалась от всего остального.

Джо Пай рассказывает Роуз о путешествиях по дальним странам — Венесуэла, Эфиопия, Тибет, Ис-

ландия, — а Роуз старается делать вид, что верит ему, что вполне наивна, чтобы поверить, ибо решила пройти через это, стерпеть от любовника его заморское вранье, только на одну ночь, на часть ночи, сколько бы времени эта сделка ни заняла.

— Хочешь еще выпить? — предлагает Джо Пай, положив руку на ее покорное запястье.

С экрана телевизора доносится автоматическая стрельба и видны неясные силуэты, возможно, людей, бегущих по ярким пескам под ослепительным бирюзовым небом. Джо Пай раздражен и, перевернувшись, подает бармену сигнал проворным движением пальцев против часовой стрелки. Тот почти мгновенно убавляет звук. Повиновение бармена Джо Паю производит на нее впечатление. Но теперь не ее легко произвести впечатление, необычно легко произвести впечатление. Это шипучий, колющий напиток ударил ей в голову.

— Путешествуя с севера на юг земного шара, с востока на запад, на пароходах, на поездах, порой пешком, пешком через горы, проводя год там, полгода здесь, два года еще где-то, я в итоге вернулся домой в Штаты и блуждал, пока не почувствовал... Ты понимаешь, как бывает, когда чувствуешь себя хорошо среди природы, в городе или с человеком, что тебе здесь хорошо и это твой удел, — мягко произносит Джо Пай. — Если ты понимаешь меня, Оливия.

Двумя смуглыми пальцами он гладит ее руку, она поеживается, хотя ощущение действительно приятное.

— ...удел, — повторяет Роуз. — Да, думаю, что понимаю.

Ей хотелось спросить Джо Пая, честным ли был ее выигрыш. Не подыграл ли он ей, потому что заметил ее заранее. Целый вечер. Новичок, недоверчивый новичок, смотрящая на него умными скептическими глазами, одетая очень консервативно и со вкусом. Но ему не хочется говорить о своем бизнесе, он желает рассказать о своей жизни, о себе как о «рыцаре судьбы» — что он под этим подразумевает, — и Роуз думает, не является ли ее вопрос наивным или оскорбительным, ибо намекает на то, что он не был честен, что в

«Бинго» можно подыграть. Но, возможно, все знают, что подыгрывают? Как на скачках.

Она хочет спросить и не может. Джо Пай сидит так близко, лицо его так румяно, губы так темны, зубы так белы, эспаньолка как у Мефистофеля, а его манера — теперь вне «сцены», когда он может быть «самим собой» — так неотразимо интимна, что она совсем растерялась. Ей хочется взглянуть на себя с юмором, представить всю нелепость своего положения (она, Роуз Малоу Одом, презиращая мужчин и вообще всякое физическое обшение, теперь хочет позволить этому шарлатану вообразить, что он ее соблазняет. Но в то же время она нервничает и даже говорит нечленораздельно). Ей следует обратить на это внимание и расценить как нечто. Но Джо Пай продолжает говорить. Будто ему это нравится, будто это обычный разговор. У нее есть хобби? Домашние животные? Она родилась в Тофилде и здесь же закончила школу? Живы ли ее родители? Чем занимается ее папа? Или какая у него профессия? Много ли он путешествовал? Нет? Была ли она когда-нибудь замужем? Делает ли она себе «карьеру»? Была ли она когда-нибудь влюблена? Хотела ли полюбить?

Роуз краснеет, слышит, как в смущении начинает хихикать. Ее речь становится сбивчивой. Джо Пай наклоняется ближе, шекоча ее руку, клоун в пижамных штанах и тюрбане, пахнувший чем-то перезрелым. Его темные брови изогнуты, белки глаз светятся, свежие губы пухлы, он неотразим. Даже его ноздри вздуваются, имитируя страсть... Роуз начинает смеяться и не может остановиться.

— Ты очень привлекательная девушка, особенно когда такая, как теперь, — мягко говорит Джо Пай. — Знаешь что, мы можем подняться ко мне, там никто не будет мешать нам. Ты не против?

— Нет, — отвечает Роуз и, чтобы просветлить сознание, делает большой дрожащий вдох. — Я не девушка. Едва ли девушка в тридцать девять лет.

— У меня в комнате гораздо лучше. Нам никто не помешает.

— Мой папа нездоров, он ждет меня, — вдруг быстро выпаливает Роуз.

— Скорее всего, он теперь спит!

— О нет, нет, нет — у него бессонница, как у меня.

— Как, у тебя, неужели? Я тоже страдаю бессонницей, — сообщил Джо Пай, сжимая от восторга ее руку. — С тех пор, как однажды в пустыне... на другом конце света... Но я расскажу потом, когда мы поближе познакомимся. Если мы оба страдаем бессонницей, Оливия, нам следует быть вместе. Ночи в Тофилде такие долгие.

— Ночи действительно долгие, — согласилась Роуз, краснея.

— А твоя мама, она тебя не ждет?

— Мама умерла много лет тому назад. Не скажу, чем она болела, вы догадаетесь, она долго болела, и, когда умерла, я собрала все свои вещи... У меня была эта смешная карьера... Не буду утомлять подробностями — все мои бумаги: рассказы, записи и все такое — я сожгла. Я сидела дома дни и ночи. Потом мне стало легче, когда я все сожгла. И теперь, когда вспоминаю об этом, мне очень легко, — вызывающе заявляет Роуз, допив стакан. — И я знаю, что совершила тогда грех.

— Ты веришь в грех, такая умная девушка? — удивляется Джо Пай, широко улыбаясь.

Алкоголь, как золотое дыхание, заполняет ее легкие и течет, и растекается по всему телу, от кончиков пальцев ног до самых ушей. Но руки ее холодны: пусть Джо Пай сжимает их как ему хочется. Стало быть, ее соблазняют, и это так же глупо и неуклюже, как она и представляла, точно так же, как представляла себе, будучи совсем еще девочкой. Поэтому, согласно Декарту*: «Я есть я, в здравом уме, и мое тело — это мое тело, находящееся в пространстве, вон там». «Интересно наблюдать, что произойдет дальше», — спокойно думает Роуз. На самом деле она не спокойна. Она начинает дрожать. Но ей нужно успокоиться, это просто недоразумение.

* Декарт (1596—1650) — французский философ, физик, математик и физиолог. — *Прим. ред.*

По пути в его комнату триста два (лифт не работает, или его просто нет, и нужно подниматься по пожарной лестнице, у Роуз кружится голова, а ее спутник вынужден обнять ее) она говорит Джо Паю, что не заслужила выигрыша и должна бы отдать эти сто долларов, ну хотя бы Лобелии (но не знает ее фамилии — какая жалость), потому что выиграла карточка Лобелии, а не ее. Джо Пай кивает, хотя и не понимает, о чем это она. Когда он открывает дверь, она начинает какую-то бессвязную историю или признание, о том, что она сделала, когда ей было одиннадцать лет, и о чем она никому не рассказывала. Джо Пай ведет ее в комнату и театральным жестом включает свет и даже телевизор, хотя в следующий момент выключает его. Роуз растерянно моргает, увидев волнистые полосы на ковре, похожие на змей, язык ее заплетается, но она завершает свой рассказ.

— ...она была такая общительная и хорошенькая, а я ее ненавидела. Я обычно выходила из школы раньше, чтобы она наткнулась на меня, иногда это срабатывало, иногда нет. Я просто ненавидела ее. Однажды на день Святого Валентина я купила открытку, смешную открытку длиной в целый фут, на которой был изображен сумасшедший и написано: «Мама меня любила», а когда развернешь: «Но она умерла». Я послала ее Сандре, потому что ее мама умерла... когда мы были в пятом классе... и... и...

Джо Пай отстегивает золотого петуха и снимает впечатляюще высокий тюрбан. Роуз, улыбаясь, начинает, но никак не может расстегнуть верхнюю пуговку платья. Эта маленькая пуговка, обтянутая тканью, никак не хочет пролезать в петлю. Но наконец она расстегивает ее и теперь стоит, тяжело дыша.

Ей нужно взглянуть на все приключение, то есть она *должна взглянуть* на все это со стороны, как на что-то явное, но отстраненное, вроде визита в гинекологу. Но Роуз ненавидит эти гинекологические осмотры. Ненавидит до отвращения и избегает, отменяя визиты в последний момент. Она думает, что это будет ей поделом, она часто думает, что если... Но рак ее

матери был повсюду, везде в ее теле, повсюду. Возможно, здесь нет никакой связи.

Голова Джо Пая покрыта пушистыми и, наверное, очень густыми, но короткими темными волосами. Он, должно быть, недавно побрил голову, и они начали неровно отрастать. У корней волос его медный загар кончается, и становится видна полоска белой кожи, такой же как у Роуз. Он улыбается Роуз, восхитительно и вопросительно, потом внезапным решительным движением срывает эспаньолку. У Роуз перехватывает дыхание, она в шоке.

— Но что ты делаешь, Оливия? — спрашивает он.

Вдруг пол закачался. Возникает опасность, что она упадет ему в руки. Роуз отступает, нащупывая ногой опору, и удерживает равновесие. Нервно и зло она отдирает противные маленькие пуговицы на своей груди.

— Я спешу, как могу, — бормочет она.

Уставившись на Роуз Малоу Одом, Джо Пай потирает свой подбородок, розовый и какой-то сырой. Даже без величественного тюрбана и эспаньолки Джо неотразим. Он держится хорошо. Он смотрит на Роуз, приподняв плечи, так, словно не верит тому, что видит.

— Оливия? — говорит он.

Она резко рвет застежку, и пуговицы падают. Это выглядит несколько грубовато, но размышлять некогда. Что-то не так, платье не снимается, она замечает, что поясok все еще застегнут, и, конечно же, платье не снимается. Если бы только этот идиот не смотрел на нее. Рыдая от отчаяния, она скидывает бретельки со своих плеч и обнажает грудь: свои маленькие груди. Роуз Малоу Одом, которая годами смущалась в раздевалке в школе, сгорая от стыда, потому что стеснялась даже думать о своем теле. И вот она презрительно обнажается перед незнакомым мужчиной, который глядит на нее, будто раньше ничего такого не видел.

— Но, Оливия, что ты делаешь? — недоумевает он.

Вопрос его одновременно тревожен и официален. Роуз вытирает слезы с глаз и растерянно смотрит на него.

— Но, Оливия, люди так не поступают, *не таким* способом, *не так* быстро и нервно, — выговаривает Джо Пай. Его брови поднимаются, глаза неодобрительно сощуриваются, его поза исполнена достоинства. — Думаю, ты не поняла моего предложения.

— Что значит люди не делают?.. Какие люди?.. — хнычет Роуз. Ей приходится часто моргать, чтобы видеть его, потому что из глаз по щекам продолжают течь слезы. Они смывают косметику, которую она щедро и с отвращением наложила несколько часов назад. Происходит что-то неправильное, что-то непонятное. Почему этот кретин смотрит на нее с сожалением?

— Приличные люди, — медленно отвечает Джо Пай.

— Но я, я...

— *Приличные люди*, — повторяет он, понизив голос и иронично поджав уголок рта.

Роуз покрывается мурашками, несмотря на жар в горле. Грудь у нее голубовато-белые. Бледно-коричневые соски затвердели от страха. Страх, холод и ясность. Руками она пытается заслониться от жгучего взора Джо Пая, но не может: он видит все. Пол снова качается, убийственно-неотвратимо и медленно. Если он не остановится, то она упадет. Она упадет прямо ему в руки, как бы ни старалась перенести центр тяжести на дрожащие пятки.

— Но я думала... Разве вы... Разве вы не хотите?.. — шепчет она.

Джо Пай выпрямляется в полный рост. Он действительно великан-мужчина: Ведущий «Бинго» в серебряном плаще и широких брюках, тень эспаньолки обрамляет его гневную улыбку, глаза полны презрения. Он качает головой, а Роуз рыдает. Нет. И снова нет, нет. Она всхлипывает, умоляет, неуверенно подбегая к нему. Что-то *не так*, но она не может понять. В голове у нее что-то происходит. Она уже нашла холодные умные слова, которые все объяснят, ведь Джо Пай ничего не знает о ее намерениях, и потому ему нет никакого дела ни до нее, ни до ее слов.

— Нет, — сурово произносит он, ударяя ее.

Она, должно быть, упала на него. Наверное, подкосились колени, потому что он схватил ее за голые плечи и, с побагровевшим лицом, начал бешено трясти. Голова Роуз качается из стороны в сторону, ударяясь то о шкаф, то о стену, — так больно, так сильно, затылком о стену. Зубы стучат, глаза широко и слепо открыты.

— Нет, нет, нет, нет.

Вдруг она на полу, что-то ударило ее по челюсти справа, она поднимается сквозь слои напряженного воздуха к мужчине с физиономией, похожей на пулю, у него мокрые бешеные глаза, и она никогда раньше не видела его. Голая лампочка, ввинченная в потолок, горит где-то далеко за его головой, горит с силой яркого ослепляющего солнца.

— Но я... я думала... — шепчет она.

— Ворваться в бинго-холл Джо Пая и развращать его, врываться сюда и распутствовать в моей комнате, как оправдаетесь, мисс?! — негодует Джо Пай, поднимая ее на ноги. Он натягивает на нее платье и, сильно схватив за плечи, ведет к двери жестоко, без намека на сочувствие или вежливость. Почему он так груб с ней? И вот она в коридоре, ее лакированная кожаная сумочка вылетает вслед за ней, а дверь с номером триста два с шумом захлопывается.

Все произошло ошеломляюще быстро. Роуз ничего не понимает, она смотрит на дверь, будто ожидая, что та откроется, но дверь закрыта. Внизу в холле кто-то открывает дверь и высовывает голову, но, видя ее в таком состоянии, быстро исчезает. Роуз совершенно одна.

Она оцепенела и нисколько не чувствует боли: только колющее ощущение во рту и что-то с плечом, там, где с такой силой впились пальцы Джо Пая. Почему ему не было до нее дела?..

Пробираясь по коридору и бормоча что-то, как пьяная, она одной рукой придерживает разорванное платье, другой прижимает сумочку, качается и спотыкается. Она на самом деле пьяна.

— Что значит люди?.. какие люди?..

Если бы только он обнял ее! Если бы он любил ее!

На первой площадке пожарной лестницы у нее вдруг закружилась голова, и она решает присесть. Сесть сразу. В голове пульсирует. Она не контролирует себя, ей кажется, что это пульс ведущего «Бинго», и его голос тоже у нее в голове, попеременно с ее собственными мыслями. За щекой что-то скопилось. Она сплевывает кровь и чувствует, что у нее выбит передний зуб, а соседний клык всю качается в разные стороны.

— О, Джо Пай, — бормочет она. — Боже мой, что ты наделал.

Вздыхая, шмыгая носом, она пытается справиться с позолоченной застежкой сумочки. Открывает ее и шарит внутри, хныкая, ища — но его нет, — и никак не может найти. Ах, но вот он! Наконец-то, вот он: сложенный маленький и смятый (в смущении она быстро сунула его в сумочку) чек на сто долларов. Простой чек, на котором было бы видно широкую, жирную, черную роспись Джо Пая, если бы глаза могли ее разглядеть.

— Джо Пай, какие люди... — всхлипывает она, моргая. — Я никогда не слышала... Какие такие люди, где?..

БЕЛАЯ КОШКА

Некий господин независимого положения, лет около пятидесяти шести, ощутил вдруг страстную ненависть к белой персидской кошке своей молоденькой жены.

Неприязнь к кошке была тем более непонятной и странной, что несколькими годами раньше он сам подарил ее жене после свадьбы совсем маленьким котенком. И сам же назвал кошку Мирандой, в честь своей любимой шекспировской героини.

Еще более удивительным было то, что он был человеком, не подверженным безрассудным эмоциям. Кроме, конечно, своей жены (на которой он женился поздно — его первый, ее второй брак), он никого сильно не любил и посчитал бы ниже своего достоинства ненавидеть кого бы то ни было. Кого вообще стоит воспринимать так серьезно? Будучи финансово самостоятельным джентльменом, он мог себе позволить независимость духа, незнакомую большинству мужчин.

Джулиус Мюр был хрупкого телосложения, с глубоко посаженными мрачными глазами неопределенного цвета, редеющими, седеющими волосами и с узким морщинистым лицом. К нему однажды пристало определение «выгравированный», но без вульгарного намека на лезть. Являясь представителем старой Америки, он не был шепетилен в новомодных традициях выражения своей «индивидуальности». Он знал, кто он есть, кто были его предки, и не питал к этому большо-

го интереса. Его образование как в Америке, так и за границей было скорее дилетантским, чем научным. Он не стремился извлечь из него слишком много. Жизнь, в конце концов, была главным в образовании мужчин.

Свободно владея несколькими языками, господин Мюр имел привычку произносить слова с особой тщательностью, словно переводя их на простой язык. Носил он себя с видом осторожного самосознания, которое не имело ничего общего с тщеславием или гордостью, хотя и не было обусловлено бессмысленной скромностью. Он был коллекционером (в основном редких книг и монет), но он, конечно же, не был слишком страстным коллекционером. На фанатизм некоторых своих знакомых он смотрел с изумленным презрением. Поэтому его насторожила быстро растущая ненависть к красивой белой кошке собственной жены или, может быть, поначалу даже забавляла. Или пугала? И, конечно, он не знал, как быть.

Враждебность возникла как невинное раздражение, полусознательное чувство, и, будучи столь уважаемым в обществе, столь признанным как личность достойная и значительная, он должен был сносить кошачью презрительность у себя дома. И вовсе не потому, что не знал про то, что у кошек свой особый способ выражать предпочтение, способ, лишенный чуткости и такта, что присуще человеку. По мере того как кошка выросла и становилась более избалованной и еще более привередливой, стало очевидно, что она выбрала не его. Фавориткой у нее была, конечно, Алиса, потом кое-кто из прислуги. Но нередко незнакомые ей люди, впервые навещавшие Мюров, с легкостью завоевывали, или будто бы завоевывали, капризное сердце Миранды.

— Миранда! Иди сюда! — порой подзывал ее господин Мюр, достаточно нежно и одновременно властно, обращаясь с животным с каким-то глупым уважением. Но в такие моменты Миранда чаще всего смотрела на него равнодушными неморгающими глазами, не двигаясь в его направлении.

— Что за болван, — казалось, говорила она. — Любезничает с тем, кому до него так мало дела.

Если он пытался взять ее на руки — если пытался, с игривым видом, чтобы смягчить ее нрав, — как истинная кошка, она вырывалась с такой яростью, будто ее схватил незнакомец. Однажды, высвобождаясь из его рук, она нечаянно оцарапала ему запястье. Отчего на рукаве смокинга выявилось небольшое пятнышко крови.

— Джулиус, дорогой, тебе больно? — спросила Алиса.

— Нисколько, — ответил господин Мюр, промокнув царапину носовым платком.

— Думаю, Миранда возбуждена из-за гостей, — проворковала Алиса. — Знаешь, как она чувствительна?

— Конечно, я знаю, — нежно сказал господин Мюр, подмигнув гостям. Но пульс его участился, и он готов был задушить кошку голыми руками, если бы был способен на такое.

Более неприятным было повседневное хамство кошки. Когда они с Алисой сидели по вечерам в разных углах дивана, читая, Миранда часто бесцеремонно прыгала на колени Алисы, но изошренно избегала малейшего прикосновения господина Мюра. Он изображал обиженного. Он изображал умиленного.

— Боюсь, Миранда меня больше не любит, — сообщал он печально (хотя, по правде, он не помнил, чтобы она его когда-нибудь любила. Может, котенком, когда еще ни в чем не разбиралась?).

Алиса смеялась и говорила, извиняясь:

— Конечно, она тебя любит, Джулиус. — Кошка громко и чувственно мурлыкала у нее на коленях. — Но ты же знаешь, какие они, кошки.

— В самом деле, начинаю узнавать, — соглашался господин Мюр, нехотя и скупно улыбаясь.

Действительно, он чувствовал, что начинал узнавать что-то, чему не мог дать названия.

Он не мог сказать, что впервые натолкнуло его на эту мысль — простая фантазия — убить Миранду.

Однажды, глядя, как она трется о ноги знакомого его жены, созерцая, как охотно она демонстрирует себя перед небольшой восхищенной группой гостей (даже люди, явно не любившие кошек, не могли не восхищаться Мирандой), господин Мюр задумался над тем, что, поскольку он принес эту кошку в дом по своей воле и заплатил за нее приличную сумму, она принадлежала ему, и он волен поступать с ней, как захочет. Верно, что чистокровная персидская кошка была одним из дорогих украшений дома — дома, в котором предметы приобретались не случайно или задешево — и верно, что Алиса боготворила ее. Но в то же время кошка принадлежала господину Мюру. И он один имел право решать, жить ей или не жить, не так ли?

— Какое красивое животное! Это мальчик или девочка?

К господину Мюру обратился один из гостей (точнее, один из Алисиных гостей, поскольку, вернувшись к своей театральной карьере, она завела новый, широкий, довольно разношерстный круг знакомых), и с минуту он не знал, что ответить. Вопрос застрял в нем, будто головоломка: «Это мальчик или девочка?»

— Конечно, девочка, — помолчав, ответил господин Мюр приятным голосом. — Ее зовут Миранда.

Он размышлял: «Стоит ли дожидаться, пока Алиса начнет репетировать свою новую пьесу, или следует действовать быстро, пока не угасла его решимость (Алиса, не гениальная, но пользующаяся неплохой репутацией актриса, должна была репетировать во втором составе главную роль в сентябрьской премьере, приуроченной к открытию сезона на Бродвее). И как это сделать?» Задушить кошку он не мог — не мог заставить себя действовать с такой прямой и неприкрытой жестокостью. Задавить ее, как бы нечаянно, автомобилем (хотя это было бы замечательно, в самом деле) он тоже не может. Однажды вечером в середине лета, когда лицемерная шелковая Миранда возлежала на коленях Олбана, нового приятеля Алисы (актер, писатель, режиссер — его таланты, вероятно, были

нескончаемы), разговор зашел о нашумевших убийствах — отравлениях, и тут господин Мюр просто подумал, что, конечно, отрава.

На следующее утро он посетил сторожку садовника и отыскал там десятифунтовый мешок с остатками гранулированного белого яда от «грызунов». Прошлой осенью у них были серьезные проблемы с мышами, и садовник расставил отравленные ловушки на чердаке и в подвале дома. (Результаты отличные, удивлялся господин Мюр. Как бы там ни было, но мыши исчезли). Самым осторожным было то, что яд вызывал у жертвы сильную жажду, поэтому, наевшись отравы, животные вынуждены были искать воду, покидая дом и умирая в другом месте. Был ли яд шадящим средством, господин Мюр не знал.

Он мог воспользоваться воскресным вечером, когда в доме не было прислуги, да и Алиса проводила несколько дней в городе, хотя репетиции пьесы пока не начались. Поэтому господин Мюр сам накормил Миранду в углу кухни, где она традиционно ела, щедро добавив в корм целую чайную ложку яда. (До чего же это существо было испорчено! С самых первых дней, когда ей было всего семь недель, Миранду кормили особым высокопротеиновым, высоковитаминизированным кормом для кошек, сдобренным свежей рубленой печенкой, куриными потрохами и Бог знает чем еще. Но нужно с сожалением признать, что господин Мюр тоже приложил руку к ее развращению.)

Миранда ела со своей обычной жеманной жадностью, ничего не замечая и не обращая ни малейшего внимания на присутствие хозяина. Он мог быть одним из слуг, он вообще мог быть никем. Если она и почувствовала что-то необычное — например, была убрана ее мисочка с водой, — то, как истинная аристократка, она не подавала никакого вида. Знал ли он когда-либо другое столь же уравновешенное существо, как эта белая кошка?

Нельзя сказать, что господин Мюр наблюдал, как Миранда методично травила себя, с чувством умиле-

ния, или даже с чувством удовлетворения за исправление неправильного, или наслаждался торжеством справедливости (как бы сомнительно оно ни было). Скорее всего, он глубоко сожалел.

В том, что испорченное существо заслуживало смерти, он не сомневался потому, что в конечном итоге, сколько бесчисленных жестокостей совершит кошка за всю свою жизнь в отношении птичек, мышек и кроликов? Но его поразило, как нечто меланхолическое, то, что он, Джулиус Мюр, который так дорого за нее заплатил и, по существу, гордился ею, вынужден исполнять роль палача. Разумеется, сделать это было необходимо. И хотя он, возможно, сейчас уже позабыл, *зачем* это нужно было сделать, но был твердо уверен, что он и только он был предназначен для исполнения приговора.

Однажды вечером, когда приглашенные к обеду гости сидели на террасе, Миранда выскочила белым облаком ниоткуда, пробираясь по садовой ограде, — подобный пушистому перу хвост трубой, шелковистое жабо вокруг высоко поднятой головы, золотые глаза сияют. «Словно на подиуме», — заметила Алиса.

— Это Миранда пришла поприветствовать вас! Не правда ли, она прекрасна! — радостно воскликнула жена. Казалось, она никогда не устанет восхищаться красотой своей кошки. «Невинный род нарциссизма», — подумал господин Мюр.

Послышались обычные похвалы и приветствия. Кошка стала прихорашиваться, полностью сознавая, что является центром внимания, потом прыгнула с ленивой грациозностью и исчезла, убегая вниз по крутым каменным ступеням к берегу реки. Тогда господин Мюр подумал, что наконец понял, в чем состоял феномен Миранды: она являла собой красоту, которая была одновременно и бесполезна, и необходима, красоту, которая (учитывая ее родословную) была полностью искусственной, и в то же время (принимая во внимание то, что кошка была из крови и плоти) совершенно натуральная — Природа.

Хотя была ли Природа всегда и неизменно естественной?

Теперь, когда белая кошка закончила есть (оставив, по обыкновению, четверть порции нетронутой), господин Мюр произнес вслух тоном, в котором смешались искреннее сожаление и удовлетворение:

— Но красота тебя не спасет.

Кошка секунду помедлила, а затем взглянула на него пристальными неморгающими глазами. Он ощутил внезапный ужас: неужели она знает? Она уже знает? Ему показалось, что никогда еще она не была столь прекрасна: мех такой идеально-белый и шелковистый, жабо пушистое, словно недавно расчесанное, наглая плоская мордочка, широкие упругие усы, ушки идеальной формы так умно торчат. И, конечно, глаза...

Его всегда восхищали глаза Миранды, рыжевато-золотого оттенка, временами они способны были вспыхивать, словно нарочно. По ночам, отражая лунный свет или свет от фар машины Мюра, они светились, как маленькие фонарики.

— Как ты думаешь, это Миранда? — спрашивала его Алиса, увидев двойную вспышку в высокой придорожной траве.

— Возможно, — отвечал господин Мюр.

— Ах, она нас ждет! Как это мило! Она ждет, когда мы вернемся домой! — восклицала Алиса с детской непосредственностью.

Господин Мюр сильно сомневался, что кошка вообще знала об их отсутствии, не говоря уж о том, чтобы ждать их возвращения, поэтому он ничего не ответил.

Другой особенностью кошачих глаз, которая всегда казалась господину Мюру неким извращением, было то, что в то время как у человека глазное яблоко белого цвета, а сетчатка окрашена, у кошек глазное яблоко окрашено, а зрачок совершенно черный. Все глазное яблоко зеленое, желтое, серое, даже голубое! А зрачок так магически реагирует на интенсивность освещения или возбуждение, что может сокращаться до толщины лезвия бритвы или увеличиваться до размеров всего

глаза.... Теперь, когда она смотрела на него, ее зрачки были увеличены и цвет глаз почти исчез.

— Нет, красота тебя не спасет. Довольно, — тихо произнес господин Мюр.

Дрожащей рукой он открыл дверь, выпуская кошку в ночь. Проходя мимо — избалованное животное, в самом деле, — она слегка потерлась о его ноги, чего не делала уже многие месяцы. Или это были годы?

Алиса была на двенадцать лет моложе господина Мюра и выглядела очень юной: маленькая женщина с очень большими, совершенно прелестными карими глазами, со светлыми волосами до плеч и восторженной, порой даже несколько неистовой манерой держаться хорошо тренированной инжению. Она была средней актрисой, со средними амбициями, как она сама признавалась. Серьезная профессиональная игра — тяжелая жестокая работа. И редко кому-то удается пережить конкуренцию.

— И потом, Джулиус так обо мне заботится, — говорила она, беря его под руку, или склоняя на миг свою головку ему на плечо. — У меня есть все, что мне нужно, честное слово, прямо здесь... — Она имела в виду загородный дом, который господин Мюр купил ей, как только они поженились. (Конечно, у них была еще квартира на Манхэттене в двух часах езды к югу. Но господину Мюру город перестал нравиться, он травмировал его нервы, словно кошачьи когти, скребущие по стеклу, и его поездки туда стали редки.)

Под своей девичьей фамилией, Ворт, Алиса периодически играла на сцене в течение восьми лет, перед тем как вышла замуж за господина Мюра. Ее первое замужество в девятнадцать лет с известным (и скандальным) голливудским актером, впоследствии скончавшимся, было неудачным, и она не любила распространяться об этом. (Да и господин Мюр не пытался спрашивать про те годы. Для него они как бы не существовали.)

В тот момент, когда они познакомились, Алиса была временно свободна от своей карьеры, как она

говорила. У нее был небольшой успех на Бродвее, но она не смогла его закрепить. Да и стоило ли, на самом деле, продолжать дерзать и стараться? Сезон за сезоном скучная череда прослушиваний, соперничество с новичками, «обещающими» молодыми талантами... Ее первый брак не удался, потом было несколько увлечений различной степени и значимости (господину Мюру было неведомо, сколько на самом деле), и наконец настало время остепениться. Тогда-то и явился господин Мюр: немолодой, не очень симпатичный, но хорошо обеспеченный и ослепленный любовью. И вот, пожалуйста!

Конечно, господин Мюр был сражен ею, и у него было время и были средства ухаживать за ней более усердно, чем кто-либо из когда-либо ухаживающих за ней мужчин. Он, казалось, ценил ее качества как никто другой. Его воображение — для такого сдержанного и мягкого — было богатым, живым до лихорадочности, что чрезвычайно льстило ей. И он мило соглашался, он экстравагантно настаивал на том, что любит ее больше, чем она его, — хотя Алиса протестующе заявляла, что действительно любила его, — он все равно умолял ее согласиться выйти за него замуж.

Несколько лет они частенько говорили о создании «полноценной» семьи, но ничего из этого не вышло. Алиса была слишком занята, или не вполне здорова, или они отправлялись в путешествие, или господин Мюр начинал беспокоиться о непредвиденном влиянии ребенка на их брак. (Несомненно, у Алисы будет меньше времени для него самого.) С течением времени ему стала досаждать мысль о том, что он не оставит после себя наследника, то есть своего ребенка, но уже ничего нельзя было сделать.

Они вели активную светскую жизнь, они были замечательно занятые люди. И у них, в конце концов, была белоснежная, божественная персидская кошка.

— Миранда будет травмирована, если в доме появится ребенок, — говорила Алиса. — Мы действительно не можем с ней так поступить.

— Конечно же нет, — соглашался господин Мюр.

Но вдруг неожиданно Алиса решила вернуться на сцену. К своей «карьере», как мрачно произнесла она, словно это было нечто отдельное от нее — сила, которой невозможно было сопротивляться. И господин Мюр был очень рад за нее, просто счастлив. Он гордился профессионализмом своей жены и совершенно не ревновал к расширяющемуся кругу друзей, знакомых и приятелей. Он не ревновал ее к коллегам актерам и актрисам — Рисс, Марио, Робин, Сибил, Эмиль, ко всем по очереди, — а теперь Олбан, с влажными темными сверкающими глазами и быстрой приторной улыбкой. Он не ревновал и к тому времени, что она проводила вне дома, или даже когда дома она сидела запершись в комнате, которую они называли студией, глубоко увлеченная работой. В зрелом возрасте у Алисы появилась здоровая добросердечность, которая позволяла ей оставаться на сцене, даже если ей доставались роли, неизбежные для более пожилых актрис, независимо от их внешних данных. К тому же она стала играть намного лучше и тоньше, это признавали все.

Действительно, господин Мюр гордился ею и был рад за нее. И если время от времени он чувствовал слабую обиду или если не совсем обиду, то намек на сожаление по поводу того, что их *жизнь* превратилась в *жизни* — то он был истинным джентльменом, чтобы не показать это.

— Где Миранда? Ты видел сегодня Миранду?

Была вторая половина дня, четыре часа, почти сумерки, а Миранда не вернулась. Большую часть дня Алиса занималась разговорами по телефону. Он, казалось, звонил не переставая, и она не сразу заметила долгое отсутствие кошки. Она вышла поискать, послала на поиск слуг. И господин Мюр, разумеется, предложил свою помощь. Он бродил по окрестностям и даже по лесу, сложив руки рупором, звал ее высоким нетвердым голосом.

— Кис-кис-кис! Кис-кис-кис! Кис-кис-кис!
Как патетично, как бесполезно!

И все же необходимо было так *делать*, поскольку именно это, при любых обстоятельствах, следовало *делать*.

Джулиус Мюр, этот самый заботливый из мужей, бродит по кустам в поисках персидской кошки своей жены...

— Бедная Алиса! — шептал он про себя. — Она будет страдать многие дни, а может, и недели?

И он тоже будет скучать о Миранде, правда, как о домочадце менее всего, хотя этой осенью исполняется десять лет с тех пор, как она появилась в их доме.

Обед в тот день был скорее печальный, чем тяжелый. Не просто потому, что отсутствовала Миранда (Алиса была чрезвычайно, искренне обеспокоена), а потому, что господа Мюры обедали в одиночестве: стол, накрытый на двоих, казался почти неправильным эстетически. И такая неестественная тишина... Господин Мюр пытался вести беседу, но его голос постепенно перешел в виноватое молчание.

Посреди обеда Алиса встала: зазвонил телефон (с Манхэттена, конечно, — ее агент, или продюсер, или Олбан, или подруга — срочный звонок, поскольку госпожа Мюр не отвечала на звонки в столь интимный час), и господин Мюр, удрученный и обиженный, закончил трапезу в одиночестве, в каком-то трансе и без всякого аппетита. Он вспомнил предыдущий вечер — пикантно пахнувший кошачий корм, зернистый белый яд, как строптивое животное взглянуло на него и как потом она потерялась о его ноги с запоздалой... была ли это признательность или насмешка? Упрек? В голове мелькнула слабая вина, а все нутро наполнилось гораздо более сильным удовлетворением. Потом, подняв глаза, он заметил что-то белое, пробирающееся по садовой ограде...

Конечно, это была Миранда на пути домой.

Он испуганно уставился в окно, онемев и ожидая, когда привидение исчезнет.

Медленно, как во сне, он встал. Алиса была в соседней комнате. Голосом, который должен был звучать радостно, он сообщил новость:

— Миранда пришла домой! — Прислушавшись, он крикнул еще раз: — Алиса! Дорогая! Миранда вернулась домой!

Да, это была действительно Миранда. Конечно, это была Миранда, она внимательно смотрела в столовую с террасы, ее глаза светились золотом. Господин Мюр дрожал, но его мозг стремительно сознавал факт и конструировал логическое объяснение. «Ее стошнило, несомненно. Ах, несомненно! Или, после холодной сырой зимы, хранившийся в сторожке садовника яд потерял свою эффективность».

Ему следовало встряхнуться, поспешить открыть дверь и впустить белую кошку, но он продолжал возбужденно шептать:

— Алиса! Добрые вести! Миранда вернулась домой!

Радость Алисы была столь велика, его собственное первичное облегчение было так искренно, что господин Мюр, поглаживая роскошное перо Мирандиного хвоста, когда Алиса в экстазе обнимала ее, подумал, что был жесток и эгоистичен, что это было ему не свойственно и что Миранде, избежавшей смерти от руки хозяина, должна быть дарована жизнь. Он не повторит этого вновь.

Перед женитьбой в сорок шесть лет Джулиус Мюр, подобно большинству холостяков и женщин определенного темперамента — интровертных и самосознательных, скорее наблюдателей жизни, чем ее участников, — верил, что семейная жизнь была безусловно семейной. Он думал, что муж и жена были единая плоть не только в метафорическом смысле этого слова. Однако случилось так, что его собственная семейная жизнь оказалась миражом, вдобавок не лучшего сорта. Семейные отношения просто сгнули, и было маловероятно, что они восстановятся. Ему скоро исполняется пятьдесят семь лет (и иногда он размышлял: много ли это на самом деле?).

Во время первых двух-трех лет супружества (когда театральная карьера Алисы была, по ее словам, в затмении) у них была общая кровать, как у всех супру-

жеских пар, или предположительно, как у всех, думал господин Мюр, поскольку его женитьба не прояснила ему, что значит «супружество» в полном смысле слова. По прошествии некоторого времени Алиса начала тактично жаловаться на то, что не может спать из-за ночных «беспокойств» господина Мюра. По ночам он ворочался, брыкался, метался, громко говорил во сне и порой даже ужасно кричал. Когда она его будила, он едва мог вспомнить, где был. Он старательно и виновато извинялся, уползая до конца ночи в другую кровать. Страдавший от своего поведения, господин Мюр полностью сочувствовал Алисе. У него были все основания верить, что бедная женщина (чьи нервы были чрезвычайно чувствительны), ничего ему не говоря, страдала от бессонницы из-за него. Такая деликатность была ей свойственна. Она избегала ранить чужие чувства.

В итоге нашелся удобный вариант, когда господин Мюр в начале ночи проводил полчаса около Алисы, а потом, стараясь не потревожить ее, тихонько на цыпочках уходил в другую спальню, чтобы спокойно выспаться. (Если, конечно, его обычные кошмары позволяют ему спокойно спать. Он думал, что самыми худшими были те, от которых он не просыпался.)

В последние годы появилась новая традиция, когда Алиса ложилась в постель читая, или смотря телевизор, или время от времени болтая по телефону. Поэтому господин Мюр посчитал наиболее разумным для себя просто целовать ее на ночь и, не ложась рядом, удаляться в свою спальню. Иногда во сне ему казалось, что Алиса зовет его. Проснувшись, он спешил в темный коридор и стоял под ее дверью, нетерпеливый и надеющийся. В такие моменты он не осмеливался поднять голос выше шепота:

— Алиса? Алиса, дорогая? Ты звала меня?

Таковыми же непредсказуемыми и капризными, как кошмары господина Мюра, были ночные причуды Миранды. Временами она, уютно свернувшись в ногах Алисы, спокойно спала всю ночь; но порой вдруг требовала, чтобы ее выпустили на улицу, хотя Алиса

любила, когда она спала в постели. В этом был некий детский комфорт, признавалась Алиса, зная, что белая персидская кошка была всю ночь рядом, и чувствовать в ногах ее теплое увесистое тело поверх атласного покрывала.

Но, конечно, Алиса понимала, кошку нельзя заставлять что-то делать помимо ее воли.

— Похоже, что таков закон природы, — заявила она важно.

Спустя несколько дней после безуспешного отравления господин Мюр возвращался в сумерках домой на машине. Вдруг в миле от дома он заметил на дороге белую кошку, неподвижно сидящую на встречной полосе, словно окованную от света фар. Непрошено в голову пришла мысль: «Всего лишь попугаю ее». И он повернул руль, направляясь в сторону кошки. Золотые глаза вспыхнули в откровенном удивлении, или, может, это был ужас, или она узнала его... Просто потерял управление, подумал господин Мюр, нажимая на скорость, и поехал прямо на белую персидскую кошку, ударив ее передним левым колесом как раз в тот момент, когда она собиралась прыгнуть в кювет. Понесся удар и крик кошки, невозможный крик — дело сделано.

«Боже мой! Дело сделано!»

С пересохшим горлом, дрожа всем телом, господин Мюр увидел в боковое зеркало раздавленную белую массу на дороге, увидел пятно алой жидкости, расцветающее вокруг нее. Он не хотел убивать Миранду и все же сделал это, без предварительной подготовки и поэтому неумышленно.

«Теперь дело сделано».

— И никакое сожаление ничего не изменит, — произнес он медленно и задумчиво.

Господин Мюр съездил в деревню в аптеку с рецептом Алисы. Она была в городе по театральным делам, вернулась поздно в переполненной электричке и сразу слегла с чем-то похожим на мигрень. Теперь он чувствовал себя лицемером, грубияном, дающим жене

таблетки от головной боли, зная, что, если она бы узнала о его поступке, ее мигрень удесятирилась бы. И все же как можно объяснить, что на этот раз он не собирался убивать Миранду, просто колесо его машины само поступило как ему хочется, выйдя из повиновения? Именно так господин Мюр — спеша домой, все еще дрожащий и возбужденный, словно сам едва избежал смерти, — запомнит этот случай.

Он помнил также дикий крик кошки, прерванный почти сразу после удара, скорее не совсем сразу.

Не осталось ли вмятины на крыле красивого, сделанного в Англии автомобиля? Нет, не осталось.

Не было ли крови на передней покрывке? Нет, не было.

Были ли какие-то малейшие приметы несчастного случая? Никаких примет

— *Никаких* доказательств! Совершенно никаких доказательств! — весело сообщил себе господин Мюр, шагая через ступеньки в комнату Алисы. Он поднял руку, чтобы постучать в ее дверь, и с облегчением подумал, что ей должно быть гораздо лучше. Она разговаривала по телефону, непринужденно ведя беседу, даже смеялась, своим легким серебристым смехом, который напоминал ему не что иное, как шум ветерка в теплую летнюю ночь. Сердце его таяло от любви и нежности.

— Дорогая Алиса, отныне мы будем так счастливы!

Это случилось. Невозможно, но ближе к ночи белая кошка появилась снова. Она не погибла.

Господин Мюр, наслаждаясь поздним бренди в спальне Алисы, увидел Миранду первым. Она залезла на крышу по розовым шпалерам, как часто делала, и теперь ее плоская мордочка появилась в одном из окон. Какое отвратительное повторение эпизода, имевшего место несколько дней тому назад. Господин Мюр был в шоке — парализованный и остекленевший. Алиса же выпрыгнула из постели, чтобы впустить кошку.

— Миранда! Что за шутки! Что ты придумала!

Отсутствие кошки не было настораживающе долгим, но Алиса приветствовала ее с таким восторгом, будто давно не видела.

А господин Мюр с бьющимся сердцем и душою, изнывающей от отвращения, должен был решить и эту шараду. Он надеялся, что Алиса не заметит безумного ужаса, который, несомненно, горел в его глазах.

Наверное, он сбил другую кошку, не Миранду... Определенно, это была не Миранда. Другая белая персидская кошка с золотыми глазами, не его.

Алиса сюсюкала с кошкой, гладила ее и уговаривала остаться на ночь в постели, но через несколько минут Миранда спрыгнула на пол и поскреблась в дверь, чтобы ее выпустили. Ей нужен был ужин, она проголодалась, а нежностями хозяйки она была уже сыта. Она даже не потрудилась обернуться в сторону своего хозяина, который глядел на нее, побледнев. Теперь он знал, что должен ее убить — если только ему это удастся.

После этого случая кошка предусмотрительно избегала господина Мюра, и не из ленивого безразличия, а почуяв изменение в их отношениях. Она не знала, что ее хотели убить, он это прекрасно понимал, но она могла почувствовать это. Может, она пряталась в кустах и видела, как он направил машину на ее двойника и как раздавил его...

Скорее всего, это не так, рассуждал господин Мюр. Нет, действительно, это было маловероятно. Но как тогда объяснить поведение животного в его присутствии — ее демонстрацию или симуляцию животного страха? Она прыгала на шкаф, словно пытаясь убраться с его пути, когда он входил в комнату. Она вскакивала на камин, роняя, возможно нарочно, одну из его резных нефритовых статуэток в огонь, где та рассыпалась на мелкие кусочки. Сломая голову проносила в дверь, царапая острыми когтями паркет. Когда случайно он приближался к ней на улице, она стремглав взбиралась на розовые шпалеры, на вино-

градную лозу или на дерево или же, как бешеная, уносилась в кусты. Алиса всегда удивлялась, ибо поведение кошки было бессмысленным.

— Думаешь, Миранда больна? — спрашивала она. — Может показать ее ветеринару?

Господин Мюр сильно сомневался, что они смогут поймать ее для этой цели, по крайней мере не верил, что *он* сможет.

Ему хотелось признаться Алисе в своем преступлении, или в попытке преступления. Он убил ненавистное животное, но кошка не умерла.

Однажды ночью, в самом конце августа, господин Мюр видел во сне светящиеся бестелесные глаза. В середине их были черные-черные зрачки, как старомодные замочные скважины: шели, ведущие в *пустоту*. Он не мог пошевелиться, чтобы защитить себя. Ему на грудь опустилось нечто теплое и пушистое... прямо на голову. К губам прильнула усатая белая кошачья морда в дьявольском поцелуе, и в мгновение из него было высосано все дыхание...

— О, нет! Спасите! Боже милостивый!

Влажная морда на губах, сосущая его жизненную силу, а он неподвижен и не может отшвырнуть ее, руки прилипли к телу, которое полностью парализовано...

— Спасите... спасите!

Крик и паническое метание в постели разбудили его. Он сразу понял, что это был сон, но долго продолжал быстро и тяжело дышать. Сердце билось так неистово, что он боялся умереть: разве на прошлой неделе ему не говорили мрачно об угрозе сердечного заболевания, о возможной остановке сердца? И почему-то тогда все было странно: кровяное давление поднялось как никогда прежде...

Господин Мюр выбрался из влажных смятых простыней и трясущимися пальцами зажег лампу. Слава Богу, он был один, и Алиса не видела его нервного приступа!

— Миранда? — прошептал он. — Ты здесь?

Он включил верхний свет. Спальня наполнилась тенями и на мгновение показалась незнакомой.

— Миранда?..

Гадкая, противная тварь! Мерзопакостная скотина! Представить только, кошачья морда прикасалась к его губам — морда животного, которое убивало мышей, крыс, всяких отвратительных существ в лесу!

Господин Мюр пошел в ванную и прополоскал рот. Сам себе он спокойно сказал, что сон был всего лишь сном, а кошка только фантазией и что, конечно, Миранды в его комнате не было.

И все же он чувствовал на своей груди ее теплое, пушистое, полнеющее тепло. Она пыталась высосать его дыхание, задушить его, остановить его несчастное сердце. Это было в ее силах...

— Всего лишь сон, — громко вслух сказал господин Мюр, криво улыбаясь себе в зеркале. (О! Подумать только, этот бледный измученный призрак был он...) Господин Мюр старательно повысил голос.

— Глупый сон. Детский сон. Женский сон.

Вернувшись в комнату, он почувствовал, что под его кроватью спряталась неясная белая форма. Но когда он опустился на четвереньки, заглянул под кровать, то, конечно, никого там не увидел.

Однако он нашел на пушистом ковре несколько кошачьих волос. Белые, довольно жесткие — вполне возможно Мирандины. О, совершенно ясно...

— Вот доказательство, — истерично пробормотал он. Возле двери на ковре он отыскал еще и возле кровати еще больше, словно животное лежало там и даже поерзало на спине (как любила делать Миранда на солнышке на террасе, вытянув свои грациозные лапы и застывая в позе полного самодовольного забвения). В такие минуты господин Мюр всегда поражался ее изумительной красоте: наслаждение плоти, которое он не мог себе представить. Даже еще до того, как испортились их отношения, наблюдая эту картину, ему хотелось подбежать к кошке и каблуком ударить ее в нежный розовый живот...

— Миранда, ты где..? Ты все еще здесь? — спросил господин Мюр. Он задыхался от возбуждения. Он присел на корточки на несколько минут, а когда попытался выпрямиться, его ноги заболели.

Господин Мюр обыскал комнату, но было ясно, что кошка убежала. Он вышел на балкон, перегнулся через перила, взгляделся в лунную темноту, но ничего не увидел — в страхе он забыл надеть очки. Несколько минут он вдыхал влажный, тихий ночной воздух, чтобы успокоиться, но вскоре ему показалось, что что-то было не так. Какой-то слабый тихий шум, или это был голос? Голоса?

Потом он увидел это: призрачная белая тень внизу в кустах. Господин Мюр заморгал, стараясь рассмотреть нечто, но зрение его подвело.

— Миранда?..

Над ним послышалось шуршание, он повернулся и на покатой крыше увидел одну тень, быстро пробиравшуюся по самому верху. Он замер, то ли от ужаса, то ли из осторожности — он не знал. То, что кошек могло быть несколько, более одной белой персидской кошки, фактически больше одной Миранды — эту возможность он выпустил из виду!

— Это, вероятно, все объясняет, — заметил он. Разумеется, господин Мюр был сильно напуган, но его мозг работал четко, как всегда.

Было не очень поздно, едва ли час ночи. Тихий шум, что слышал господин Мюр, был голос Алисы, прерываемый время от времени легким серебристым смехом. Она разговаривала по телефону. Создавалось впечатление, что в спальне она была не одна, но, конечно, это просто поздний звонок, возможно Олбан. Они дружески болтали, с невинным злорадством перебирая своих коллег-актеров и актрис, общих друзей и знакомых. Балкон Алисы открывался на ту же сторону, что у господина Мюра, оттуда и слышался ее голос (или голоса? Господин Мюр удивленно прислушался) довольно ясно. В комнате было темно, она, должно быть, разговаривала, не включив света.

Господин Мюр обождал еще несколько минут, но белая тень внизу исчезла. Покатая черепичная крыша тоже опустела, отражая лунный свет тусклыми бликами. Он был один. Решив вернуться в кровать, он еще раз проверил, что он действительно один. Потом запер все окна, дверь и, оставив включенным свет, заснул так крепко, что утром его разбудила Алиса стуком в дверь.

— Джулиус? Джулиус? Что случилось, дорогой? — кричала она. Он с удивлением заметил, что уже почти полдень и он проспал четыре лишние часа.

Алиса торопилась с ним попрощаться: подъехал лимузин, чтобы увезти ее в город. Она уезжала на несколько дней. Она беспокоилась о нем, о его здоровье и надеялась, что ничего страшного не случилось...

— Конечно, ничего страшного, — раздраженно буркнул господин Мюр. Проспав так долго, он ощущал себя вялым и смущенным. Сон несколько его не освежил. Когда Алиса поцеловала его на прощание, он, всем существом страдая от поцелуя, не ответил на него, а когда жена ушла, ему стоило больших усилий не вытереть рот рукавом.

— Господи, спаси нас, — проговорил он.

Постепенно, как следствие его воспаленного ума, господин Мюр потерял интерес к коллекционированию. Когда букинист предложил ему редкое антикварное издание Шекспира, он испытал лишь слабый восторг и позволил соперничавшему коллекционеру перехватить у него это сокровище. Всего несколько дней спустя ему предложили купить готическое издание «Истории Флоренции» Макиавелли, но он отреагировал с еще меньшим энтузиазмом.

— Что-то случилось, господин Мюр? — поинтересовался посредник (они сотрудничали уже четверть века).

Господин Мюр в ответ иронически спросил его:

— Что-то случилось? — И повесил трубку телефона. Он никогда больше не заговорит с этим человеком.

Еще больше господин Мюр охладел к вопросам своего бизнеса. Он не отвечал на звонки разных господ с Уолл-стрит, которые вели его финансовые дела. Ему было вполне достаточно того, что деньги были там и всегда будут там. Любые подробности его же проблем казались ему утомительными и вульгарными.

В третью неделю сентября пьеса, в которой Алиса выступала как дублерша, была представлена на суд знатных зрителей, что означало долгий и шумный успех. Хотя примадонна прекрасно себя чувствовала и не собиралась пропускать спектакль, Алиса предпочитала оставаться в городе на длительное время, иногда даже на целую неделю. (Что она там делала, чем занималась каждый день и каждый вечер, господин Мюр не знал и был слишком горд, чтобы спрашивать.) Когда жена пригласила его на выходные (почему бы ему не навестить некоторых своих антикваров, ведь обычно это доставляло ему большое удовольствие?), господин Мюр ответил просто:

— Но зачем? Все, что мне нужно для счастья, я имею здесь, в деревне.

После ночи, когда произошла попытка удушения, господин Мюр и Миранда стали еще более внимательны друг к другу. Белая кошка уже не убегала в его присутствии. Наоборот, как бы в насмешку, когда он входил в комнату, она не двигалась с места. Если он все-таки приближался, она убегала от него в самый последний момент, часто распластавшись по полу и ускользая подобно змее. Он ругался на нее, а она скалила зубы и шипела. Он смеялся, показывая, как мало это на него действовало. Она прыгала на шкаф и становилась недосягаема. Там кошка и засыпала. Каждый вечер в одно и то же время звонила Алиса, всякий раз справляясь о Миранде, а господин Мюр отвечал:

— Прекрасна и здорова, как всегда! Жаль, что не можешь ее видеть.

Со временем Миранда стала более наглой и безрассудной, недооценивая, возможно, быстроту реакции своего хозяина. Она иногда вертелась у него под ногами, или натыкалась на него на лестнице, или перебега-

ла ему дорогу, когда от выходил из дома. Она порой осмеливалась подойти к нему близко, когда у него в руках было потенциальное оружие — нож, кочерга, тяжелая книга в кожаном переплете. Раз или два она даже прыгала ему на колени, когда он в одиночестве мечтал за обедом, или, забравшись на стол, бегала по нему, переворачивая бокалы и тарелки.

— Дьявол, — кричал он, грозя ей кулаком. — Чего тебе от меня нужно!

Интересно, что за истории рассказывали про него слуги, перешептываясь за его спиной, и не доносилось ли что-нибудь Алисе в городе.

Однажды, однако, Миранда совершила тактическую ошибку. И господин Мюр поймал ее. Она прокрадлась в его кабинет, где у настольной лампы он изучал свои самые редкие и ценные монеты (месопотамские и этрусские), рассчитывая, в случае опасности, убежать в дверь. Но господин Мюр, вскочив со стула с чрезвычайным, почти цирковым проворством, сумел захлопнуть дверь. О, какая возможность! Какой поединок! Какое бешеное веселье! Господин Мюр поймал животное, потом упустил, потом снова поймал и опять упустил. Кошка сильно оцарапала ему руки и лицо. Наконец он снова смог поймать ее, прижал к стене и, сомкнув пальцы на ее горле, давил и давил. Он вцепился в кошку, и никакая сила на свете не могла отнять ее у него! Пока кошка кричала, царапалась, извивалась, рвалась и, казалось, уже задыхалась, господин Мюр, с глазами выпученными и сумасшедшими, как у нее самой, продолжал трясти беднягу. Вены на его лбу сильно набухли.

— Ага! Я тебя поймал! Ага! — вопил он, и в тот момент, когда наконец-то белая кошка была на краю гибели, дверь кабинета открылась и появился удивленный и бледный слуга.

— Господин Мюр? Что случилось? Мы слышали такой... — Болван все испортил, Миранда ускользнула от господина Мюра, выскочив из комнаты.

На следующей неделе, совершенно внезапно, Алиса вернулась домой.

Она оставила сцену, она бросила «профессиональную» сцену, она даже не хотела, как яростно сообщила своему мужу, бывать в Нью-Йорке. Очень долго.

К своему изумлению, он заметил, что она плакала. Глаза ее неестественно горели и были меньше, чем он помнил. Красота увяла. Было впечатление, что изнутри проглядывало другое лицо — более жесткое, меньших размеров. Бедная Алиса! Она так надеялась! Когда господин Мюр хотел ее обнять, она отстранилась, ее ноздри раздулись, будто его запах был ей оскорбителен.

— Пожалуйста, — произнесла она, не глядя ему в глаза. — Я нехорошо себя чувствую. Больше всего мне хочется побыть одной... просто побыть одной.

Она удалилась к себе, в постель, и несколько дней не выходила, впуская лишь одну служанку и, конечно, свою любимую Миранду, когда та снисходила до посещения дома (к своему облегчению, господин Мюр заметил, что белая кошка, видимо, забыла их недавнее сражение. Его исполосованные лицо и руки заживали медленно, но, погруженная в свои раздумья и печаль, Алиса так ничего и не заметила).

У себя в комнате за закрытой дверью Алиса несколько раз звонила в Нью-Йорк Сити. Казалось, она часто плакала в трубку. Но, насколько определил господин Мюр, вынужденный из-за ее странного поведения подслушивать по другому аппарату, она ни разу не разговаривала с Олбаном.

Что это значило?.. Он должен был признать, что не знал ответа и не мог спросить. Ибо это выдало бы то, что он подслушивал, и она была бы глубоко шокирована.

Господин Мюр посылал ей в спальню маленькие букеты весенних цветов, покупал шоколад и конфеты, тонкие томики стихов, новый бриллиантовый браслет. Несколько раз он стоял под ее дверью, как нетерпеливый поклонник, но она говорила, что еще не готова видеть его, *пока*. И голос ее при этом был резкий с металлическими нотками, которых господин Мюр раньше не слышал.

— Ты меня любишь, Алиса? — неожиданно воскликнул он.

Короткая неловкая пауза. Потом:

— Конечно, я люблю тебя. Но, пожалуйста, оставь меня.

Господин Мюр был так взволнован, так тревожился за здоровье Алисы, что не мог спать больше одного-двух часов кряду, и эти часы были наполнены ужасными снами. Белая кошка! Отвратительная мягкая тяжесть! Шерсть во рту! Однако, проснувшись, он думал только об Алисе и о том, как, вернувшись домой, она фактически вернулась *не к нему*.

Он одиноко лежал в холостяцкой постели на скомканных простынях, хрипло рыдая. Однажды утром он дотронулся до подбородка и почувствовал небритую щетину: он забывал бриться несколько дней.

Со своего балкона он видел белую кошку, пробирающуюся по забору. Но теперь это существо было гораздо больших размеров, чем он помнил. Она полностью оправилась после его нападения. (Если она от него пострадала. Если вообще кошка на заборе была той, что забралась к нему в кабинет.) Ее белая шерсть очень ярко блестела на солнце, глубоко посаженные глаза светились, как миниатюрные золотые угольки. Господин Мюр ощутил легкий шок, увидев ее: какое прекрасное создание!

Хотя в следующий момент он, конечно, понял, что она такое.

Однажды ветреным дождливым вечером в конце ноября господин Мюр вел машину по узкой дороге вдоль реки. Алиса молча сидела рядом и упрямо молчала. На ней было черное кашемировое пальто и шляпа из мягкого черного фетра, которая кокетливо сидела на ее голове, закрывая большую часть волос. Эти предметы ее туалета господин Мюр раньше не видел. Своим аскетичным видом она как бы подчеркивала растущую между ними дистанцию. Когда он помогал ей сесть в машину, она прошептала: «Спасибо» — тоном, который говорил: «О, смеешь ли ты прика-

саться ко мне?» И господин Мюр сделал шутиливый поклон, стоя с непокрытой головой под дождем.

«Я любил тебя так сильно».

Теперь она молчала. Сидела, отвернув от него свой дивный профиль, словно восхищенная проливным дождем. Внизу бурлила и шумела река, порывы ветра хлестали его английскую машину. Господин Мюр с силой выжал газ.

— Так будет лучше, моя дорогая жена, — тихо сказал он. — Даже если ты не любишь никого другого, совершенно ясно, что ты не любишь меня.

При этих торжественных словах Алиса виновато вздрогнула, но все же лица не повернула.

— Моя дорогая! Ты понимаешь? Так будет лучше, не пугайся.

Когда господин Мюр прибавил скорость, когда машина яростно вонзилась в ветер, Алиса зажала руками рот, словно останавливая вопль протеста. Она была прикована к сиденью, так же как и господин Мюр, который застывшим взором уставился на летевшую мимо обочину.

Только когда господин Мюр резко развернул передние колеса в сторону парапета и нажал на тормоз, она издала несколько беззвучных коротких криков, откинувшись на спинку сиденья, но не попыталась схватить его за руку или за руль. А через мгновение все кончилось. Машина перелетела через парпет, перевернулась в воздухе, упала на скалистый откос и, загоревшись, покатила кувирком...

Он сидел в кресле с колесами, в кресле-каталке! Оно казалось ему замечательной вещью, и он размышлял, чье это было изобретение.

Теперь, из-за полной парализации, он был совершенно не способен передвигаться самостоятельно, даже в кресле.

А будучи слепым, он и не хотел этого! Ему вполне нравилось быть там, где он есть, только не на сквозняке. (Незримая комната, в которой он сейчас обитал, была уютно-теплая — его жена позаботилась, — но

оставались непредсказуемые потоки холодного воздуха, обдувавшие его время от времени. Температура его тела, боялся он, не сможет противостоять любому сильному порыву.

Он забыл названия многих вещей, но не грустил по этому поводу. На самом деле отсутствие воспоминаний освобождало от желания всего того, что призрачно и вечно недостижимо. И слепота только усиливала это ощущение покоя. Чему он был благодарен! Весьма благодарен!

Слепой, хотя и не совсем: он мог видеть (конечно, не мог не видеть) белые пятна, различные оттенки белого, восхитительные видения белого, как ручейки в потоке, постоянно возникающие и ниспадающие вокруг его головы, неразличимые по форме, или контуру, или вульгарному напоминанию о предмете в пространстве...

У него было, очевидно, несколько операций. Сколько, он не знал, да и не хотел знать. В последние недели с ним часто говорили о возможности еще одной операции, на мозге. Целью операции (гипотетически), если он правильно понял, было восстановление способности двигать несколькими пальцами левой ноги. Если бы он мог смеяться, то рассмеялся бы, но, скорее всего, предпочтительно было его гордое молчание.

Сладкий голос Алисы присоединился к оптимистичному хору других голосов. Но, насколько он понимал, операцию так никогда и не сделали. А если даже и было что-то, то явно безуспешное. Пальцы его левой ноги были так же далеки и потеряны для него, как все остальные части его тела.

— Как тебе повезло, Джулиус, что мимо проезжала другая машина! Ты мог бы умереть!

Предположительно, Джулиус Мюр ехал один в жуткую бурю по узкой дороге вдоль реки, по высокому берегу. Несвойственно для него — он ехал с большой скоростью, потерял управление, врезался в парапет сбоку, «как по волшебству», был выброшен из горящей машины. Две трети его тонких костей было сломано,

череп сильно раздроблен, позвоночник раздавлен, легкое порвано... Так что история о том, как Джулиус очутился в этом кресле, в его окончательном месте отдыха, в этом молочно-белом мире, прояснялась для него урывками, разбитыми и разбросанными, как осколки разлетевшегося ветрового стекла.

Поговаривали (иногда недалеко от него), что со временем зрение частично восстановится. Но Джулиуса Мюра и это мало интересовало. Он жил ради дней, когда, очнувшись от дремоты, он начинал ощущать некую теплую пушистую тяжесть, опускавшуюся ему на колени.

— Джулиус, дорогой, кое-кто очень особенный пришел навестить тебя!

Мягкая и в то же время удивительно тяжеленькая, горячая, но не очень, поначалу немного беспокойная (поскольку кошки должны сперва повозиться, устраиваясь как можно удобнее, перед тем как лечь), но через несколько минут совершенно замечательно расслабившаяся, дружелюбно мурлыкая, нежно уминая коготками его ноги, засыпающая.

Ему бы хотелось увидеть, помимо сияющей водянистой белизны его видений, ее *особенную* белизну. Конечно, ему хотелось бы еще раз восхититься очаровательной мягкостью и шелковистостью меха. Но он мог слышать грудное мелодичное мурлыканье, мог ощущать в некоторой степени ее теплый пульсирующий вес. И бесконечная благодарность за чудо ее загадочной живучести — разве можно их сравнивать — заполняет его душу.

«Моя любовь!»

ЧАСТЬ II

НАТУРИЗМЪ

1. Понятие натурализма

Натурализм — это направление в литературе, которое возникло в XIX веке. Оно основано на идее, что жизнь есть сама по себе, без каких-либо высших целей или смысла. Натуралисты стремятся к точному и объективному изображению жизни, как она есть, без идеализации и без осуждения. Они отвергают романтические и идеалистические представления о жизни и стремятся к научной точности в описании человеческого поведения и общества.

Натурализм в литературе характеризуется тем, что писатели стремятся к полному и объективному изображению жизни, как она есть, без идеализации и без осуждения. Они отвергают романтические и идеалистические представления о жизни и стремятся к научной точности в описании человеческого поведения и общества.

Натурализм в литературе характеризуется тем, что писатели стремятся к полному и объективному изображению жизни, как она есть, без идеализации и без осуждения. Они отвергают романтические и идеалистические представления о жизни и стремятся к научной точности в описании человеческого поведения и общества.

Натурализм в литературе характеризуется тем, что писатели стремятся к полному и объективному изображению жизни, как она есть, без идеализации и без осуждения. Они отвергают романтические и идеалистические представления о жизни и стремятся к научной точности в описании человеческого поведения и общества.

Натурализм в литературе характеризуется тем, что писатели стремятся к полному и объективному изображению жизни, как она есть, без идеализации и без осуждения. Они отвергают романтические и идеалистические представления о жизни и стремятся к научной точности в описании человеческого поведения и общества.

НАТУРЩИЦА

1. Явление господина Старра

Явился ли он ниоткуда или наблюдал за ней уже довольно давно, может быть дольше, чем он сказал, и по другому поводу? Она поежилась, думая, что да, возможно, она много раз видела его в городе или в парке, совершенно не замечая, — его самого и его длинный сверкающий черный лимузин. Она бы никогда не решилась заговорить, даже если бы и обратила внимание на человека, который назвался Старром.

Каждый день взор ее быстро и легко скользил по лицам как знакомым, так и незнакомым, неясным, как фон в фильме, где первый план является существенно важной основой сюжета.

Ей было семнадцать. Вообще это случилось на следующий день после ее дня рождения. Яркий, ветреный январский день. Она делала пробежку в середине дня, после школы, в парке на берегу океана и как раз направлялась домой, чувствуя усиленное сердцебиение и приятную боль в ногах. Остановившись, чтобы вытереть лицо и поправить мокрую хлопчатобумажную повязку на лбу, она взглянула, застенчивая, удивленная, и увидела мужчину, которого она никогда раньше не встречала. Он ей улыбался широко, доброжелательно, с надеждой. Он стоял, слегка опершись на трость и

загораживая ей дорогу, предусмотрительно, с джентльменской почтительностью, показывая, что не желал зла.

— Извините! Здравствуйте! Юная леди! Признаю, что дерзок и посягаю на ваше уединение, но я художник, ищу натурщицу, хотел бы знать, не согласитесь ли вы мне позировать? Только здесь, я имею в виду здесь в парке, среди бела дня! Предлагаю вам почасовую оплату...

Сибил уставилась на мужчину. Как большинство молодых людей, она не умела определять возраст человека старше тридцати пяти лет. Этому чудаку могло быть сорок лет, а могло и пятьдесят. Его жидкие прямые волосы отливали старинным серебром — может, он был еще старше. Его лицо было бледное, шероховатое и грубое, а очки с такими темными стеклами, какие носят слепые. На нем была простая темная одежда, консервативная одежда — свободный твидовый пиджак, на все пуговицы застегнутая рубашка без галстука, начищенные до блеска черные кожаные старомодные ботинки. Было в его внешности что-то неустойчивое, даже нездоровое, как у бесчисленного множества других обитателей этого южнокалифорнийского побережья, большинство населения которого были люди пенсионного возраста, пожилые и дряхлые. Он будто привык носить себя с осторожностью, словно не мог полностью доверять земле. Черты его лица были тонкие, но усталые, слегка искаженные, точно виделись сквозь неровное стекло или воду.

Сибил не нравилось, что она не видела его глаз, хотя догадывалась, что мужчина наблюдает за ней очень пристально. Его кожа у глаз была в морщинках, как будто в свое время он много гримасничал и улыбался.

Быстро и вежливо Сибил прошептала:

— Нет, спасибо, я не могу.

Она отвернулась, но мужчина виновато заговорил:

— Я понимаю, что это странно, но, видите ли, я не знаю, как еще спросить. Я только начал рисовать, как...

— Извините.

Сибил развернулась и побежала, не быстро, ни в коем случае не панически, а в своей обычной манере, подняв голову, размахивая руками. Несмотря на то что она выглядела моложе своих лет, она была не из пугливых и теперь тоже не испугалась, но лицо горело от смущения. Она надеялась, что никто из ее знакомых в парке их не видел. Гленкоу был маленький город. Школа находилась всего в миле от парка. Почему этот нелепый человек подошел именно к ней?

Он окликнул ее, возможно, даже помахал тростью — она не отважилась оглянуться.

— Я буду здесь завтра! Меня зовут Старр! Не судите слишком быстро... пожалуйста! Честное слово! Меня зовут Старр! Плачу в час...

Тут он выкрикнул цену, почти в два раза большую чем та, что Сибил получала за работу нянькой или ассистентом библиотекаря в публичной библиотеке рядом с домом, когда ее изредка приглашали подработать.

2. Искушение

Не успела Сибил Блейк убежать от незнакомца, назвавшегося Старром, пробежав по бульвару Буена Виста до Санта-Клары и дальше до Меридиана, а потом домой, как она задумалась над предложением господина Старра, которое было хотя и нелепо, но очень соблазнительно. Конечно, она никогда прежде не позировала, но в школе, в классе живописи, некоторые ее одноклассницы позировали, полностью одетые, просто сидя или стоя в непринужденных позах, и она вместе со всеми их рисовала или пыталась делать это. Занятие не такое легкое, как кажется, — изображать человеческое тело. Но позировать само по себе было нетрудно, когда преодолеешь смущение от того, что на тебя все смотрят. Это было как бы морально нейтральное занятие.

Что сказал господин Старр...

«Только в парке. Среда бела дня. Честное слово!»

А Сибил так нужны были деньги, она копила на колледж и еще надеялась заниматься в летнем музыкальном институте в Санта-Барбаре (у нее был неплохой голос, и хормейстер в школе советовал ей серьезно заняться пением). Ее тетя, Лора Делл Блейк, с которой она жила с двухлетнего возраста, готова была платить за нее, решительно была готова платить, но Сибил было неловко принимать деньги от тети Лоры, которая работала врачом в Медицинском центре Гленкоу и чья зарплата со всеми возможными надбавками для государственной служащей по калифорнийским стандартам была весьма скромной. Сибил прекрасно понимала, что тетя Лора Делл не может вечно ее финансировать.

Давным-давно родители Сибил умерли, сразу оба, в один роковой час, когда она была слишком маленькой, чтобы знать, что есть Смерть. Они утонули, катаясь на лодке по озеру Шамплейн, мама в возрасте двадцати шести лет, отец в тридцать один год, очень интересные молодые люди. «Эффектная пара», как говорила о них тетя Лора, тщательно выбирая слова, не говоря ничего лишнего.

«Зачем спрашивать, — как бы предупреждала она Сибил, — ты только доведешь себя до слез». Как только появилась возможность переехать и как только Сибил была отдана под ее опеку, тетя Лора переехала в Калифорнию, в этот залитый солнцем город на побережье, на полпути между Санта-Моникой и Санта-Барбарой. Гленкоу был менее богат, чем оба эти города, но, со своими пальмовыми аллеями вдоль дорог и океанским побережьем, он был полной противоположностью, как говорила тетя Лора, Веллингтону и Вермонту, где Блейки жили поколениями. (После переезда в Калифорнию тетя Лора официально удочерила Сибил, поэтому ее фамилия стала Блейк, как у ее матери.) Если ее спрашивали фамилию отца, ей требовалось время, чтобы вспомнить, что его звали Конте. Вообще, тетя Лора говорила о Новой Англии столь негативно, а о Вермонте в особенности, что Сибил не

испытывала ностальгии, и у нее не было сентиментального желания посетить место своего рождения, даже навестить могилы родителей. По рассказам тети Лоры у Сибил сложилось представление о Вермонте как месте холодном и сыром двенадцать месяцев в году, с невыносимо морозной зимой. Его лесистые горы не были похожи на горы Запада — красивые, с белоснежными вершинами, они бросали тень на маленькие, беспорядочные, безлюдные и нищие старые города. Тетя Лора, трансплантированный представитель Новой Англии, была неистова в похвалах Калифорнии.

— С океаном на западе, — говорила она, — это словно комната без одной стены. Инстинктивно хочется заглянуть наружу, а не обратно. И это хороший инстинкт.

Лора Делл Блейк была человеком, который произносил слова с видом, приглашающим к полемике. Но высокая, мускулистая, воинственная, она не была той особой, с кем большинство людей желали бы поспорить.

Да, действительно, тетя Лора не поощряла вопросов Сибил о ее родителях или о трагедии, в результате которой они погибли. Даже если у нее и были фотографии или другие свидетельства жизни в Веллингтоне и Вермонте, то они были надежно спрятаны, и Сибил их никогда не видела.

— Это было бы слишком тяжело, — говорила она Сибил. — Для нас обеих.

Слова звучали как мольба и как предупреждение. Естественно, Сибил избегала неприятной темы.

Она приготовила тщательно продуманную историю на случай, если кто-то вдруг спросит ее, почему она жила со своей теткой, а не с родителями или хотя бы с одним из родителей. Но это была Южная Калифорния, и очень немногие из ее одноклассников жили с полным комплектом родителей, с которыми они начали свою жизнь. Вопросов не задавал никто.

— Сирота? Я не сирота, — поясняла обычно Сибил. — Никогда не была сиротой, потому что тетя

Лора всегда со мной. Мне было всего два года, когда это произошло, несчастный случай. Нет, я не помню.

Но никто не спрашивал.

Тете Лоре Сибил ничего не сказала про человека в парке, про человека, назвавшегося Старром. Она решительно выкинула его из головы. И все же в постели ночью, засыпая, поймала себя на том, что вдруг подумала о нем и снова увидела его, совершенно ясно. Эти серебряные волосы, эти блестящие черные туфли. Глаза, спрятанные под темными очками. Как соблазнительно его предложение! Хотя Сибил не обязана его принимать. Конечно, не обязана.

Все же господин Старр казался безобидным, доброжелательным. Эксцентричен слегка, но интересен. Она предположила, что у него есть деньги, ведь он смог предложить ей столько за позирование. Было в нем что-то несовременное: в том, как он держал голову и плечи. Этот дух джентльменской сдержанности, вежливости, даже когда он сделал свое странное предложение. За последние несколько лет в Гленкоу сильно выросло число бездомных и бродяг, особенно на побережье, но господин Старр, определенно, был не из них.

Потом Сибил поняла, точно открылась доселе запертая дверь, что она уже видела господина Старра раньше... где-то. В парке, где бегала почти каждый день по часу? На территории средней школы Гленкоу? В самой школе, в классе? Сибил напрягла память волевым усилием: школьный хор, в котором она пела, репетировал «Мессию» Генделя за месяц до ежегодного рождественского карнавала, Сибил исполняла соло, сложная партия для контральто, дирижер хвалил ее перед всеми... и, кажется, она видела, смутно, человека, незнакомого, сидевшего в дальнем углу зала, черты лица неясны, но серебряные волосы очень эффектны, и тот человек жестом изображал, что аплодирует, беззвучно хлопая. Вот. В дальнем углу зала. Часто случалось, что на репетиции присутствовали зрители — родители или родственники хористов, коллеги хормейстера. Так что никто не обращал внимания на

скромно сядящего в задних рядах незнакомца. На нем была классическая, строгая, не привлекающая внимания одежда, а темные очки скрывали глаза. Но это был он. Ради Сибил Блейк. Он пришел ради Сибил Блейк. Но в то время Сибил не обратила на него внимания.

Не заметила она, и как он ушел. Тихонько ускользнул со своего места, едва заметно прихрамывая, опираясь на трость.

3. Предложение

Сибил не намеревалась разыскивать господина Старра и не высматривала его, но на следующий день, когда она возвращалась домой после пробежки, мужчина появился снова — выше, чем ей запомнилось, крупнее, темные очки блестели на солнце, а бледные губы растянулись в осторожной улыбке. Одет он был в то же, что и вчера, только на голове у него появилась спортивная клетчатая шапочка для гольфа, придававшая ему хотя и щегольский, но тоскливый вид, на шее был повязан, словно в спешке, смятый кремовый шелковый шарф. Он стоял на тропинке почти на том же месте, опершись на трость, рядом на скамейке лежали художественные принадлежности — в байковой сумке, как у студентов.

— О, здравствуйте! — сказал он застенчиво, но радостно. — Не смел надеяться, что вы появитесь снова, но... — Улыбка его расплылась, словно в отчаянии, морщинистая кожа в уголках глаз натянулась. — Я так надеялся.

После пробежки Сибил всегда хорошо себя чувствовала: ее ноги, руки и легкие наливались силой. Она была хрупкая девушка, с детства склонная к респираторным заболеваниям, но такая физическая нагрузка укрепила ее, а с физическим здоровьем пришла уверенность в себе. Она тихо засмеялась на слова странного человека и удивленно слегка пожала плечами, сказав:

— Ну... я в этом парке всегда бегую.

Господин Старр быстро кивнул, словно любой ее ответ, любые слова были ему страшно интересны.

— Да, да, — согласился он. — Я вижу. Вы живете неподалеку?

Сибил снова пожала плечами. Не его дело, где она живет, так ведь.

— Может быть, — ответила она.

— А как вас зовут? — Он смотрел на нее с надеждой, поправляя на носу очки. — Меня зовут Старр.

— А меня Блейк.

Господин Старр заморгал и улыбнулся, словно не понимая, шутка ли это.

— Блейк?... Необычное имя для девушки, — удивился он.

Сибил снова засмеялась, чувствуя, что лицо у нее горит. Она решила не исправлять его ошибку.

Сегодня Сибил приготовилась к встрече, она обдумывала ее часами, поэтому она была менее нервозна, чем в первый раз: у мужчины деловое предложение, и это все. Кроме того, парк был местом открытым, людным, безопасным, знакомым ей так же, как маленький уютный дворик в доме тети Лоры.

И когда Старр повторил свое предложение, Сибил сказала: «Да». Она была заинтересована, ей нужны были деньги, она копила на колледж.

— На колледж? Действительно? Такая юная? — спросил господин Старр с некоторым удивлением.

Сибил молча пожала плечами, будто вопрос не требовал ответа.

— Полагаю здесь, в Калифорнии, молодые люди взрослеют рано, — решил господин Старр.

Он отошел, чтобы взять свой альбом для эскизов и показать Сибил работы. Пока господин Старр говорил, Сибил переворачивала листы с вежливым любопытством. Он был, по его выражению, «художником-любителем» — «любителем» самую малость — безо всяких заблуждений относительно своего таланта, но с глубоким убеждением, что мир спасет искусство.

— А мир, что вам знаком, невежественный и несовершенный в своей неполноценности, нуждается в постоянном искуплении.

Он верил, что художник является «свидетелем» этого факта и что живопись может быть «проводником эмоций», когда сердце пусто.

Перелистывая рисунки, Сибил не обращала внимания на бормотание господина Старра. Ее поразила легкая, неясная, несколько вдохновенная манера вырисовывать детали эскизов, которые, на ее взгляд, не были так плохи, как она ожидала, хотя и совершенно непрофессиональны. Пока она разглядывала рисунки, господин Старр подошел сзади, смущенный и возбужденный, взглянуть через ее плечо, уронив тень на свои работы. Океан, волны, широкий извилистый берег с высоты обрыва — пальмы, гибискус, цветы, мемориал «Второй Мировой войне» в парке, мамы с малышами, одинокие фигуры на скамейках, велосипедисты, бегуны — несколько страниц с изображением бегунов. Работы господина Старра были обыкновенны, но очень честны. Среди бегунов Сибил увидела себя или ту, которая должна была быть ею: молоденькая девушка с длинными до плеч темными волосами, убранными со лба повязкой, в джинсах и свитере, запечатленная на бегу, размахивающая руками, — это была она, но так нелепо изувечена, профиль такой искаженный, никто бы ее не узнал. И все же Сибил почувствовала, как загорелось ее лицо, и ощутила, что господин Старр ждал, затаив дыхание.

Сибил подумала, что было бы неуместным ей, семнадцатилетней, судить таланты человека среднего возраста, поэтому она промямлила что-то неопределенное, вежливое и положительное, а господин Старр, беря у нее альбом с рисунками, сказал:

— О, я знаю... я пока что не особенно умею. Но я очень стараюсь. — Он улыбнулся ей, достал свежее выглаженный носовой платок, промокнул им лоб и произнес: — У вас есть вопросы о том, как позировать мне, или мы сразу начнем? У нас сегодня есть по крайней мере три часа дневного света.

— Три часа! — воскликнула Сибил. — Так долго?

— Если устанете, — быстро сказал господин Старр, — мы сразу остановимся. — Видя, что Сибил нахмурилась, он воодушевленно добавил: — Время от времени будем делать перерыв, я обещаю. И, и... — чувствуя, что Сибил все еще колебалась, — я заплачу вам за весь час, за любую его часть целиком.

Сибил все же продолжала стоять, размышляя, стоит ли ей соглашаться, не сообщив ни тете Лоре, ни кому-то еще: не было ли чего странного в господине Старре и в его готовности платить *так много* за *так мало*? И не странен ли был его интерес (хотя и приятен) к ее особе? Допустим, Сибил хорошо себя вела, а он наблюдал за ней... по крайней мере целый месяц.

— Готов платить вам вперед, Блейк.

Имя Блейк в устах незнакомца звучало очень странно, никто раньше не называл Сибил только по фамилии.

Нервно засмеявшись, она сказала:

— Вам не нужно платить мне вперед... спасибо!

Таким образом, Сибил Блейк, вопреки своим взглядам, стала натурщицей господина Старра.

И вопреки своему здравому смыслу, а также периодически возникающему чувству, что во всем этом есть что-то нелепое: например, энергичная, суетливая, самодовольная манера господина Старра рисовать (он был аккуратист или хотел произвести такое впечатление, смял полдюжины листов, ломал новые угольные карандаши, пока не начал рисовать то, что ему понравилось). Поначалу было нетрудно, почти безо всяких усилий.

— То, что я хочу отобразить, — говорил господин Старр, — скрыто вне вашего дивного профиля, Блейк, а вы действительно красивое дитя! Эта задумчивость океана. Этот его образ, вы понимаете? Его способность мыслить, фактически — думать. Да, именно задумчивость!

Сибил, скосив глаза на белые барашки волн, ритмично бьющий прибой, отдельные волны, несущие

свой гребень с восхитительной животной ловкостью, подумала, что океан может быть каким угодно, но не задумчивым.

— Почему вы улыбаетесь, Блейк? — остановившись, спросил господин Старр. — Что веселого? Я смешон?

Сибил быстро ответила:

— О, нет, господин Старр, конечно нет.

— Но я смешон, я уверен, — радостно воскликнул он. — И если я кажусь вам таким, пожалуйста, смейтесь!

Сибил засмеялась, словно ее шекотали шершавыми пальцами. Она внезапно подумала, как это могло быть... у нее есть папа и мама, своя семья, как и предполагалось.

Господин Старр сидел теперь на корточках, на траве, очень близко и пристально смотрел на Сибил с выражением сильной сконцентрированности. Уголь в его руке двигался очень быстро.

— Способность смеяться, — продолжал он, — есть не что иное, как способность жить. То и другое синонимы. Вы еще очень молоды, чтобы понять теперь, но когда-нибудь вы поймете.

Сибил пожала плечами, вытирая глаза. Господин Старр говорил очень важно.

— Мир низок и невежествен. Противоположным «святому» является «невежественное». Необходима постоянная бдительность, вечное искупление. Художник — один из тех, кто вершит искупление, возрождая невинность мира, везде, где может. Художник отдает, но не берет, даже ради того, чтобы выжить.

Сибил скептически заметила:

— Но вы намереваетесь выручить деньги за свои рисунки, не так ли?

Господин Старр выглядел искренне потрясенным.

— О, Боже, нет. Решительно нет.

Сибил продолжала стоять на своем:

— Но многие желали бы. Я имею в виду, что многие вынуждены. Если у них есть талант... — Она

говорила удивительно резко, с почти детской смелостью. — Они вынуждены продавать так или иначе.

Словно пойманный на месте преступления, господин Старр начал оправдываться:

— Это верно, Блейк. Я... полагаю, я не такой, как большинство людей. Мне досталось некоторое наследство, не то чтобы целое состояние, но достаточно, чтобы жить спокойно остаток своей жизни. Я путешествовал по миру, — пояснил он невнятно. — И за мое отсутствие набежали проценты.

С неуверенностью Сибил спросила:

— У вас нет определенной профессии?

Господин Старр удивленно засмеялся — его зубы были крепкие и неровные, немного пожелтевшие, как старые костяные клавиши у пианино.

— Но, милое дитя, — сказал он. — Это и есть моя профессия — искупление за весь мир.

И он с новым энтузиазмом приступил к рисованию Сибил.

Минуты шли. Долгие минуты. Сибил почувствовала слабую боль между лопатками, неудобство в груди. Господин Старр сумасшедший. Неужели господин Старр сумасшедший? Позади нее по дорожке гуляли люди, там были бегуны, велосипедисты. Господин Старр, увлеченный рисованием, не обращал на них никакого внимания. Сибил раздумывала, знал ли ее кто-нибудь из прохожих и заметил ли эту странную сцену. Или, может, она сама придала слишком большое значение всему этому? Она решила, что расскажет вечером тете Лоре про господина Старра, расскажет честно, сколько он ей платит. Она одинаково уважала и боялась суда тети Лоры. В воображении Сибил, в этой недостижимой для других сфере существования, которую мы называем мысленное представление, Лора Делл Блейк была наделена авторитетом обоих умерших родителей.

Да, она обязательно расскажет все тете Лоре.

Спустя всего час сорок, когда Сибил начала ерзать и несколько раз произвольно вздохнула, господин Старр вдруг объявил об окончании сеанса. У него

были три многообещающих наброска, и он не хотел изнурять ее и себя. Она придет завтра?..

— Я не знаю, — сказала Сибил. — Может быть.

Сибил протестовала, хотя и не очень твердо, когда господин Старр заплатил ей за три полных часа. Он платил наличными, прямо из кошелька — дорогой лайковый бумажник, набитый купюрами. Сибил поблагодарила его, глубоко смущенная и жаждущая сбегать. О, в процедуре было что-то постыдное!

Вблизи она могла немного рассмотреть сквозь темные стекла очков его глаза, но из чувства такта быстро отвела взгляд, хотя уловила выражение доброты и участия.

Сибил взяла деньги, сунула их в карман и повернулась, чтобы уйти. Не беспокоясь о том, что его услышат прохожие, господин Старр крикнул ей:

— Видите, Блейк? Старр держит слово. Всегда!

4. Утаенная Правда есть Ложь или Правда?

— Ну? Как у тебя сегодня дела, Сибил? — спросила Лора Блейк с таким видом сдерживаемого нетерпения, что Сибил поняла, как это уже бывало, что у тети Лоры было нечто, о чем она спешила рассказать. Ее работа в Медицинском центре Гленкоу была неиссякаемым источником смешных и лихих анекдотов. Поэтому, хорошо зная тетю Лору, пока они вместе, как всегда, готовили ужин и ели его, Сибил вынуждена была слушать и смеяться.

И это было действительно смешно, хотя порой очень круто.

Лора Делл Блейк, в свои за сорок, была высокая, спортивная, неутомимая женщина с коротко остриженными, седеющими, песочного цвета волосами и такого же оттенка кожей, сильная духом, но с саркастическим характером, хотя и заявляла о любви к Южной Калифорнии.

— Невозможно понять, какой это рай, если ты не приезжий.

Она казалась неуклюжей переселенкой из Новой Англии, с надеждами и чувством обособленности или непримиримости, весьма неуместными здесь. Она любила говорить, что не выносит дураков, и это была правда. Слишком высоко квалифицированная для своего положения в Медицинском центре Гленкоу, она терпела неудачи в поиске работы в других местах — отчасти потому, что не хотела покидать Гленкоу, а мечтала «укоренить» Сибил, пока та учится в школе, и еще потому, что на собеседованиях она терпела фиаско — Лора Делл Блейк не могла хотя бы казаться послушной, сговорчивой, «женственной», лицемерной.

Лора не была единственной родственницей Сибил. На свете жили еще Блейки и Конте, в Вермонте, но Лора не поощряла визитеров в маленький оштукатуренный бунгало на улице Меридиан в Гленкоу, штат Калифорния. Она даже не утруждала себя ответами на письма и открытки, с тех пор как оформила опеку над дочерью своей младшей сестры, когда после, как она называла, «трагедии» собралась и переехала через континент в ту часть страны, о которой ничего не знала.

— Я хочу стереть прошлое ради ребенка, — говорила она, — и начать новую жизнь. — А потом добавляла: — Ради ребенка, ради бедной маленькой Сибил, я готова на любые жертвы.

Сибил, очень ее любившая, смутно подозревала, что много лет тому назад были протесты, вопросы, телефонные звонки, но тетя Лора одолела все и действительно создала новую «неосложненную» жизнь. Тетя Лора была одной из тех сильных натур, которые становятся еще сильнее от ударов судьбы. Казалось, она полюбила противостояние и своей собственной родне, и сослуживцам в Медицинском центре — всем, кто пытался научить ее жить. Особенно она охраняла Сибил, поскольку, как она часто говорила, у них обеих больше никого не было.

И это правда. Тетя Лора постаралась.

Хотя Сибил была удочерена своей теткой, никогда не возникало даже намек на то, что она дочь, а не племянница. Да и другие люди, встречая их вместе и отмечая физическое несходство, никогда не ошибались.

Таким образом, Сибил Блейк выросла, практически ничего не зная о жизни в Вермонте, кроме отдельных недомолвок о некой трагедии: сведения об отце, матери, подробности их смерти были смутны и неточны в ее сознании, словно в детской сказке, потому что когда бы Сибил ни спрашивала об этом тетку, та реагировала болезненно, тревожно, или с упреком, или, хуже всего, раздраженно. Глаза ее наполнялись слезами — у *тети Лоры*, которая никогда не плакала. Она брала обе ладони Сибил в свои руки, сильно их сжимала и, глядя прямо в глаза, говорила:

— Но, дорогая, ты же не хочешь знать.

Поэтому, когда вечером Сибил задала вопрос, попросив тетю Лору еще раз рассказать, как точно погибли ее родители, та взглянула на нее с удивлением и долго копалась в карманах кофты в поиске сигарет, которых там не было (она бросила курить в прошлом месяце уже, наверное, в пятый раз). Она выглядела так, словно сама забыла об этом.

— Сибил, родная, почему ты спрашиваешь? Я имею в виду, почему теперь?

— Не знаю, — уклончиво ответила Сибил. — Думаю... Просто хочется знать.

— В школе ничего не случилось?

Сибил не понимала, какое отношение имеет к ее просьбе школа, но вежливо ответила:

— Нет, тетя Лора. Конечно нет.

— Значит, ни с того ни с сего. Не понимаю почему, — хмыкнула тетя Лора, нахмурившись. — Ты можешь спрашивать, конечно.

Тетя Лора посмотрела на Сибил тревожными глазами: взгляд был такой проникновенно-понимающий, что Сибил показалось, будто вокруг ее груди затянулся ремень и стало невозможно дышать. *«Почему мое желание знать, является мерилom моей любви к тебе? Почему ты так себя ведешь, тетя Лора, всегда?»* Вслух она произнесла:

— На прошлой неделе мне исполнилось семнадцать лет, тетя Лора. Я больше не ребенок.

Вздвoгнув, тетя Лора засмеялась:

— Конечно, ты не ребенок.

Потом тетя Лора вздохнула, характерным жестом, означающим одновременно нетерпение и обязательное желание угодить, пальцами обеих рук пробежала по волосам и заговорила. Она убеждала Сибил в том, что, действительно, не было ничего особенного. Это случилось — трагедия — так давно.

— Твоей маме, Мелани, было тогда двадцать шесть лет — красивая, добросердечная молодая женщина с глазами, как у тебя, с такими же скулами и светлыми волнистыми волосами. Твоему отцу, Жоржу Конте, был тридцать один год — многообещающий молодой юрист, работал на фирме своего отца. Привлекательный амбициозный мужчина.

И здесь, как всегда, тетя Лора остановилась. Создавалось впечатление, что во время рассказа об этих давно умерших людях она вдруг забыла их и теперь просто повторяла предание, семейную легенду, как одну из зажигательных своих историй из Медицинского центра Гленкоу, затертую от частого употребления.

— Несчастный случай в лодке, четвертого июля, — уговаривала ее Сибил. — И я была с тобой и...

— Ты была со мной и с бабушкой. Ты была совсем маленькая! — сказала тетя Лора, моргая, стряхнув слезы с глаз. — И почти стемнело, время начинать фейерверк. Мамочка и папочка были на озере в моторной лодке, они ездили через озеро в клуб...

— И они поплыли обратно по озеру Шамплейн...

— Озеро Шамплейн, конечно, оно красивое, но коварное, если вдруг налетит шторм...

— А папа вел лодку...

— Каким-то образом они перевернулись. И утонули. Спасательная лодка вышла немедленно, но было слишком поздно.

Губы тети Лоры сжались. Глаза ее блеснули от слез, словно вызывающе.

— Они утонули.

Сердце Сибил больно забилося. Она верила, что было еще что-то, но сама ничего не помнила, даже себя, того двухлетнего ребенка, ожидавшего мамочку и папочку, которым не суждено было вернуться. Воспоминания о матери и отце были туманные, неясные, неопределенные, словно сон, даже когда он начинает переходить в сознание, все равно со временем погружаясь в темноту.

Она прошептала:

— Это был несчастный случай. Никто не виноват.

Тетя Лора старательно выбирала слова:

— Никто не виноват.

Возникла пауза. Сибил взглянула на тетку, которая не смотрела на нее. Каким резким и сухим стало лицо немолодой женщины! Всю свою жизнь она не следила за собой, была безразлична к солнцу, ветру, погоде и теперь в свои поздние сорок лет выглядела лет на десять старше. Осторожно Сибил спросила:

— Никто не виноват?..

— В общем, если тебе хочется знать, — начала тетя Лора, — были доказательства, что он пил. Они выпивали в клубе.

Сибил была шокирована, словно тетя Лора больно уколола ее руку.

— Пили?

Она никогда не слышала эту часть истории.

Тетя Лора мрачно продолжала:

— Но, наверное, не так много, чтобы это повлияло. — Она снова замолчала, отведя глаза от Сибил. — Возможно.

Сибил, пораженная, не могла ни о чем больше думать или спрашивать.

Тетя Лора встала и начала ходить. Ее короткие волосы были взлохмачены. В какой-то сварливой манере, будто она доказывала что-то невидимой аудитории, тетя продолжила:

— Какие глупые! Я пыталась втолковать ей! «Эффектная пара», «привлекательная пара», полно друзей, слишком много друзей! Этот проклятый клуб «Шамплейн», где все пили слишком много! Все эти деньги и

привилегии! А что от этого хорошего! Она, Мелани, гордая, что все ее приглашают, гордая, что вышла за него замуж, сжигающая свою жизнь! Вот к чему все это привело в итоге. Я предупреждала ее об опасности, нельзя играть с огнем, но разве она слушала? Разве кто-нибудь из них прислушался? К Лоре? Ко мне? Когда ты так молод, неопытен, кажется, что жизнь вечна и можно тратить ее без оглядки.

Вдруг Сибил стало дурно. Она быстро вышла, закрыла дверь в свою комнату и осталась в темноте, готовая заплакать.

Значит, вот как все было. Дешевый маленький секрет — пьянство, пьяная дурь, за фасадом «трагедии».

С присущим ей тактом тетя Лора не постучала в дверь Сибил, а оставила ее в покое на всю ночь.

Только когда Сибил улеглась в постель, и в доме погасли огни, она вспомнила, что забыла рассказать тете про господина Старра, он просто выпал из головы. А деньги, которые он вложил ей в руку, лежали в ящичке шкафа, аккуратно сложенные под нижним бельем, словно спрятанные...

Сибил виновато подумала, что может рассказать все завтра.

5. Катафалк

Примостившись напротив Сибил Блейк, неистово рисуя ее, господин Старр говорил быстрым восторженным голосом:

— Да, да, именно так! Да! Ваше лицо, поднятое к солнцу, словно распустившийся цветок! Только так! — Потом, немного помолчав, продолжал: — Есть всего два или три вечных вопроса, Блейк, которые, как прибой, бесконечно повторяются: «Зачем мы здесь? Откуда пришли? И куда идем?» Существует ли в мироздании причина или только шанс? Эти вопросы художник отображает в образах, которые знает. Милое

дитя, хорошо бы, вы рассказали о себе. Хотя бы немного.

После ночи в ней словно произошла какая-то перемена, появилась какая-то новая решимость. На следующее утро у Сибил осталось мало сомнений относительно позирования для господина Старра. Казалось, что они давно знали друг друга. Сибил была уверена, что господин Старр не был ни сексуальным маньяком, ни даже обыкновенным сумасшедшим. Она подсмотрела его наброски, быстрые, натруженные и грязные, но сходство было схвачено. Его сбивчивая болтовня действовала успокаивающе, гипнотически, как прибой, и больше не раздражала, потому что в основном он разговаривал не с ней, *а для нее*, и отвечать было необязательно. В какой-то момент господин Старр напомнил Сибил тетю Лору, когда она пускалась в повествование об очередном смешном случае в Медицинском центре Гленкоу. Тетя Лора была более занимательна, а господин Старр более идеалистичен.

Его оптимизм, может и простоватый, был именно *оптимистичен*.

Для сегодняшнего сеанса господин Старр отвел Сибил в дальний угол парка, где их никто не беспокоил. Он попросил ее снять с головы ленту, сесть на скамейку, откинув голову с полужакрытыми глазами, и поднять лицо к солнцу. Поначалу поза показалась не совсем удобной, но потом, убаюканная шумом прибора и монологом господина Старра, Сибил почувствовала себя странно спокойной, как бы плывущей.

Да, ночью в ней действительно что-то изменилось. Она не могла постичь ни размеры, ни горечь этого. Она заснула, тихо плача, а проснулась с чувством... чего? Ранимости, вроде бы. Или желающая быть такой. Или воспрянувшая. Как распутившийся цветок.

В то утро Сибил снова забыла рассказать тете Лоре про господина Старра и про деньги, что она заработала, — такая солидная сумма, и так мало усилий! Она поежилась, представив, какотреагировала бы ее тетка, ибо она не доверяла незнакомцам, а в особенности мужчинам... Сибил надеялась, что если она расскажет

тете Лоре вечером или завтра утром, то постарается убедить ее, что в господине Старре было что-то доброе, доверительное и почти детское. Над ним *можно* было смеяться, но, вместе с тем, смех был как-то неуместен.

И, хотя он выглядел мужчиной средних лет, создавалось впечатление, что очень долго он был где-то изолирован, защищен, находясь вне взрослого мира. Невинный, сам по себе и ранимый.

Сегодня он снова предложил Сибил предварительную плату, а Сибил снова отказалась. Ей бы не хотелось говорить господину Старру, что, если он заплатит заранее, она может соблазниться и сократить сеансы еще больше.

Неуверенно господин Старр сказал:

— Блейк? Вы можете рассказать мне... — Здесь он замолчал, словно формулируя случайно пришедшее ему в голову вдохновенное понятие, — о своей матери?

До этого Сибил не обращала особенного внимания на господина Старра. Теперь же она открыла глаза и прямо посмотрела на него.

Возможно, господин Старр не был слишком древним, как она думала, то есть не такой старый, каким изображал себя. У него было интересное лицо, странно-шероховатое — кожа как наждачная бумага, — очень болезненное, бледное. Над левым глазом на лбу маленький шрам, в форме вопроса. А может, это родимое пятно? Или, менее романтично, кожный дефект? Может, его шершавая, колючая кожа была результатом прыщей в детстве и ничего больше.

Его неуверенная улыбка обнажала крепкие влажные зубы.

Сегодня господин Старр был без головного убора, и его тонкие, блестящие, невозможно-серебристые волосы взъерошил ветер. На нем была простая, не поддающаяся описанию одежда: рубашка слишком велика, жакет цвета хаки с засученными рукавами. Наконец Сибил могла разглядеть сквозь темные стекла очков его глаза. Они были маленькие, глубоко посаженные, умные, блестящие, под глазами мешки и тени, словно синяки.

Сибил содрогнулась, прямо глядя в его глаза, как в чужую душу, когда она не ждет этого.

Сибил глотнула и медленно произнесла:

— Моя мама... не живая.

Странный способ говорить! Почему не сказать прямо, нормальными словами: моя мама умерла.

Долгие тяжелые минуты. Слова Сибил повисли в воздухе, как будто господин Старр, обескураженный своей собственной ошибкой, не хотел слышать.

Извиняясь, он быстро сказал:

— О, понимаю, очень сожалею.

Сибил позировала на солнце. Очарованная его лучами, прибоем, голосом господина Старра, теперь она словно очнулась ото сна, о котором не подозревала. Она почувствовала, будто до нее дотронулись, толкнули и разбудили. Она видела перевернутый рисунок господина Старра, который он сделал с нее, видела его уголь, застывший над бумагой в позе досады. Она засмеялась, вытерла глаза и добавила:

— Это случилось очень давно. Я об этом не думаю, на самом деле.

Выражение лица господина Старра было усталое и вопросительное. Он поинтересовался:

— Значит... вы... живете... с отцом?

Слова, казалось, произносились насильно.

— Нет. И мне не хочется больше говорить об этом, господин Старр, если вы не против.

Сибил говорила с мольбой, но с решительной интонацией.

— Тогда не будем! Не будем! Конечно нет! — быстро согласился господин Старр и снова набросился на рисование, его лицо исказилось от сосредоточенности.

Таким образом, остаток сеанса прошел в молчании.

Снова, как только Сибил проявила признаки беспокойства, господин Старр объявил, что готов закончить сеанс, он не хотел изнурять ее или себя.

Сибил потеряла шею, которая слегка болела, вытянула руки и ноги. Кожа у нее не то обгорела, не то

обветрилась, а глаза резало, будто она смотрела прямо на солнце. Или она плакала? Она не могла вспомнить.

И теперь господин Старр заплатил Сибил наличными из лайкового бумажника, набитого купюрами. Когда он отдавал деньги Сибил, рука его заметно дрожала. (Сибил смущенно сложила деньги и быстро сунула их прямо в карман. Позднее, дома, она обнаружила, что господин Старр дал ей на десять долларов больше: премия за то, что она чуть не расплакалась?) Хотя было ясно, что Сибил желала поскорее уйти, господин Старр шел рядом с ней по спуску в сторону бульвара, хромая, опираясь на трость, но не отставая. Он спросил Сибил, конечно, он назвал ее Блейк:

— Дорогая Блейк, не хотели бы вы зайти со мною в кафе неподалеку? — А когда Сибил отказалась, он промямлил: — Да, да, я понимаю... я полагаю...

Потом он спросил, придет ли Сибил на следующий день, а когда Сибил не сказала нет, добавил, что, если она придет, он хотел бы увеличить ее почасовую оплату в обмен на согласие слегка изменить манеру позирования.

— Позировать немного иначе, здесь, в парке, или, может, внизу на берегу, днем конечно, как всегда, и все же иначе... — Господин Старр нервно помолчал, подбирая правильное слово. — Экспериментально.

С сомнением Сибил спросила:

— Экспериментально?..

— Я готов увеличить плату, Блейк, вполровину.

— Какого сорта эксперимент?

— Эмоции.

— Что?

— Эмоции. Воспоминания. Внутреннее состояние.

Когда они вышли из парка и, вероятно, их могли видеть, Сибил начала беспокойно оглядываться. Ей не хотелось, чтобы их видел кто-нибудь из школы или друзья тети. Разговаривая, господин Старр жестикулировал и казался возбужденным более обычного.

— Внутреннее состояние — то, что скрыто от глаз. Я расскажу вам все очень подробно завтра, Блейк, — сказал он. — Вы придете завтра?

— Я не знаю, господин Старр, — прошептала Сибил.

— О, но вы должны! Пожалуйста.

Сибил чувствовала симпатию к господину Старру, правда, немного стеснялась его. Он был добр, обходителен, вежлив и, конечно, очень щедр. Она не могла представить его жизнь иначе как жизнь одинокого эксцентричного человека, без друзей. Хотя, размышляла Сибил, не преувеличивала ли она его эксцентричность? Что бы сказал сторонний наблюдатель, глядя на высокую хромую фигуру, трость, байковую сумку, начищенные черные кожаные ботинки, которые напоминали ей похороны, тонкие красивые серебряные волосы, темные очки, сверкавшие на солнце?.. Примет ли такой наблюдатель их всерьез, увидев Сибил Блейк и господина Старра вместе?

— Смотрите, — сказала Сибил, — катафалк.

У обочины, неподалеку, стояла длинная гладкая черная машина с тонированными стеклами. Господин Старр засмеялся и смущенно произнес:

— Нет, Блейк, это не катафалк, это моя машина.

— Ваша машина?

— Да. Боюсь, что так.

Теперь Сибил разглядела, что у обочины стоял лимузин. За рулем сидел молодой шофер в фуражке, судя по профилю, азиат. Сибил с изумлением смотрела на него. Значит, господин Старр был действительно богат.

Он говорил как бы извиняясь, но с некоторой мальчишеской бравадой:

— Видите ли, я сам не вожу машину! Инвалидность. Когда-то давно водил, но обстоятельства помешали.

Сибил думала о том, что часто видела в Гленкоу лимузины с шоферами, но никогда не знала их владельцев.

Господин Старр предложил:

— Блейк, позвольте подвезти вас домой? Сделаю это с удовольствием.

Сибил засмеялась, будто ее сильно зашекотали под мышками.

— Подвезти? В этом? — спросила она.

— Ничего особенного! Абсолютно!

Господин Старр захромал к задней двери и, не успев водитель встать и открыть дверь, как он сам с шиком распахнул ее. Он обернулся к Сибил, улыбаясь с надеждой.

— Это самое малое, что я могу для вас сделать после нашего изнурительного сеанса.

Сибил усмехнулась, заглядывая в сумрачный интерьер машины. Шофер в униформе вылез и наблюдал, не совсем понимая, что делать. Он был, возможно, филиппинец, немолодой, с маленьким мудрым лицом. На нем были белые перчатки. Он стоял очень прямо и молча, следя за Сибил.

Был момент, когда казалось, да, Сибил может принять предложение господина Старра и залезть в длинный гладкий черный лимузин так, чтобы господин Старр мог сесть рядом и закрыть дверцу, но потом, по непонятной ей самой причине — это могла быть напряженная улыбка господина Старра, с которой он глядел на нее, или застывшая поза шофера в белых перчатках, — она изменила решение и сказала:

— Нет, спасибо!

Господин Старр был разочарован и расстроен, это было видно по опущенным уголкам губ. Но он радостно сообщил:

— О, я совершенно понимаю, Блейк. Я незнакомец, в конце концов. Лучше быть благоразумными, конечно. Да, моя дорогая. Я увижу вас завтра?..

Сибил крикнула в ответ:

— Может быть, — и побежала через улицу.

6. Лицо

Сна сторонилась парка. *«Потому, что я так хочу, потому, что я могу»*. В четверг, в любом случае, у нее

урок пения после школы. В пятницу репетиция хора, потом вечер с друзьями. В субботу утром у нее пробежка, не в парке над океаном, а в другом парке, далеко, где господин Старр не додумается ее искать. А в воскресенье тетя Лора отвезла ее в Лос-Анджелес отметить, с опозданием, день рождения Сибил — художественная выставка, обед, спектакль.

«Так что видите, я могу сама. Мне не нужны ваши деньги, и вы тоже».

С того вечера, когда тетя Лора рассказала Сибил про несчастный случай в лодке, про то, что он мог произойти из-за пьянства, ни одна из них не поднимала этот вопрос снова. Сибил содрагалась при мысли об этом. Она чувствовала себя хорошо наказанной за любопытство.

«Зачем ты хочешь знать? Ты только расшлешься».

Сибил так и не стала рассказывать тете Лоре про господина Старра и работу натурщицей. Даже в долгий воскресный день, который они провели вместе. Ни слова о кошельке с деньгами, спрятанном в ящике шкафа.

«Для чего деньги? Для летней школы, для колледжа. На будущее».

Тетя Лора была не из тех, что шпионят за домочадцами, но она внимательно наблюдала за Сибил опытным глазом клинициста.

— Сибил, в последнее время ты какая-то притихшая. Надеюсь, ничего не случилось? — спросила она.

Сибил ответила быстро и нервно:

— О, нет! Что может случиться?

Она ощущала себя не в своей тарелке из-за того, что не открыла секрет тете Лоре, и еще испытывала вину за разлуку с господином Старром.

Двое взрослых. Как два полюса. Господин Старр действительно был странный, он совершенно не существовал в жизни Сибил Блейк. Но почему у нее было ощущение, такое странное, что *существовал*?

Проходили дни, и вместо того чтобы забыть господина Старра и укрепнуть в желании больше для него не позировать, Сибил, казалось, все яснее видела этого

человека мысленным взором. Она не понимала, почему он был к ней так привязан. Она была уверена, что это не была сексуальная привязанность. Но что-то еще, более духовное. «Почему? Почему она?»

Почему он приходил в школу и сидел на репетиции хора? Он знал, что там будет она? Или это просто совпадение?

Она вздрогнула, представив, что бы вообразила тетя Лора, если бы узнала. Если бы до нее дошли сведения о господине Старре.

Перед ней всплыло лицо господина Старра. Его бледность, его грусть. Это выражение выздоравливающего больного. В ожидании чего-то. Темные очки. Улыбка надежды. Однажды, проснувшись ночью от особенно ясного, беспокойного сна, Сибил на какое-то мгновение вспомнила, что видела господина Старра в комнате... это был не просто сон! Каким несчастным он был, удивленным, обиженным. *Иди за мной, Сибил. Спешу. Сейчас. Прошло так много времени.*

Он ждал ее в парке целыми днями, ходил, хромая, байковая сумка болталась у него на плече, и с надеждой глядел на каждого прохожего.

За ним стоял элегантно сверкающий лимузин, гораздо больше, чем помнила Сибил, и без водителя.

«Сибил? Сибил?» — нетерпеливо звал господин Старр.

Будто на самом деле он знал ее настоящее имя. Но она знала, что он знает.

7. Эксперимент

Таким образом, в понедельник утром Сибил Блейк снова появилась в парке, чтобы позировать для господина Старра.

Увидив его, так явно ожидающего ее, Сибил почувствовала угрызения совести. Не то чтобы он приветствовал ее с упреком (хотя лицо его осунулось и пожелтело, словно он плохо выспался), даже в глазах его

не было молчаливого вопроса: «Где вы были?» Конечно нет! Завидев ее, он счастливо улыбнулся, хромая к ней, как до безумия любящий отец, явно не желающий соглашаться с ее отсутствием в последние четыре дня.

Сибил крикнула ему:

— Здравствуйте, господин Старр! — и рассмеялась так, будто, да, снова все хорошо.

— Как замечательно! И день такой ясный! При дневном свете... Как обещал! — ответил господин Старр.

Сибил бегала уже минут сорок, и сейчас она была бодрой и окрепшей. Она сняла с головы влажную желтую ленту и спрятала ее в карман. Когда господин Старр повторил условия своего предложения, подтвердив повышенную плату, Сибил согласилась сразу, потому что, конечно, именно за этим она и пришла. Как, при всей своей рассудительности, она могла отказаться?

Господину Старру потребовалось время, чтобы найти место для Сибил.

— Это должно быть идеальное место, синтез поэтичности и целесообразности.

Наконец он нашел частично разрушенный каменный уступ над пляжем в укромном уголке парка. Он попросил Сибил прислониться к уступу, подняв голову как можно больше, до пределов возможного.

— А сегодня, дорогая Блейк, я хочу запечатлеть не просто поверхностное сходство красивой молодой девушки, — сообщил он, — но воспоминания и эмоции, наполняющие ее.

Сибил приняла позу вполне охотно. После пробежки она чувствовала себя прекрасно и была просто счастлива от своего возвращения к роли натурщицы. Она улыбалась океану, как старому другу.

— Какие воспоминания и эмоции, господин Старр? — спросила она.

Господин Старр с энтузиазмом взялся за альбом для эскизов и новый угольный карандаш. День был теплый, небо спокойное и невыразительное, только вдали над побережьем, в направлении Большого Сура, собирались грозные облака. Прибой был высокий,

волны мощные, завораживающие. В сотне ядров внизу молодые люди готовились войти в воду в костюмах для серфинга, они легко несли свои доски, словно те были из папье-маше.

Господин Старр откашлялся и произнес немного смущенно:

— Ваша мама, дорогая Блейк. Расскажите мне... все, что помните... про вашу маму.

— Моя мама?

Сибил вздрогнула и нарушила бы позу, если бы господин Старр быстрой рукой ее не остановил. Он впервые прикоснулся к ней и тихо сказал:

— Понимаю, что это болезненная тема, Блейк, но... постарайтесь?

Сибил ответила:

— Нет, не хочу.

— Значит, нет?

— Я не могу.

— Но почему вы не можете, дорогая? Подойдут любые воспоминания о вашей матери.

— Нет.

Сибил видела, что господин Старр быстро рисовал ее или пытался делать это. Ей захотелось выхватить у него уголь и сломать его. *«Как он смеет! Будь он проклят!»*

— Да, да, — быстро проговорил господин Старр.

На его лице появилось странное оживленное выражение, будто он, внимательно изучая, совсем не видел ее.

— ...да, дорогая, именно так. Любые воспоминания... любые! Если они ваши.

— Чьи еще они могут быть?

Она засмеялась и удивилась, что смех ее звучал как рыдание.

— Понимаете, часто невинным детям воспоминания навязывают взрослые, и воспоминания становятся чужими. — Старр говорил торжественно. — В этом случае воспоминания ложные. Не подлинные.

Сибил смотрела на свое перевернутое изображение на листе белой бумаги. В нем было что-то отталкиваю-

шее. Хотя она была в обычном спортивном костюме, господин Старр изобразил ее в облегающем летящем платье или, может, вообще без всего. Там, где должны быть груди, виднелись штрихи и завитки, словно она готова была раствориться. Лицо и голова вполне выписаны, но не совсем завершены и четки.

Еще она заметила, что у серебряных волос господина Старра сегодня был ясный металлический отблеск, и слегка проступала щетина, тоже металлического оттенка, блестя на подбородке. Он был сильнее, чем она думала, и знал гораздо больше нее.

Сибил снова приняла позу, глядя на океан, на высокие вздыбленные волны в изумительных белых барашках. Зачем она здесь, что этому человеку от нее нужно? Она забеспокоилась вдруг. *Что бы там ни было, она не позволит...*

Но господин Старр продолжал своим мягким, воркующим голосом:

— Есть люди, в основном женщины, которые, как я называю, подвержены «противоречивым эмоциям». В их обществе оживают полумертвые. Это не обязательно красивые женщины или девушки. Все дело в горячей крови, в смещении душ. — Он перевернул страницу альбома и начал снова, тихонько насвистывая сквозь зубы. — Таким образом, человек с холодной душой рядом с подобным благословенным существом может становиться, хотя бы на время, тем, кем когда-то был. Иногда!

Сибил постаралась восстановить в памяти ускользающий образ своей мамы. Мелани. В то время ей было двадцать шесть лет, глаза... лицо... светлые волнистые волосы. Призрачное лицо возникло и почти мгновенно исчезло. Непроизвольно Сибил зарыдала. Глаза наполнились слезами.

— ...почувствовал, что вы, дорогая Блейк, вас действительно зовут Блейк, да? Что вы одна из них. «Бездна эмоций», более высоких, чистых. Да, да! Интуиция редко меня подводит!

Господин Старр говорил поспешно, нервными движениями набрасывая ее портрет. Его темные очки

блестели на солнце. Сибил знала, что если посмотрит на него, то не увидит его глаз.

А господин Старр продолжал уговаривать:

— Неужели вы ничего не помните... совершенно... о своей матери?

Сибил тряхнула головой, что означало ее нежелание говорить об этом.

— Ее имя. Уверен, вы знаете ее имя.

— Мне сказали, что мамочка ушла и папочка тоже. На озере...

— Озеро? Где?

— Озеро Шамплейн. В Вермонте, в Нью-Йорке. Тетя Лора рассказывала.

— Тетя Лора?..

— Мамина сестра. Она была старшая. Она есть старшая. Она забрала меня, удочерила. Она...

— А тетя Лора замужем?

— Нет, мы только вдвоем.

— Что случилось на озере?

— Это случилось в лодке. Она говорила, что лодку вел папа. Он пришел за мной, но... я не помню. Это было тогда же или потом. Мне говорили, но я не знаю.

Теперь по лицу Сибил текли слезы, она не могла сохранять спокойствие, но смогла не прятать лицо в ладонях. Она слышала учащенное дыхание господина Старра и скрип угля по бумаге.

Господин Старр мягко сказал:

— Вы были, наверное, совсем маленькой, когда... что бы это ни было... когда это случилось.

— Я не *была* маленькой для себя. Я просто *была*.

— Очень давно, да?

— Да. Нет. Оно всегда... там.

— Всегда где, милое дитя?

— Там, где я, я... вижу.

— Видите что?

— Я... не знаю.

— Видите свою маму? Она была красивая? Она на вас похожа?

— Оставьте меня... Я не знаю.

Сибил зарыдала. Господин Старр, раскаявшись или устав, немедленно умолк.

Кто-то, наверное велосипедист, промчался мимо, и Сибил почувствовала, что за ней наблюдают, несомненно, с любопытством: девушка с заплаканным лицом прильнула к каменному выступу, а мужчина средних лет, на корточках, рьяно ее рисует. Художник и его модель. Художник-любитель и непрофессиональная натурщица. Но странно, что девушка плакала, а мужчина старательно изображал ее слезы.

Закрыв глаза, Сибил действительно ощутила себя комком эмоций. Она была сама Эмоция. Хотя она и стояла на земле, но душа ее парила в пространстве. Вуаль была откинута, и она увидела лицо, мамино лицо, хорошенькое личико сердечком, что-то чувственное и упрямое было в нем. Как молода была мама! А волосы у нее подняты — светло-коричневые и нежные, — схвачены сзади зеленым шелковым шарфом. Мама спешит к звенящему телефону, мама поднимает трубку. *Да? Да! О, привет...* Потому что телефон всегда звонил, а мама всегда спешила ответить на звонок, и в ее голосе всегда была эта нотка ожидания, звук надежды, удивления... *О, привет!*

Сибил больше не могла сохранять позу.

— Господин Старр, я больше не могу сегодня, извините.

И под его удивленным взглядом она ушла. Он начал было звать ее, напоминая, что не заплатил. Но, нет, Сибил больше не могла позировать в тот день. Она пустилась бежать, она убегала.

8. Давным-давно

Девушка, которая вышла замуж слишком рано, — именно так?

Это лицо сердечком, упрямые сжатые губы. Глаза, расширенные от шутливого удивления: «О, Сибил, что ты наделала?..»

Наклоняется, чтобы поцеловать маленькую Сибил, смеющуюся от удовольствия и возбуждения маленькую Сибил, протягивающую свои пухлые ручки, чтобы быть поднятой мамиными руками и унесенной в кроватку.

«О, солнышко, ты стала большая для этого. Слишком тяжелая!»

От золотистых светло-коричневых волнистых до плеч волос пахнуло духами. На шее нитка жемчуга. Летнее платье с глубоким вырезом, яркая цветочная ткань, как обон. *«Мамочка!»*

«А папа, где же папа?»

Он ушел, потом вернулся. Он пришел за ней, за маленькой Сибил, чтобы отвезти ее в лодке, мотор громкий, гудит сердито, как пчела над головой, поэтому Сибил плакала. Потом кто-то пришел, а папа снова ушел. Она слышала, как взвыл мотор и затих вдали. Она не могла видеть со своего места, как бурлила вода, еще была ночь, но она не плакала, и никто не ругался.

Она помнила мамино лицо, хотя ей никогда не давали увидеть его снова. Папино лицо она не помнила.

Бабушка сказала: «Все будет хорошо, бедная малютка, все будет хорошо», — а тетя Лора крепко ее обнимала. «Теперь всегда с тобой все будет хорошо, тетя Лора обещала». Страшно было видеть, как тетя Лора плакала. Тетя Лора никогда не плакала, да?

Она подняла Сибил сильными руками, чтобы отнести в кроватку, но эта была другая кроватка, она теперь всегда будет другая.

9. Подарок

Сибил стоит на краю берега. Вокруг нее шумит и волнуется прибой... на песок набегает волна почти к ногам, что за вихрь криков, сокрытых в океане! Ей хочется смеяться без причины. *Ты знаешь причину. Он вернулся к тебе.*

Берег широкий, чистый, застывший, словно выровненный гигантской щеткой.

Пейзаж волшебной простоты. Сибил видела его бесконечное число раз, но сегодня его красота поражает заново. *Твой отец, отец, который, как говорили тебе, ушел навсегда, он вернулся.* Солнце зимнее, но теплое, ослепительное. Сияющее в небе, словно готовое быстро сгореть. Темнеет рано, потому что, в конце концов, теперь зима, несмотря на тепло. Температура упадет на двадцать градусов всего через полчаса. *Он никогда не умирал, он ждал тебя все эти годы. И теперь он вернулся.*

Сибил начинает плакать, пряча лицо, свое пылающее лицо, в ладонях. Она стоит, расставив ноги, как маленькая девочка, а прибой плещет вокруг нее, и вот туфли намокли, ноги тоже, она скоро задрожит от холода. *О, Сибил!*

Когда Сибил вернулась, то увидела господина Старра сидящим на песке. Он, казалось, потерял равновесие и упал, у его ног лежала трость, он уронил альбом, спортивная шапочка для гольфа съехала на сторону. Сибил, озадаченная, спросила, что случилось, она умоляла его признаться, не было ли у него сердечного приступа? А господин Старр слабо улыбался и говорил быстро, что не знает, что у него закружилась голова, что он почувствовал слабость в ногах и вынужден был сесть.

— Вдруг я переполнился вашими эмоциями! Что бы это ни было, — сказал он.

Он не пытался встать на ноги, а продолжал неуклюже сидеть. На его брюках и ботинках налип мокрый песок. Теперь Сибил стояла над ним, а он смотрел на нее, и в этот миг между ними... можно ли было это понять? Симпатия? Узнавание?

Желая разрядить ситуацию, Сибил засмеялась и протянула господину Старру руку, чтобы помочь подняться. Он тоже засмеялся, хотя был сильно растроган и смущен.

— Наверное, я совершаю слишком много непонятных поступков, не так ли? — спросил он.

Сибил взяла его за руку (Какая у него большая рука! Какие сильные пальцы, сомкнувшиеся вокруг ее пальцев!), и, когда он, благодарно глядя на нее, поднялся на ноги, она почувствовала его вес — взрослый и тяжелый мужчина.

Господин Старр стоял рядом с Сибил, не отпуская ее руку. Он сказал:

— Эксперимент был слишком успешным, по моему мнению! Я почти боюсь повторить его снова.

Сибил неуверенно ему улыбнулась. Он был приблизительно в возрасте ее отца, не так ли? Казалось, что сквозь шершавое болезненное лицо господина Старра проглядывало более молодое. Похожий на крючок шрам на лбу странно блестел на солнце.

Сибил вежливо вынула руку из руки господина Старра и опустила глаза. Она дрожала. Сегодня она совсем не бегала и пришла на встречу с господином Старром, чтобы позировать ему в блузке и юбке. Но он попросил: без чулок. Теперь ее ноги в сандалиях намочил прибой.

Словно не желая, чтобы ее слышали, Сибил сказала:

— Мне тоже так кажется, господин Старр.

Они поднялись по деревянным ступенькам на уступ, а там стоял лимузин господина Старра, черноблестящий, припаркованный неподалеку.

В такой час дня парк был людный. Мимо быстро прошла стайка веселых хихикающих школьников, но Сибил не обратила на них внимания. Она все еще была взволнована и расстроена, но в тоже время объята вдохновенным душевным подъемом. *Ты знаешь, кто он. Ты всегда знала.* Она видела, как господин Старр хромал рядом и слышала его нетерпеливую болтовню. Почему он не говорил с ней прямо, хотя бы раз?

За рулем лимузина сидел шофер в униформе, глядя прямо перед собой, точно в ожидании. На нем был картуз и белые перчатки. Его профиль застыл, как на старинной монете. Знал ли шофер о ней, подумала

Сибил, говорил ли господин Старр с ним о ней. Вдруг ее наполнил восторг — конечно, еще кто-то должен был знать.

Господин Старр сообщил, что, поскольку Сибил так терпеливо позировала, поскольку она более чем оправдала его ожидания, у него для нее есть подарок.

— Вот именно, в дополнение к вашей плате.

Он открыл заднюю дверь лимузина, достал квадратную белую коробочку и, застенчиво улыбнувшись, преподнес ей.

— О, что это? — воскликнула Сибил.

Они с тетей Лорой теперь редко обменивались подарками, это был ритуал из далекого прошлого. Приятно было вспомнить. Она подняла крышку коробки и увидела внутри красивую сумочку на длинной ручке, лайковую, цвета темного меда.

— О, господин Старр... спасибо, — сказала Сибил, доставая сумочку. — Это самая прелестная вещь, которую я когда-либо видела.

— Почему бы вам ее не открыть, дорогая? — предложил господин Старр, и Сибил ее открыла, обнаружив там деньги, совсем новенькие купюры, на которых сверху было написано: двадцать.

— Надеюсь, на этот раз вы не переплатили? — беспокойно поинтересовалась Сибил. — Я позировала гораздо меньше трех часов. Это несправедливо.

Господин Старр засмеялся, покраснев от удовольствия.

— Несправедливо в отношении кого? — спросил он. — Что значит справедливо? Мы делаем то, что нам нравится.

Сибил застенчиво подняла глаза на господина Старра и увидела, что он внимательно смотрит на нее, по крайней мере в уголках глаз появилось много морщин.

— Сегодня, дорогая, я настаиваю на том, чтобы отвезти вас домой, — сказал он улыбаясь. В его голосе появилась настойчивость, как-то связанная с подарком. — Скоро похолодает, а у вас промокли ноги.

Сибил колебалась. Она поднесла подарок к лицу, чтобы вдохнуть острый запах кожи: сумочка была высочайшего качества, такой у нее никогда не было. Господин Старр быстро огляделся, убеждаясь, что их никто не видит. Он все еще улыбался.

— Пожалуйста, садитесь в машину, Блейк! Теперь вы не можете считать меня незнакомцем.

Сибил все еще колебалась. Полудразня, она спросила:

— Вы знаете, что меня зовут не Блейк, не так ли, господин Старр? Как вы узнали?

Господин Старр рассмеялся, тоже дразнясь:

— Не так ли? Как же тогда ваше имя?

— А вы не знаете?

— Разве я должен знать?

— А разве вы не знаете?

Возникла пауза.

Господин Старр взял Сибил за запястье, легко, но твердо. Его пальцы обхватили ее руку, словно браслет от часов.

Господин Старр наклонился поближе, будто делись секретом:

— Вообще-то я слышал, как вы исполняли соло на замечательном рождественском празднике в школе. Должен признаться, что прокрался на репетицию, мое присутствие никого не удивило. И, кажется, я слышал, как хормейстер называл вас по имени. Вас зовут Сибил?

Услышав свое имя из уст господина Старра, Сибил ощутила головокружение. Она смогла только молча кивнуть.

— Верно? Я немного сомневался, что правильно расслышал. Красивое имя для красивой девушки. А Блейк... Блейк ваша фамилия?

— Да, — прошептала Сибил.

— Фамилия вашего отца?

— Нет. Не папина.

— А почему нет? Обычно бывает именно так.

— Потому что... — И здесь Сибил запнулась, сму-

шенная, не зная, что сказать. — Это фамилия моей мамы. Была.

— Ах, да! Понимаю. — Господин Старр засмеялся. — Вообще-то, если честно, думаю, что не понимаю, но мы обсудим это в другой раз, не так ли?

Он имел в виду, не сесть ли им в машину. Теперь он сильнее надавил ей на руку, и, хотя оставался любезен, как всегда, было очевидно, что терпение его на пределе. Его хватка оказалась неожиданно сильной.

Сибил стояла на обочине, готовая неохотно согласиться, и в то же время беспокойно думая, что, нет, она не может. *«Не теперь»*.

Поэтому Сибил отпрянула, нервно смеясь. Господин Старр вынужден был отпустить ее, разочарованно опустив уголки губ. Сибил поблагодарила его, объясняя, что хочет пройтись.

— Надеюсь увидеться с вами завтра... Сибил? — крикнул вдогонку господин Старр. — Да?

Но Сибил, прижав новую сумочку к груди, как прижимает к себе мягкую игрушку малыш, быстро уходила.

Следовал ли за ней на почтительном расстоянии черный лимузин?

Сибил охватило сильное желание оглянуться, но она сдержалась. Она пыталась вспомнить, доводилось ли ей когда-нибудь в жизни ездить в подобной машине, и предположила, что на похоронах ее родителей был, наверное, такой наемный лимузин с шофером, но ее не взяли на похороны. Не осталось никаких воспоминаний, связанных с этим, кроме странного поведения бабушки, тети Лоры и остальных взрослых, их скорби, но под этой скорбью скрывался сильный и безмолвный шок.

«Где мама, где папа?» — спрашивала она, а ответы всегда были одни и те же: «Ушли».

И плакать было бесполезно. И истерика не помогла. Маленькая Сибил ничего не могла ни сделать, ни сказать, ни придумать, чтобы изменить что-нибудь. Наверное, в ее жизни это был первый урок.

Но папа не умер, ты знаешь, что он жив, и он знает, зачем вернулся.

10. «Собственность»

Тетя Лора снова закурила! Снова по две пачки в день. И Сибил виновато понимала, что была тому причиной.

Потому что существовала лайковая сумочка. Тайный подарок, который Сибил спрятала в самом дальнем углу шкафа, завернутый в целлофан, чтобы запах не проник в комнату (и все же можно было почувствовать его, не так ли? Слабый, настойчивый запах, как духи). Сибил жила под страхом, что тетя Лора обнаружит сумочку и деньги. Хотя Лора Делл Блейк никогда не входила в комнату племянницы без приглашения, все-таки Сибил беспокоилась, что это случится.

У нее никогда в жизни не было никаких важных секретов от тети, и эта тайна будоражила и наполняла силой, но в то же время ослабляла ее своим детским отвращением.

Больше всего Лору тревожил возобновленный интерес к *этому*.

— О, родная, ты снова об *этом* думаешь? Почему?

«Это» был сокращенный эвфемизм* того, что Лора могла бы более жестко назвать «несчастный случай», «трагедия», «смерть родителей».

Сибил, которая раньше, насколько помнила Лора, проявляла к *этому* не более чем мимолетное любопытство, теперь была охвачена тем, что она назвала бы «нездоровый интерес». Откуда молчаливый растерянный взгляд? Откуда дрожащие, иногда скорбные губы? Однажды вечером, зажигая трясущимися пальцами сигарету, Лора напрямик спросила:

— Сибил, дорогая, у меня сердце разрывается на части. Что ты хочешь знать?

* Эвфемизм — непрямо, смягченное выражение. — *Прим. ред.*

Сибил ответила так, будто ждала именно этого вопроса:

— Мой папа жив?

— Что?

— Мой папа, Жорж Конте. Он... может быть... живой?

Вопрос повис между ними, и в течение долгих тяжелых минут казалось, что тетя Лора почти готова фыркнуть от возмущения, вскочить из-за стола и выйти из комнаты. Но она сказала, решительно тряхнув головой, не отводя взгляда от Сибил:

— Родная моя, нет. Он не жив.

Она замолчала, сердито выпустив дым через нос. Было впечатление, что она собиралась сказать еще что-то, но передумала. И все-таки, немного помолчав, она тихо произнесла:

— Ты не спрашиваешь про маму, Сибил. Что это значит?

— Я верю, что мама умерла, но...

— Но?..

— Мой... мой папа...

— Нет.

Сибил говорила запинаясь, щеки у нее горели:

— Я просто хочу знать. Хочу видеть могилу! Свидетельство о смерти.

— Пошлю запрос в Веллингтон на копию свидетельства о смерти, — медленно сказала тетя Лора. — Этого будет достаточно?

— А у тебя его здесь нет?

— Дорогая, зачем оно мне?

Сибил заметила, что пожилая женщина глядела на нее с сожалением и как бы со страхом. Запинаясь и заливаясь краской, Сибил пояснила:

— У тебя... в твоих бумагах. В твоих документах. Они заперты...

— Нет, дорогая моя.

Возникла пауза. Потом, всхлипывая, Сибил сказала:

— Я была слишком маленькая, чтобы присутствовать на их похоронах. Я никогда не видела. Как бы там

ни было, я никогда не видела. В том-то и дело. Говорят, похороны для того и устраиваются, чтобы показать всем умершего.

Тетя Лора потянулась к руке Сибил.

— Нет, причина не в этом, родная моя, — сказала она. — В Медицинском центре мы сталкиваемся с этим постоянно. Люди не верят, что их любимые умерли, они знают, но не хотят признавать этого. Потрясение слишком сильное, чтобы быстро оправиться от него. Можно, конечно... — Тетя Лора нахмурилась и помолчала. — Можно поверить в фантазию.

Фантазия! Сибил уставилась на свою тетку. *Но я же видела его. Я знаю, я верю ему, а не тебе!*

Казалось, на какое-то время конфликт был улажен. Тетя Лора быстро загасила сигарету и сказала:

— Я виновата... наверное. Я лечилась года два после того, что случилось, и просто не хотела больше говорить об *этом*. Когда ты начала спрашивать, спустя годы, я умалчивала. Я все понимаю, но, видишь ли, рассказывать-то нечего. Мелани мертва, и он тоже. И все это случилось так давно.

В тот вечер Сибил читала книгу про человеческую память, которую взяла в публичной библиотеке.

«Известно, что люди «владеют» бесконечным числом скрытых воспоминаний, некоторые из которых можно активизировать в определенных условиях, а также воздействуя на точки коры головного мозга. Такие воспоминания прочно сохраняются центральной нервной системой и обыкновенно возрождаются мнемоническими стимуляторами — словами, знаками, звуками и особенно запахами. Феномен «*déjà vu*» тесно связан с этими явлениями, когда возникает «двойственное сознание», когда возникает ощущение, что это событие уже происходило. В основном, однако, в человеческой памяти происходит дальнейшая переоценка, отбор и фантазирование».

Сибил захлопнула книгу. Она задумалась в десятый раз над слабыми красными отметинами на своем запя-

стье, где господин Старр — тот, кто называл себя Старром, — держал ее, не сознавая своей силы.

Сибил тогда даже не поняла, как сильны были его пальцы, сомкнувшиеся вокруг ее руки.

11. Господин Старр или господин Конте?

Завидев его, она поняла, что он ждал ее. Первым порывом было сразу подбежать и наблюдать с детским удовольствием, как при виде ее засветится его лицо. *Здесь! Я здесь!* В ней была скрыта огромная сила, в ней, семнадцатилетней Сибил Блейк, сила, способная влиять на человека, которого она едва знала и который не знал ее.

«Потому, что он меня любит. Потому, что он мой отец. Вот почему.

А если он не мой отец...»

Был вечер унылого дня. Но парк все-таки полон людей — в аллеях мелькали бегуны в красочных костюмах, Сибил среди них не было. Она плохо спала ночью, думая... о чем? Об умершей матери, которая была такой красивой? О папе, лица которого не могла вспомнить (хотя, конечно да, оно было запечатлено глубоко в ее памяти)? О тете Лоре, которая говорила или не говорила ей правду и которая любила ее больше всего на свете? И о господине Старре, разумеется.

Или о господине Конте.

Сибил спряталась от взора господина Старра, когда он с улыбкой надежды оглядывался вокруг. Он был со своей байковой сумкой и опирался на трость, в простой темной одежде, без шапки, его серебряные волосы сияли. Если бы Сибил стояла ближе, то увидела бы, как в его темных очках играет свет. Она заметила лимузин, припаркованный на бульваре в квартале от парка.

Мимо господина Старра пробежала молодая женщина, длинноногая, с развевающимися волосами, и он

внимательно смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась из виду. Потом повернулся, нетерпеливо поводя плечами, и посмотрел в сторону улицы. Сибил видела, как он взглянул на часы.

Ждет тебя. Ты это знаешь.

И вдруг Сибил решила не подходить к господину Старру. К тому, кто называет себя Старром. Она изменила решение в последний момент, не подготовившись к поступку. Быстро уходя, она прерасно понимала, что это было правильное решение. Сердце ее сильно билось, чувства обострены, будто она едва избежала большой опасности.

12. Судьба Жоржа Конте

По понедельникам, средам и пятницам Лора Делл Блейк посещала класс аэробики, и в эти дни она редко возвращалась домой раньше семи вечера. Сегодня была среда, четыре часа дня. Сибил прикинула, что у нее более чем достаточно времени, чтобы просмотреть бумаги и разложить все по местам до прихода тетки.

Ключи от дома и шкафов тетя Лора хранила в верхнем ящике стола, а один из ключей был от маленького алюминиевого ящичка, где хранились личные бумаги и документы. Хотя связка была большая, Сибил без труда нашла нужный ключ.

— Тетя Лора, прости меня, пожалуйста, — прошептала она.

Ящик нарушал доверие к ней ее тетки, потому что никогда в жизни Сибил Блейк не совершала ничего подобного и никогда не злоупотребляла ее любовью. Она чувствовала, что, отпирая ящик и роясь в его отсеках, она совершала непоправимую ошибку.

Ящик был забит папками, большинство из которых было сильно истрепано. Первым впечатлением Сибил стало разочарование: там лежали сотни рецептов, финансовых деклараций да старые справки о доходах.

Потом она обнаружила пачку писем пятидесятых годов, когда тетя Лора была еще девочкой. Несколько любительских снимков, фото для документов. Одна фотография особенно красивая. Несовершеннолетнего вида девушка в шапочке и школьном платье, улыбающаяся в камеру сочными губами. На обороте написано «Мелани, 1969». Сибил вглядывалась в это изображение своей мамы — мама задолго до того, как стала ее мамой, — и подумала с гордостью и тревогой, что, да, вот она таинственная «Мелани», неужели это была та самая «Мелани», которую знала маленькая Сибил? Или это просто какая-то ученица, приблизительно одного с Сибил возраста, с которой, судя по виду и самовлюбленному выражению лица, Сибил никогда бы не дружила.

Дрожащими руками она положила фотографию на место, благодарная, что тетя Лора сохранила так мало воспоминаний о прошлом — избавила ее от лишних потрясений и открытий.

Никаких свадебных фотографий Мелани Блейк и Жоржа Конте. Ничего.

Никаких фотографий, насколько поняла Сибил, ее отца «Жоржа Конте». Совсем ничего.

Была только единственная фотография Мелани с маленькой Сибил, которую Сибил рассматривала очень долго.

Снимок был сделан летом, рядом с домом на берегу озера. Прелестная Мелани в белом платье с ребенком на руках, обе глядели в камеру, словно только что кто-то позвал их, чтобы они улыбнулись, — Мелани улыбается широко, эффектно и в то же время очень мило, маленькая Сибил смотрит с раскрытым ртом.

Здесь Мелани выглядела немного старше, чем на первом снимке: ее светло-каштановые волосы — множество оттенков коричневого и русого цвета — были до плеч с завитыми концами, старательно покрашенные глаза сильно выделялись на сердцевидном лице.

На траве виднелась тень мужской головы. Наверное, «Жорж Конте». Недостающая фигура.

Сибил рассматривала этот смятый и выцветший снимок, не зная, что подумать, и, странно, почти ничего не ощущала. Ребенок на фото действительно она, Сибил Блейк? Но ведь она ничего не могла вспомнить?

Или она на самом деле помнила, где-то глубоко в памяти, в неизгладимых воспоминаниях?

Теперь она «запомнит» маму как хорошенькую, самоуверенную молодую женщину с этого снимка. Этот цветной образ заменит все остальные.

Неохотно Сибил засунула фотографию обратно в пакет. Как бы ей хотелось оставить ее себе! Но тетя Лора обнаружит кражу. А тетю Лору надо защитить от того, чтобы она узнала, как ее собственная племянница рылась в ее вещах, нарушив доверие между ними.

Папки с личными бумагами были немногочисленны и поэтому быстро просмотрены. Ничего имеющего отношение к несчастному случаю. «Трагедии»? Нет даже свидетельства о смерти? Сибил заглянула в соседние отделения с растущим отчаянием. Совершенно ничего о том, кто был или есть ее отец. Вопрос действительно неразрешимый — почему тетя Лора уничтожила все о нем, даже в своих личных бумагах. На секунду Сибил усомнилась, был ли вообще «Жорж Конте». Может, Мелани умерла незамужней и в этом состояла тайна? Мелани умерла каким-нибудь ужасным образом, ужасным, с точки зрения Лоры Делл Блейк, поэтому от Сибил все скрывали, даже спустя столько лет! Сибил вспомнила, как однажды, несколько лет тому назад, тетя Лора откровенно сказала:

— Тебе нужно знать лишь то, что твоя мама... и папа... не хотели бы, чтобы ты выросла в тени их смерти. Они бы желали, особенно мама, чтобы ты была счастлива.

Частью этого счастья, полагала Сибил, было то, чтобы она выросла совершенно нормальной американской девушкой без прошлого или хотя бы без ранящего ее прошлого, в солнечном, безмятежном краю.

— Но я не хочу быть счастливой, я хочу все знать, — произнесла она вслух.

Остальные бумаги, туго спрессованные, оказались вовсе бесполезными, и из них она тоже ничего не узнала.

Ужасно разочарованная, Сибил захлопнула ящик и заперла его.

Но были ли еще ящички в столе? Она помнила, что они не запирались, поэтому определенно не содержали ничего особенного. Но теперь она подумала, что если они и не заперты, то все равно в одном из них может быть что-нибудь важное для тети Лоры, что она хотела бы утаить. Поэтому быстро, но безо всякой надежды Сибил осмотрела их: беспорядочные, забитые бумагами, вырезками, чеками за коммунальные услуги, старыми программками спектаклей, которые они посетили в Лос-Анджелесе, и... в самом большом из отделений, на дне, в смятом конверте с аккуратной надписью «Медицинская страховка» Сибил нашла то, что искала.

Сильно пожелтевшие газетные вырезки, некоторые склеены высохшей клейкой лентой.

«Веллингтон, штат Вермонт.

Муж застрелил свою жену.

Неудачная попытка самоубийства».

«Четвертого июля местный житель во время ссоры убил свою жену на озере Шамплейн».

«Жорж Конте, тридцать один год, арестован за убийство».

«Юрист из Веллингтона заключен в тюрьму за убийство жены двадцати шести лет».

«Суд над Конте начался.

Выдвинуто обвинение в преднамеренности».

«Свидетельствуют родственники».

Таким образом Сибил Блейк узнала менее чем за шестьдесят секунд истину о трагедии, которую тетя Лора утаивала от нее в течение почти пятнадцати лет.

Ее отца действительно звали Жорж Конте, и этот человек застрелил ее мать, Мелани, в моторной лодке на озере Шамплейн, а потом выбросил тело за борт. Он пытался убить и себя, но лишь сильно поранился выстрелом в голову. После операции он выжил, потом его арестовали, судили за убийство второй степени, осудили на двенадцать-пятнадцать лет, отправили в тюрьму Хартшил в Вермонте.

Сибил поворошила онемевшими пальцами пачку газетных вырезок. Значит, вот как! Вот оно что! Убийство, попытка самоубийства! Не просто пьянство и «несчастный случай» на озере.

Похоже, тетя Лора засунула эти вырезки в конверт в спешке или с отвращением. Некоторые фотографии были оторваны, остались только надписи — «Мелани и Жорж Конте, 1975», «Свидетель обвинения Лора Делл Блейк покидает здание суда». На снимках Жорж Конте действительно напоминал «Господина Старра», но только моложе. Темноволосый, с более тяжелыми челюстями, на лице выражение самоуверенности и надежды. Вот твой отец. *«Господин Старр». Недостояющий персонаж.*

Было еще несколько фотографий Мелани Конте, включая и сделанную для альбома выпускников школы, и еще одна, где она в длинном платье с красиво уложенными волосами — «Женщина из Веллингтона убита ревнивым мужем». На свадебной фотографии очень молодая, красивая и счастливая пара, на другом снимке «Семья Конте в своем загородном доме», фотография с изображением Жоржа Конте, адвоката, после обвинения в убийстве второй степени — осужденный человек, измученный, подавленный, уводимый в наручниках двумя угрюмыми полицейскими. Сибил поняла, что ужасное событие в ее семье было огромной сенсацией в Веллингтоне, в штате Вермонт, и что сенсация эта стала частью того кошмара и позора, которые от нее скрывали.

Что сказала тетя Лора? Она потом лечилась, поэтому не хотела будить воспоминаний.

И она сказала, что все произошло очень давно.

Но она лгала. Глядя в глаза Сибил, она лгала и лгала, настаивая на том, что отец Сибил умер, зная, что он жив.

В то время, когда у Сибил были причины думать, что он жив.

Меня зовут Старр! Не судите слишком быстро!

Сибил читала и читала старые вырезки. Их было около двадцати. Она поняла две главные вещи: что ее отец Жорж Конте был из состоятельной семьи и нанял очень хорошего адвоката для защиты и что горожане отлично посмаковали этот скандал. Хотя, без сомнения, они выразили глубочайшее сочувствие скорбящей семье Блейков. История красавицы, убитой «ревнивым» мужем, выбросившим ее тело из дорогой моторной лодки в озеро Шамплейн — да кто же мог устоять? Средства массовой информации освещали трагедию с мельчайшими подробностями.

Теперь ты понимаешь, почему нужно было менять фамилию. Не «Конте» — убийца, а «Блейк» — жертва, является твоим родителем.

Сибил переполнял дочерний гнев и невыразимая скорбь. Почему?! Почему этот человек по имени Жорж Конте жестоким поступком разрушил все?!

Согласно показаниям свидетелей, Жорж Конте «беспричинно» ревновал свою жену. Он несколько раз устраивал публичные скандалы и много пил.

Четвертого июля, в день убийства, супруги долго выпивали с друзьями в клубе «Шамплейн», а потом отправились по озеру на своей лодке в свой загородный дом, в трех милях к югу. На полпути возникла ссора, и Жорж Конте застрелил жену из револьвера тридцать второго калибра, который, как он признался впоследствии, приобрел с целью «показать ей, что не шутит». Затем он толкнул тело за борт и продолжал путь к своему дому, где, «обезумевший», пытался посадить в лодку свою двухлетнюю дочь Сибил, говоря, что ее ждет мама. Но бабушка ребенка и ее тетя, родствен-

нищы убитой, помешали ему сделать это. Он вернулся в лодку, отплыл на значительное расстояние, выстрелил себе в голову и упал на дно лодки. Бригада «Скорой медицинской помощи» доставила его в Веллингтонский госпиталь, где его жизнь была спасена.

«Зачем, зачем его спасли?» — горько думала Сибил.

Она никогда не испытывала такого потрясения, такой злости, какую чувствовала к этому Жоржу Конте — «господину Старру». Он и ее хотел убить, конечно хотел, поэтому и поспешил домой, чтобы добраться до нее, говоря, будто мама хочет ее видеть. Если бы бабушка и тетя Лора не остановили его, он бы и Сибил застрелил и бросил бы тело в озеро, а потом выстрелил бы в себя, но не убил бы. *Неудавшаяся попытка самоубийства.* А потом, выздоровев, подал бы в суд апелляцию, возражая против обвинения в убийстве.

Обвинение в убийстве второй степени и приговор ко всего лишь двенадцати-пятнадцати годам тюремного заключения. И вот он на свободе: Жорж Конте свободен. Теперь как «господин Старр», художник-любитель, почитатель чистого и прекрасного. Он нашел ее и пришел за ней,

И он знает зачем.

13. Твоя мама ждет тебя

Сибил Блейк сложила вырезки обратно в конверт, так предусмотрительно надписанный «Медицинская страховка», и вернула его на дно ящика. Она старательно его заперла и, хотя была возбуждена, огляделась, чтобы убедиться, все ли на месте, не оставила ли она случайно улики своего пребывания в комнате.

Да, она воспользовалась доверием тети Лоры. Но тетя Лора обманывала ее все эти долгие годы. И так убедительно.

Сибил поняла, что теперь никогда никому не поверит, не поверит до конца. Она поняла, что те, кто любят, могут и будут обманывать. Они действуют из

морального убеждения, что эта ложь необходима, и, возможно, это правда — но все же они обманывают!

Из всех разумных шагов, которые Сибил Блейк могла предпринять, этот был самым разумным: она могла бы предъявить Лоре Делл Блейк обнаруженные доказательства, свою осведомленность о былой трагедии и свой рассказ про «господина Старра».

Но она так его ненавидела! И тетя Лора его ненавидела. А, ненавидя так сильно, могли ли они защитить себя от него, если бы он начал действовать? У Сибил теперь не было сомнений, что отец вернулся завершить свое дело.

Если Жорж Конте отсидел срок и вышел на свободу, если он был волен передвигаться по стране, как все, то, конечно, у него было право приехать в Гленкоу в Калифорнии. Приблизившись к Сибил Блейк, своей дочери, он не совершил преступления. Он не угрожал ей, не напугал, вел себя по-доброму, вежливо, был щедр. Вот только почему-то назвался другим именем (в глазах тети Лоры это выглядело бы невероятно, ужасно).

«Господин Старр» — это ложь, цинизм. Но никто не принуждал Сибил позировать ему. Она делала это по своей воле и даже с радостью. Преодолев первоначальную робость, она желала работать.

Потому что «господин Старр» соблазнил ее... почти.

Сибил подумала, что, если бы она рассказала тете про «господина Старра», их жизнь необратимо изменилась бы. Тетя Лора расстроилась бы до истерики. Она бы обратилась в полицию. В полиции ей бы отказали или, еще хуже, высмеяли. А что, если тетя Лора сама захочет противостоять «господину Старру»?

Нет, Сибил не собиралась впутывать тетю в окончание старой истории.

— Я слишком сильно люблю тебя, — прошептала Сибил. — Ты все, что у меня есть.

Чтобы не видеть тетю Лору в тот вечер или, скорее, чтобы не быть увиденной ею, Сибил легла спать по-

раньше, оставив на кухонном столе записку о том, что у нее легкая простуда. На следующее утро, когда тетя Лора заглянула в комнату Сибил, чтобы спросить, как она, Сибил слабо улыбнулась и сказала, что ей лучше, но все же она решила побыть дома.

Бдительная тетя Лора приложила ладонь ко лбу Сибил, который действительно казался горячим, посмотрела в ее расширенные глаза, спросила, не болит ли горло, голова, не расстроен ли желудок. На это Сибил ответила, что нет и нет, у нее просто слабость и ей хочется спать. Тетя Лора поверила, принесла ей лекарство, фруктовый сок, тост с медом и тихонько удалилась.

Сибил подумала, увидит ли она тетю Лору снова.

Ну конечно, увидит, она не сомневалась, она заставит себя сделать то, что должно быть сделано.

Разве мама не ждала ее?

Холодный ветреный день. На Сибил надеты теплые брюки, шерстяной пуловер и кроссовки. Но сегодня она не бегала. С плеча свисала лайковая сумочка на длинной ручке.

Ее красивая лайковая сумочка с таким особенным запахом.

Сумочка, в которую перед выходом из дома она положила самый острый из тетиных кухонных ножей.

В тот день Сибил Блейк пошла не в школу, а в парк, приблизительно в три сорок пять, в ее обычное время. Она заметила длинный элегантно сверкающий черный лимузин на улице неподалеку, и там был ожидающий ее господин Старр.

Как он оживился, завидев ее! Так же, как раньше. Сибил показалось странным, что для него ничего не изменилось.

Она представила себя все еще не знающей, невинной. Легкая добыча.

Он радостно машет ей рукой.

— Здравствуйте, Сибил!

Смеет называть ее так — «Сибил».

Он поспешил к ней, хромая и опираясь на трость. Сибил улыбнулась. Не было причины не улыбаться, поэтому она это сделала. Она думала, как ловко господин Старр пользовался своей тростью, как мастерски. После травмы головы? Или была другая травма, в тюрьме?

Эти годы в тюрьме, когда было время подумать. Не раскаяться... Казалось, Сибил знала, что он не раскаялся. Но просто подумать...

Чтобы взвесить ошибки и продумать, как их исправить.

— Ну, моя дорогая, здравствуйте! Знаете, я скучал без вас, — заявил господин Старр, и в его голосе послышался упрек, хотя он продолжал улыбаться, показывая свою радость. — Теперь, когда вы здесь, не буду спрашивать, где пропадали. И с вами ваша прелестная сумочка...

Сибил вгляделась в бледное, напряженное, нервное лицо господина Старра. Поначалу ее реакция была медленной, словно она оцепенела, будто она, несмотря на то что все отрепетировала, не совсем проснулась — точно лунатик.

— И... сегодня вы будете мне позировать? На наших новых улучшенных условиях?

— Да, господин Старр.

При господине Старре была байковая сумка, альбом для рисунков, угольные карандаши. Он был без головного убора, и замечательные серебряные волосы трепал ветер. На нем была немного несвежая белая рубашка, синий шелковый галстук и уже знакомый твидовый пиджак, а также сияющие черные ботинки, напоминавшие Сибил о похоронах. Она не видела его глаз за темными стеклами, но знала по сморщенной коже у глаз, что он пристально и жадно смотрел на нее. Она была его натурщицей, а он — художник. Когда можно приступить к работе? Теперь его пальцы сжимались от нетерпения.

— Думаю, однако, что мы исчерпали возможности этого парка, не так ли? Он очень мил, но прост, дорогая. И так примитивен, — вдохновенно говорил

господин Старр. — Даже морской берег здесь, в Гленкоу... Ему как бы не хватает амплитуды. Поэтому я думал... я надеялся... сегодня мы можем внести немного разнообразия в нашу работу и отправиться на побережье. Недалеко... всего несколько миль. Подальше от людей, чтобы не отвлекаться. — Видя нерешительность Сибил, он ласково добавил: — Плачú вдвойне, Сибил, конечно. Теперь вы знаете, что мне можно доверять, не так ли? Да?

Этот странный, уродливый маленький шрам на лбу господина Старра. Его нежная розовая кожа сняла в белесом свете. Сибил задумалась, было ли это то место, где вошла пуля.

Господин Старр вел Сибил в сторону обочины, где стоял лимузин, мотор работал почти беззвучно. Он открыл заднюю дверцу. Сибил, сжимая лайковую сумочку, заглянула в мягкое темное пространство. Мгновение ее сознание было пусто. Она словно стояла на вышке, готовая нырнуть в воду, но не зная, как там очутилась и почему. Знала только, что обратно пути нет.

Господин Старр улыбался с радостью и надеждой.

— Ну так что же? Сибил?

— Да, господин Старр, — сказала Сибил и села в машину.

ЧАСТЬ III

СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Потому, что это было милосердие.

Потому, что Бог даже в своей жестокости иногда бывает милосердным.

Потому, что Венера была в созвездии Стрельца.

Потому, что ты смеялся надо мною, над моей судьбой, над тем, что пророчили звезды. Над моей надеждой.

Потому, что он плакал, ты не знаешь, как он плакал.

Потому, что в такие минуты его маленькое и горячее личико было искажено, из носа текло, а глаза болели.

Потому, что в такие моменты он был на стороне матери, а не на твоей. Потому, что я хотела спасти его от этого позора.

Потому, что он помнил тебя, он знал слово *папа*.

Потому, что, смотря телевизор, он показывал пальчиком на мужчину и говорил: «Папа?..»

Потому, что лето было таким долгим, без дождей. Жаркими ночами ярко вспыхивала молния, без грома.

Потому, что в тишине по ночам стрекотали летние насекомые.

Потому, что днем час за часом работали сотрясающие землю машины и дробилки, спиливающие лес рядом с игровой площадкой.

Потому, что красная пыль лезла в глаза и в рот.

Потому, что он плакал: «Мама!» Да так, что разрывалось сердце.

Потому, что в последний понедельник сломалась стиральная машина, громкий шум напугал меня, грязная мыльная вода не выливалась.

Потому, что в свете лампы над головой он увидел меня, держащую мокрые простыни и кричащую: «Что же делать? Что делать?»

Потому, что снотворное, которое они мне теперь дают, сделано из муки и мела, я уверена.

Потому, что я любила тебя больше, чем ты меня. С самого начала, когда твои глаза посмотрели на меня, как огонь свечи.

Потому, что я не знала этих глаз. Да, я знала, но гнала эту мысль.

Потому, что это был позор. Любить тебя и знать, что ты не полюбишь меня так, как я хочу.

Потому, что мои заявления на работу высмеивают за грамматические ошибки и рвут на мелкие кусочки, как только я уйду.

Потому, что они мне не верят, когда я перечисляю свои специальности.

Потому, что после его рождения мое тело обезображено, боль не проходит.

Потому, что я знаю, это не его вина, и даже от этого я не могу его избавить.

Потому, что даже в то время, когда он был зачат (какие счастливые были мы тогда! Такие счастливые, я уверена! Лежа вдвоем на кровати, покрытой вельветовым покрывалом, на этой узкой шаткой кровати, слушающая, как шумит дождь по крыше, которая спускалась так низко, что тебе, такому рослому, приходилось нагибаться при входе. Снаружи крыша, со своей потемневшей черепицей, казалась вечно мокрой и похожей на нахмуренные брови над глазами окон третьего этажа, глаза эти были косые. Мы шли домой с университетского собрания в Харди, ты из геологической лаборатории или из библиотеки, а я из бухгалтерии, где были ужасные, едва заметно мигающие лампы, от которых у меня слезились глаза, и я была так счастли-

ва, что твоя рука у меня на талии, а моя обнимала тебя. Как хорошая парочка, как любая студентка со своим другом. Мы шли домой. Да, это был дом. Я всегда думала, что это был дом, мы смотрели на окна и смеялись, спрашивая друг друга, кто там мог жить? Как их зовут? Кто они? Эта маленькая уютная таинственная комната под самой крышей, где она опускается совсем низко и с нее капает грязная дождевая вода. Я слышу теперь, как она стучит по крыше, но лишь когда засыпаю посреди дня, не раздеваясь и слишком усталая, а когда просыпаюсь, то дождь уже прошел, только землеройные машины и дробилки в лесу, и мне приходится признать, что я в другом времени), да, я знала.

Потому, что ты не хотел его рождения.

Потому, что он так кричал, что я слышала этот крик сквозь дверь, сквозь все двери.

Потому, что я не хотела, чтобы он был Мамочкой, я хотела, чтобы он был Папочкой, когда вырастет.

Потому, что эта мочалка в моих руках подсказала мне, как все должно произойти.

Потому, что щеки приходят ко мне не от тебя, а от адвоката.

Потому, что, открывая конверт трясущимися руками, с глазами так сильно переполненными надеждой, я сама себя позорно обнажаю уже в который раз.

Потому, что он был свидетелем этого позора, он все видел.

Потому, что в два года он был слишком мал, чтобы понять.

Потому, что даже тогда он все знал.

Потому, что его рождение было знаком, и случилось в середине месяца Рыб.

Потому, что в какой-то степени он был как его отец — это понимание в его глазах, которое пронизывало меня, его насмешка надо мной.

Потому, что однажды он посмеется надо мной, так же, как смеялся ты.

Потому, что в телефонной книге твой телефон не значится, а телефонист ни за что мне не скажет.

Потому, что тебя нет там, где я могла тебя найти.

Потому, что твоя сестра лгала мне прямо в лицо, чтобы сбить меня с пути.

Потому, что я верила ей как другу, которым однажды она была для меня, но, как оказалось, вовсе им и не была.

Потому, что я боялась любить его слишком сильно и в своей слабости пыталась уберечь его от бед.

Потому, что его плач разрывал мое сердце, но и приводил меня в ярость, поэтому я боялась наложить на него руки, бешено и неожиданно для себя.

Потому, что он вздрагивал при виде меня. Этот его нервный взгляд.

Потому, что он всегда ранил себя, он был такой неуклюжий, падал с качелей и ударялся головкой о железную раму, да так, что никто из мам не замечал и не кричал: «О, смотрите! Посмотрите, ваш сын разбился в кровь!» И тогда, на кухне, хныкая и толкая меня, когда я была в плохом настроении, потянулся и схватил ковшик с кипятком и чуть не перевернул его на себя, прямо в лицо, а я потеряла над собой контроль и отшлепала его, трясая за руку: «Негодный! Негодный! Негодный мальчишка!» Я вопила во весь голос и не беспокоилась, что кто-то услышит.

Потому, что в тот день в суде ты отказался посмотреть на меня, твое лицо закрылось, как кулак, и у адвоката тоже, точно я грязь у вас под ногами. Словно он вовсе не был твоим сыном, но ты готов подписать бумаги, ты же такой благородный.

Потому, что зал суда не был похож на то, что я ожидала, — не большой и красивый, как по телевизору, а простая комната со столом судьи и тремя рядами по шесть стульев, и ни одного окна. Вдобавок эти мигающие тошнотворно-желтоватые флуоресцентные трубки, от которых болели глаза, поэтому я была в темных очках, отчего судья ошибочно плохо обо мне подумал. Я чихала, всхлипывала, вытирала нос, нервно хихикала при каждом вопросе, стыдясь своего возраста, имени, поэтому ты глядел на меня с отвращением, как и все остальные.

Потому, что они были на твоей стороне. Я ничего не могла изменить.

Потому, что, выделив мне пособие на воспитание ребенка, ты имел право уехать.

Потому, что я не могла последовать за тобой.

Потому, что он писался, постоянно, несмотря на свой возраст.

Потому, что я была во всем виновата. Я была виновата.

Потому, что моя собственная мать кричала на меня по телефону. Она сказала, что не могла помочь мне в жизни. «Никто не сможет помочь тебе!» Мы орали друг другу такое, от чего у нас перехватило дух, и в конце концов расплакались. Потом я швырнула телефонную трубку, зная, что отныне у меня нет больше матери, а после, погрузив, поняла, что так лучше.

Потому, что однажды он это узнает, и от этого ему будет больно.

Потому, что волосы у него были моего цвета, и глаза тоже. Его левый глаз — слабое место.

Потому, что, когда это почти случилось — на него чуть не пролилась кипящая вода, — я увидела, как будет легко. Как, если бы он не закричал, то соседи ничего бы не узнали.

Потому, что, да, они узнают, но когда я захочу этого.

Потому, что тогда и ты узнаешь. Только тогда, когда я захочу этого.

Потому, что я тогда смогу поговорить с тобой. Может, напишу письмо, которое перешлет тебе твой адвокат или твоя сестра. Может, пообщаюсь с тобой по телефону, или даже с глазу на глаз.

Потому, что тогда ты будешь вынужден сделать это.

Потому, что, хотя ты его не любил, ты не сможешь избежать его.

Потому, что у меня открылось кровотечение, продолжавшееся шесть дней, а потом мазалось еще дня три или четыре.

Потому, что, промокая кровь туалетной бумагой и сидя на унитазе с трясущимися руками, я думаю о тебе, у которого никогда не течет кровь.

Потому, что я гордая женщина, я презираю твою щедрость.

Потому, что я недостойная мать. Потому, что я так устала.

Потому, что копающие и пилящие деревья машины невыносимы днем, а по ночам кричат насекомые.

Потому, что невозможно уснуть.

Потому, что в последние несколько месяцев он мог заснуть только со мной в моей постели.

Потому, что он плакал: «Мамочка!.. Мамочка, не надо!»

Потому, что он вздрагивал при виде меня, когда не было на то причины.

Потому, что аптекарь забрал рецепт и надолго ушел. Я знала, что он кому-то звонит.

Потому, что в аптеке, где я покупала лекарства в течение года, делали вид, что не знают моего имени.

Потому, что в овощном магазине кассирши, ехидно улыбаясь, глядели на меня и на него, повисшего на моей руке и заливавшегося слезами.

Потому, что они шептались и смеялись за моей спиной, а я слишком гордая, чтобы реагировать.

Потому, что в такие моменты он был со мной, он был свидетелем.

Потому, что у него никого не было, кроме мамочки, а у его мамочки не было никого, кроме него. А это так тоскливо.

Потому, что с прошлого воскресенья я поправилась на семь фунтов, и брюки на мне не сходятся.

Потому, что я ненавижу свое сало.

Потому, что глядя на меня, ты отвернешься от отвращения.

Потому, что красивой я была только для тебя. Почему этого недостаточно?

Потому, что в тот день небо заволочло облаками цвета сырой печенки, но дождя не было. От жары

бесшумно сверкала молния, пугая меня, но дождя не было.

Потому, что его левый глаз плохо видел. Так будет всегда, пока не сделают операцию по укреплению мышцы.

Потому, что я не хотела причинить ему боль или напугать его во сне.

Потому, что ты за это заплатишь. Чек от адвоката и больше ничего, ни слова.

Потому, что ты ненавидел его — своего сына.

Потому, что ты уехал. В дальний конец страны, и у меня есть основания верить в это.

Потому, что, перестав плакать, он лежал у меня на руках так тихо, и только одно сердце билось между нами.

Потому, что я знала, что не смогу избавить его от боли.

Потому, что шум на игровой площадке ранил наши уши, а назойливая красная пыль лезла в глаза и рот.

Потому, что я так устала отмывать его: между пальцами, под ногтями, в ушах, шею и во многих других интимных местах.

Потому, что я испытывала боль от спазмов в животе. Я была в панике: менструация началась так рано.

Потому, что я не могла избавить его от насмешек более старших детей.

Потому, что после первой ужасной боли он больше никогда ее не почувствует.

Потому, что в этом состоит милосердие.

Потому, что Божье милосердие для него, а не для меня.

Потому, что не было никого, кто мог остановить меня.

Потому, что у соседей был громко включен телевизор, и я знала, что они не услышат, даже если он сумеет закричать с мочалкой во рту.

Потому, что тебя не было рядом со мной, чтобы остановить. Не было.

Потому, что, в конце концов, никто не может спасти нас.

Потому, что моя собственная мать предала меня.

Потому, что во вторник снова надо платить за жилье, а это первое сентября. И к тому времени меня уже не будет.

Потому, что его тельце, завернутое в стеганое одеяло, было нетяжелым, ты помнишь это одеяло, я знаю.

Потому, что мочалка у него во рту намочила от слюны, а потом высохла по краю, не показывая признаков дыхания.

Потому, что, чтобы выздороветь, необходимо беспомощество и забвение.

Потому, что он плакал, когда не надо и не плакал, когда было надо.

Потому, что вода в большом котле на первой конфорке закипала медленно, вибрируя и шумя.

Потому, что кухня была влажная от пара, а окна плотно закрыты. Температура должна была быть сто градусов.

Потому, что он не сопротивлялся. А когда сопротивлялся, то было уже поздно.

Потому, что я надела резиновые перчатки, чтобы не ошпариться.

Потому, что я знала, что не надо паниковать, и я была спокойна.

Потому, что я любила его. Потому, что любовь так сильно ранит.

Потому, что я хотела рассказать тебе все это. *Просто так*

ДОВЕРЬТЕСЬ МНЕ

Это случилось в начале второго года после Указа, когда прокатилась первая волна арестов, штрафов и заключений в тюрьму. Своим чередом происходили частые смерти. И только самые отчаянные женщины могли принять новые условия и завести детей, как предписывал государственный Закон «О морали».

У нее просто не было выбора: студентка, без денег и без надежды найти работу после окончания учебы. Ее мать, разведенная и нищая, будет просто разорена. Она никак не могла иметь ребенка, и у нее его не будет.

— *Я знаю, что делать.*

Решение это наполнило ее отчаянной и уверенной отвагой, заглушив страх.

Но проходили недели, а она продолжала боязливо и осторожно выведывать, где найти врача, готового сделать противозаконную операцию. Она говорила об этом только с теми подругами, кому доверяла.

По Закону «О материнстве» даже такие расспросы рассматривались как судебно наказуемый проступок. Ее могли оштрафовать на тысячу долларов и выгнать из колледжа.

Не могла она доверять и молодому человеку, от которого забеременела, своему любовнику. Вернее, он был не совсем ее любовником, а так, знакомым. Те-

перь она его даже избегала. Он ничего не знал про ее жизнь. Их общую ошибку она полностью возьмет на себя.

Ходила также слухи о мужчинах, ставших доносчиками «Бюро медицинской этики», которые предавали даже своих жен, просто так, от злости. И еще из жадности: информаторам платили до пятисот долларов за каждый арест.

Даже с друзьями, скрывая свое отчаяние, она говорила осторожно, употребляя определенные термины.

— У меня есть подруга, которая совершила ошибку, и ей очень нужна помощь...

Таким образом, в начале второго триместра она пришла к доктору Найту.

«Я не могу оставить все как есть, нет, через час это закончится, и я свободна», — думала она, взбираясь по шатким деревянным ступенькам в кабинет доктора Найта с черного хода многоэтажного дома на улице Сауф Мейн. Был рабочий день, половина десятого вечера. В сумке у нее лежали гигиенические салфетки, смена белья и восемьсот долларов наличными. Одолжила у всех, кого знала.

Она позвонила, через минуту дверь приоткрылась и появился доктор Найт.

— Входите. Быстрее. Деньги принесли?

Она шагнула внутрь. Доктор Найт захлопнул дверь и запер ее. Он курил. От табачного дыма у нее начало резать глаза. Воздух в кабинете был спертый, затхлый, слегка пахло чем-то сладковатым, тухлым, мусором и забитой канализацией.

К своему удивлению, она увидела, что у него не было комнаты ожидания, ни медсестры или ассистента. Нечто похожее на кухонный стол стояло посередине холодной и плохо освещенной комнаты под мощным светильником, свисавшим с потолка. В углу на линолеуме грудилась куча мокрых грязных полотенец. Доктор Найт был высокий, слегка полноватый, спортивный мужчина, его черные блестящие волосы казались крашеными, верхнюю часть лица скрывали тониры-

ванные, в толстой оправе, очки, а нижнюю — марлевая повязка. На нем был длинный белый фартук, сильно испачканный кровью, а на руках тонкие обтягивающие хирургические перчатки.

— Здесь. Раздевайтесь и наденьте вот это. Скорее.

Доктор Найт протянул ей хлопчатобумажную рубашку и отвернулся, чтобы пересчитать деньги. Она сделала, как он велел. Испуганная, с трясущимися руками, она едва сумела раздеться, но нет, она готова, она приняла твердое решение и считала, что ей повезло: «Через час я свободна».

Она старалась не задохнуться от вони и не замечать кляксоподобные темные пятна на линолеуме, пыталась не слушать, как доктор Найт тихо напевает себе под нос, быстро моя руки в резиновых перчатках.

Кивком он пригласил ее к столу, побитая керамическая поверхность которого тоже была в пятнах. На одной его стороне были установлены подставки для ног. Она села на стол с этой стороны, лицом к доктору Найту и алюминиевому штативу, нагруженному сверкающими гинекологическими и хирургическими инструментами. В панике она подумала, что блеск инструментов свидетельствовал об их чистоте.

Конечно, «Найт» — имя вымышленное. У него было настоящее имя, и он настоящий врач, без сомнения, прикреплен к одной из городских клиник, очень вероятно, член политически сильной ВДЭ — «Врачи — друзья эмбриона». У него были не такие высокие рекомендации, как у «доктора Свэна» и у «доктора Дугана», но у него довольно низкая такса.

Она начала потеть и дрожать. Теперь, лежа спиной на холодном столе с раздвинутыми на подставках коленями, не дождавшись вопроса, она сама рассказала доктору Найту, когда у нее прошли последние месячные. Ей хотелось произвести на него впечатление своей точностью. Доктор Найт усмехнулся, склоняясь над ней. Его глаза были затемнены тонированными стеклами очков, а волнистые седеющие волосы озарял ореол от яркого света за его спиной. Марлевая повязка, закрывающая нос и рот, промокла от слюны. Он произнес:

— Не можете дождаться, когда избавитесь от него, а?

Это должна была быть шутка — немного грубоватая, но не злая.

Он добрый человек, доктор Найт. Она не сомневалась. Более серьезно он сообщил:

— Это простая процедура, ничего особенного, Туда, сюда, за восемь минут.

Но когда он начал вводить во влагалище холодный острый конец расширителя, она запаниковала и, извиваясь, отпрянула.

Доктор Найт выругался и сказал:

— Вы хотите этого или нет? Решать вам, но деньги не возвращаются.

Она не совсем расслышала его. У нее конвульсивно стучали зубы. Она прошептала:

— Можно под анестезией?

— Вы дали мне восемьсот долларов. Это все.

Доза наркоза обошлась бы еще в три сотни. Но она думала, что риск слишком большой. Ходили слухи, что многие женщины умирали от неправильной дозировки лекарства так же, как от кровотечения и заражения. Теперь же, перепутанная, она пожалела, что не одолжила больше денег.

— Нет, никакой анестезии. А как только все кончится, уйдешь свободной.

Доктор Найт повторил, что это обычная процедура, вакуумная чистка, минимум боли и крови, и что у него в тот вечер были еще дела, поэтому желает ли она продолжить или нет?

— Доверьтесь мне? Хорошо?

Кроме мужского раздражения в его поведении было что-то мрачное и неприятное. «Неужели ты мне не доверяешь?» — послышался вопрос любовника, забытый ею до этого момента.

Она заставила себя соскользнуть на место и вцепилась в края стола. Она лежала раскинув трясущиеся ноги на шатких подставках.

— Да, — прошептала она, облизнув губы, и крепко закрыла глаза.

ВИНОВНЫЙ

Джокко имел привычку будить ее каждое утро. Но в то утро его атака была особенно яростной, а голос звучал слишком пронзительно. Сквозь натянутую на голову простыню она видела его черные сверкающие, как пуговки, глаза.

— Мамуля, просыпайся. Ты знаешь, какой сегодня день, знаешь?

Она знала. Хорошо знала. Сквозь теплую несвежую простыню голосом, подобным пушистому меху, она простонала:

— Нет. Ну пожалуйста, отстань от меня.

Джокко ее ребенок, ради которого она выстрадала мучительные одиннадцатичасовые роды, отказавшись из принципа от кесарева сечения. Джокко было всего два годика, только что из пеленок, но он уже умел говорить, и порой очень жестоко и бесцеремонно. Она, мать, ответственная за него, ломала голову, пытаюсь понять, какую силу выпустила в мир.

Если по утрам она спала дольше Джокко, он считал себя вправе распахнуть дверь ее спальни и влезть на кровать, как теперь, топча ее своими толстенькими маленькими ножками и проворно колотя кулачками, словно вымешивая тесто, — боль при этом воспринималась как случайная. Голос его звучал пронзительно и праведно, точно горн, а черные выпученные глаза светились, как у тех жутких херувимов, особых Божьих

существ, с наиболее воинственных картин Ренессанса. Произнесенное устами Джокко «мамуля» было похоже на оружие.

— Мамуля, черт тебя побери, не пытайся спрятаться, ты не можешь от меня спрятаться, чертовка. Паршивая сучка, разве не знаешь, кто я! Я хочу есть!

Она слабо сопротивлялась:

— Ты вечно голодный.

Грубо сдернув покрывало, он обнажил ее так, что ей пришлось спешно натянуть на плечо бретельку ночной рубашки, пряча дряблую в синяках грудь, которая так и не выздоровела после кормления жестокого Джокко. Она издала слабый крик и попыталась оттолкнуть его, но он еще крепче оседлал ее: он был слишком силен и злобен. И улыбаясь, к ее изумлению, ртом, полным белоснежных блестящих зубов, заставил задуматься. Неужели все матери, думала она, глядят на своих отпрысков с мыслью о том, что не виноваты ли они?

Был, конечно, еще отец, но он ускользнул от нее, предал. Еще до рождения Джокко.

Теперь Джокко ее журил, уже более сочувственно говоря, что она должна встать, должна продумать свои планы, что ей пришлось пропустить немало дней, пока наконец не настал окончательный срок, и теперь у нее нет выбора.

— К полуночи сегодня это должно быть сделано.

— Нет, я не готова.

— Ты готова.

— Нет!

— Да!

— Отстань от меня!

Она терла кулаками глаза, пытаясь стереть с них видение своего сына, но видение это было слишком ярким, слишком жутким, пульсирующим, как неон, слишком глубоко врезавшимся в ее душу — было ясно, что Джокко никуда не исчезнет.

— Мамуля, где же твоя гордость!

Они жили, мать и сын, вдвоем в квартире кирпичного дома в стареющем индустриальном городе на североатлантическом побережье. Женщина не была готова стать матерью, и до сих пор, после рождения сына, была потрясена тем, что она мать. И это было удивительно ей вдвойне, поскольку она просто не представляла, как стала матерью при ее осторожности, которая превратилась в паранойю, и при параноидальной осторожности ее любовника. Для предотвращения зачатия такого чуда ее жизни, как Джокко, она систематически подвергалась биохимическим методам контрацепции, которые увеличивали опасность инсульта, легочной эмболии, эндометрического рака, умственной депрессии, снижали свертываемость крови. С тревогой об этой угрозе она жила в течение всего периода своей сексуальной активности, который теперь, вероятно, закончился. (После увядания любви и исчезновения любовника у нее возникла серьезная проблема с представлением о себе как о физическом явлении: уже не совсем женщина, хотя еще не в расцвете своих лет. И, как сказал Джокко, не столько с детской безжалостностью, сколько просто констатируя очевидный факт: «Теперь, когда я здесь, мамуля, ты можешь закрыть свою лавочку».)

Любовник женщины, которого она называла в своем воображении «Икс», ибо более не способна была назвать его имя даже себе самой, категорически отверг ее заверения в том, что зачатие Джокко произошло случайно, а не по ее вине, и хладнокровно отстранился, когда она оттягивала аборт, пока не стало поздно — хотя и знала, что в любом случае он бы ее покинул.

До чего же коротка память у страсти! А ее последствия, если они есть, неизбежно оставляют нас в дурацком положении.

Женщина, которая считала себя независимой и стремительно делала карьеру, пыталась взглянуть на свое затруднительное положение со стороны: признак

современности — мать-одиночка, ее ребенок, отец ребенка отсутствует (хотя он жил в том же городе и продолжал работать на том же месте — в большом комплексе общественных и научных учреждений, где работала эта женщина). Она хорошо представляла, что кого-то винить было безосновательно и что по-детски глупо говорить о предательстве доверия и любви и вспоминать о «виновном», как настаивал называть Икса Джокко, «сукином сыне, которого следовало наказать».

Джокко был реален, его позиция пряма и примитивна. Уже во чреве матери он давал советы: «С тебя довольно унижений, нам нужна справедливость». Но она старалась не слушать и не слышать.

* * *

Во время завтрака, сжав в кулачке суповую ложку и забрасывая горячие овсяные хлопья себе в рот, Джокко размышлял, жадно жуя и усмехаясь сам себе:

— Он хотел, чтобы я умер до моего первого вздоха.

Этот трахальщик хотел, чтобы меня высосали вакуумом из тебя так же, как ты высасываешь пылесосом пыль и волосы из дальнего угла. Он никогда не узнает от чего кончился, трахальщик. Сегодня ближе к полуночи.

Женщина, его мать, держа трясущимися пальцами чашечку черного кофе, сказала:

— О, Джокко, я так не думаю, на самом деле. О, нет.

— Око за око, зуб за зуб.

Он улыбался, снова показывая ей теперь еще более великолепные в ярком кухонном свете крепкие белые зубы, которые были немного крупноваты для ребенка и явно более массивные, чем у обычных детей.

— Он не хотел ребенка, предупредил меня заранее, таким образом, он был совершенно невиновен. Я не думаю, что мы имеем право его обвинять. И...

— Хотел, чтобы меня высосали какой-то трубой и спустили в унитаз, как дерьмо! Меня!

— О, Джокко, он не знал, что это будешь именно ты...

— А ты, ты знала? Дорогая мамуля?

— Я сперва не знала, но... постепенно... я узнала.

— Потому что я победил, вот почему. Чертова бессловесная сука, не отличаешь своей задницы от дырки в земле. А?

— Джокко, ты очень жесток. О, не говори так!

Джокко, продолжая кушать, выругался в тарелку с солнечно-желтыми овсяными хлопьями, разрисованную смеющимися рожицами. Уже несколько месяцев он отказывался от высокого детского стула и требовал, чтобы она сажала его за стол рядом с собой, подложив два телефонных справочника и несколько томов «Мировой энциклопедии». В последнюю неделю он начал пить кофе, который, твердо верила она, плохо влиял на его нервы, и все же, если она пила кофе фактически каждое утро, почему, в самом деле, не давать его Джокко? Когда она слабо попыталась призвать его к дисциплине, он просто расхохотался, изредка подмигивая, словно это была их общая шутка: *возможно, шутка ее материинства и его детства*, но что означала эта шутка?

Порой наступали страшные минуты, когда женщина видела в Джокко миниатюрного мужчину. С момента предательства Икса она сомневалась, что способна терпеть мужчин или что готова разделить с ними судьбу. Иногда она воспринимала сына как необыкновенную причуду природы, медицинский кошмар — она читала про некоторые болезни, про нарушения гормонального равновесия, в результате которого дети (чаще всего мальчики) очень быстро растут, старятся на глазах своих изумленных родителей и умирают. Был ли Джокко поражен этим заболеванием? На приеме у педиатра Джокко отлично играл роль типичного двухлетнего малыша, ему как-то удавалось даже выглядеть на два годика. Доктор Монк был потрясен его явным умом и сообразительностью и засыпал мать похвалами

за «физическое благосостояние», как он выразился, малыша. Но он, казалось, не замечал развитости Джокко, несомненно, он не видел ничего необычного. И, помимо всего прочего, так странно и так удивительно: Джокко имитировал малыша с потрясающим мастерством, вплоть до очаровательной неуклюжести движений и шепелявости односложной речи, даже мать могла бы впасть в заблуждение. *Почти.*

Порывисто-мужественное и энергичное «Джокко» не было тем именем, которым женщина хотела назвать своего сына, она бы назвала его «Аллен» в память о своем умершем отце. Но имя «Джокко» ребенок выбрал сам: он яростно визжал как младенец, если его называли иначе. «Джокко здесь!», «Джокко хочет это!», «Джокко хочет кушать!». Икс навещал Джокко всего три раза и каждый раз проявлял явную неприязнь. Он не взял своего родного сына на руки и, конечно же, не поцеловал. Высокий, длинноногий и длиннорукий, с редкими волосами, в очках, Икс чувствовал себя неуютно в своем теле. Он специализировался в биохимии и математике и воспринимал мир, как предполагала женщина, категориями уравнений. Конечно же, он не был способен хоть немного увидеть себя в Джокко, который даже новорожденным был так румян лицом, имел такие ершистые темные волосы, такие блестящие черные пронизательные глаза, что был похож только на самого себя. «Джокко».

Теперь, в два года, у Джокко было коренастое прямое тело, по форме напоминающее старомодную стиральную доску. Лицо его было круглое и крепкое, но временами приобретало тревожную, взрослую резкость. Его детский лоб иногда сильно хмурился от мыслей. Ноги у него были укороченные, не совсем короткие, но похожие на ноги карлика, они были пухлые, но мускулистые, так же как и весь торс.

Его глаза — замечательные, жадно напряженные глаза Джокко — что это за глаза, а его половые органы, которые, как зрелый фрукт, туго топорщили хлопчатобумажные трусы на эластичной резинке?

Оставалось только признать существование Джокко. Символ новой эры, новой жизни, возможно, следующего века.

— Куда ты смотришь, мамуля? — раздраженно спросил Джокко.

— Э-э-э ...Никуда.

— Ох, я бы не сказал, что я пустое место!

Женщина глядела на своего маленького сына, не способная сосредоточиться на его словах (в такие минуты, ранним утром, Джокко часто живо и бессвязно произносил монолог за себя и за нее одновременно), и держала чашечку кофе перед своим лицом. Теперь она неловко поставила ее на стол и ладонями закрыла лицо, начиная плакать, хорошо зная, как бесили Джокко ее слезы.

— О, пожалуйста. Я боюсь. Я этого не вынесу. Я потеряла столько крови, когда ты родился, Джокко. Неужели этого недостаточно?

* * *

У будней были свои проблемы. Она виртуозно лавировала среди них, потому что они были не совсем проблемы, не такие реальные, как Джокко, его отец и ее раны.

Механически, но с безупречной тщательностью она оделась для работы: фланелевый костюм с облегающим модным пиджаком, прозрачные чулки и элегантные лодочки из змеиной кожи, для украшения — красный шелковый шарф. Джокко бранился, если ее длинное задумчивое лицо было бледно.

— Нет нужды выглядеть старше и проше, чем на самом деле, мамуля.

Он давным-давно одевался без ее помощи. Насвистывая, он застегнул молнию малиновой шелковой куртки с огнедышащим, в зеленой чешуе драконом, вышитым на спине, надел кожаные ботинки, натянул почти до бровей красную шерстяную шапочку, которую она

ему связала. Было хмурое апрельское утро, в окна хлестал дождь с ледяной крупой, поэтому Джокко настоял, чтобы они оба тепло оделись — он был повзрослому практически убежден в том, что болезни и «недееспособность» были глупой тратой времени.

Он сходил за ключами от машины и теперь звенел ими.

— Давай, мамуля, пошевеливай задницей!

— Придержи язычок, ты... Я уже иду!

Пять раз в неделю она отводила его в детский сад «Маленькие бобрята», где, женщина была уверена, он вел себя как любой нормальный здоровый ребенок его возраста. Для нее было загадкой, как ему удавалось перевоплощение, но, несомненно, это его забавляло. «Барахтаться с малышами» было гораздо смелее, чем изображать карапуза перед доктором Монком. Когда мама приводила Джокко в садик и передавала его Джуни, улыбчивой полногрудой женщине с заплетенными в косички волосами, ребенок, казалось, немного уменьшался в росте и объеме, а его блестящие умные глаза становились наивными. Больше всего поведение Джокко изменялось, когда мама шептала ему: «До свиданья, дорогой, води себя хорошо, милый. Скоро увидимся», — и, как всегда, целовала его на прощание. Джокко обнимал ее, прижимался своим теплым личиком к ее лицу и говорил: «Мамуля, не уходи».

Это был минутный, таинственный порыв, будто на самом деле Джокко был всего лишь двухлетним малышом, у которого мама работала, а папы вовсе не было, и он боялся, что его бросят.

В детском садике «Маленькие бобрята» у Джокко была репутация не по годам развитого ребенка, иногда «необщительного и непослушного», а порой «тихого, застенчивого и замкнутого». К изумлению мамы, у него был талант художника: большие листы, размалеванные цветами подсолнухов вокруг улыбающихся круглых физиономий и галлюциногенных растений обильно висели по стенам детского сада. Казалось, что у него были друзья, но он не выражал желания ходить к

ним в гости, к облегчению мамы, не хотел никого видеть у себя дома.

Не раз он насмешливо замечал:

— Компания маленьких детей чертовски утомительна.

В то утро, когда женщина на прощание поцеловала Джокко, он обнял ее крепче обычного и сказал детским умоляющим тоном:

— Не забудь, мамуля! Не забудь вернуться. Не забудь, какой сегодня день!

— О, Джокко, — нервно выдохнула его мать, зная, что Джуни наблюдает, — как я могу забыть?

* * *

А что именно было сегодня? Канун отъезда Икса из города.

Последний день его пребывания в офисе комплекса, последний день в должности инспектора «Программы ОПИ» («Особые проекты инженеринга») в лабораториях института, последний день (и ночь) он проведет в своей квартире приблизительно в четырех милях от квартиры женщины перед тем, как утром прибудет транспортировочный грузовик и увезет его вещи в Кливленд, штат Огайо — Икс получил повышение и должен был возглавить более крупный отдел «Программы ОПИ» в Кливленде, очень собой гордился и жаждал переехать.

Конечно, эти унижительные факты женщина знала и без Икса или кого-то другого. Просто знала. И Джокко тоже знал, с его исключительной способностью вынюхивать ее секреты.

В последнее время Джокко постоянно твердил:

— Твое время истекает, красотка. Будь уверена, что он уже считает дни календаря.

Тот день, выпавший на пятницу, самый конец недели, прошел будто флотилия апрельских грозových туч, задумчиво плывущих и громождающихся. Точно мысли в полупьяной голове. Женщина пыталась сосредоточиться на работе, в конце концов, это была ее общественная жизнь, ее внешнее существование, такая же ценная жизнь, как любая другая в капиталистическом потребительском обществе, где она жила многие годы, в то время как убывал век и близился к своему завершению, не к тому ослепительному апокалипсису, который воображало себе ее поколение и делало вид, что верит в него, а к финалу, к концу и к «новому» веку на календаре, закапывая прошлое под новым, молодым и неистовым.

К двухтысячному году Джокко будет всего двенадцать лет: он уже принадлежал следующему тысячелетию.

Она надеялась, что сын забудет ее не слишком быстро. Импульсивно она позвонила Иксу в кабинет — находящийся в другом здании, среди лабиринтов и тупиков, — но секретарша (которая, возможно, узнала ее голос) сказала, что Икса нет. Женщина поблагодарила ее и тихо повесила трубку, ничего не сказав. Гордость не позволила ей оставить для него сообщение: так много их осталось без ответа за последние двадцать четыре месяца.

Двадцать четыре месяца, неужели так долго!

Невыносимое время предательства Икса!

Фактически Икс бессердечно порвал с ней отношения еще до рождения их ребенка, и женщина хорошо знала, что с тех пор времени прошло гораздо больше. Теперь срок их разлуки значительно превышал время, когда они были любовниками. Поначалу Икс вел себя как бы извиняясь — виновато или казался виноватым — предложил оплатить аборт, предлагал деньги просто так. По мере нарастания его отчаяния в попытке освободиться от нее (и от Джокко

во чреве) сумма денег увеличивалась. Но женщина отказалась.

Я люблю тебя, — сказала она. — Любовь наша явила миру новую жизнь, и мы не смеем прекратить ее, ты это знаешь.

Но Икс, казалось, не слышал ее слов, не убедил его и сильный, почти мистический экстаз, сквозивший в ее голосе, словно зародыш подбадривал ее: «Да! Да! Вот так! Продолжай в том же духе, пускай ублюдох послушает!»

Икс, однако, не слушал. Он просто порвал с ней, как делали все другие мужчины в прошлом, порвал внезапно и зло. Разница была лишь в том, что на этот раз женщина осталась беременной и не собиралась делать аборт — то, что было у нее во чреве, не позволило бы этого.

Я хочу родиться. Я хочу солнечного света. Я хочу говорить сам. Будь ты проклята, сучка. Никто не встанет на моем пути.

И это была правда, или стало правдой.

Икс не мог слышать нетерпеливых слов ребенка, нельзя было заставить его приложить ухо к животу женщины или хотя бы погладить ее по этому месту. Чтобы ощутить жизнь — волшебную жизнь внутри, которую нельзя отрицать. Икс говорил по-разному: «Послушай, я действительно сожалею, но нельзя ли остаться друзьями?» — и еще: «Догадываюсь, что между нами сильное недопонимание, если это правда, то очень сожалею», — или более раздраженно: «Пожалуйста, оставь меня, очень прошу. Это тяжело для нас обоих», — а также «Черт побери, ты знаешь, что я не могу быть отцом этого ребенка, поэтому, пожалуйста, отстань от меня!»

И, наконец, он просто бросал трубку, когда женщина ему звонила, а в учреждении, едва увидев ее, старался избегать. Она была уверена, что он договорился с директором, чтобы его рабочее расписание было переделано, и женщина никогда бы не смогла подстеречь его на стоянке автомобилей. Она несколь-

ко раз приходила к нему домой, но получала резкий отпор.

Конечно, она посылала ему бесчисленное количество писем. Большинство из них продиктовал Джокко. Последнее, на Рождество, было напряженным и четким, как стихи: «Чувство вины губит даже невиновных, поэтому трепещи!»

Икс не ответил ни на одно письмо женщины.

Естественно, отношения между ними совершенно испортились.

И все же женщина не ушла с работы, где ее высоко ценили и не менее высоко оплачивали: она была специалистом по английскому языку, и в ее обязанности входило помогать некоторым ценным сотрудникам — инженерам, физикам, химикам, математикам — в подготовке отчетов для их начальства и для Министерства обороны в Вашингтоне. Некоторые из мужчин (они все были мужчинами) рождались за границей и нуждались в помощи, особенно японцы. Но даже коренные жители страны с трудом могли излагать мысли связно и логично. Свою задачу женщина выполняла почти автоматически, не желая знать, что должен был выразить отчет. Если это была витиеватая просьба финансирования из Пентагона или разъяснения о том, как распределены фонды, она могла просто отпечатать их быстро и спокойно на компьютере, почти не вникая в суть предмета, не говоря уже о его статусе в мире высокой техники и программного обеспечения.

Несколько жестоко Джокко заметил:

— В любом случае, ты знаешь, что делаешь, даже если не ведаешь, что творишь.

Однако он мог быть и заботливым, когда находился в более благодушном настроении.

— Ты делаешь чертовски хорошее дело, и они это знают, мамуля, будь уверена!

Мама соглашалась:

— О'кей.

Однажды в конце рабочего дня, когда большинство сотрудников ушли по домам, женщина уронила голову на руки, сложенные на столе, и заплакала или попыталась заплакать.

Она бормотала:

— Он, возможно, все еще любит меня, он мог бы простить и вернуться ко мне. — Некоторое время стояла тишина, нарушаемая лишь гудением ламп дневного освещения над головой. — Он мог бы изменить свое решение и взять нас в Кливленд с собой, он мог бы. — Но слез не было, потому что она выплакала их все до капли. Вообще-то она была не одна. Тишину нарушил голос Джокко, прозвучавший в ее ушах внезапным стаккато.

— Мамуля, зачем сопротивляться? Ты знаешь свое предназначение, черт побери, почему не исполнить его?

Женщина находилась дома меньше часа, после того как забрала своего малыша из детского сада «Маленькие бобрята», когда, разыскивая его, она вошла в кухню и увидела то, чего видеть не хотела. Но она спокойно спросила:

— Где ты взял эти ножи, Джокко?

Джокко сделал ей сигнал молчать. Он думал.

Стоя на стуле, он перебирал полдюжины ножей на оранжевом пластиковом кухонном столе. И выбирал он не по размеру, а по остроте заточки.

— Джокко? Эти ножи?

— Не придируйся, мамуля.

У женщины сильно дрожали руки, словно трясло весь дом. В тот день она выпила слишком много кофе, да и зрение тоже было ненадежным: возвращаясь домой, она чуть было не заехала на встречную полосу. Она бы ушла с кухни, оставив Джокко с его игрой, если бы он, словно прочитав мысли, не обхватил ее запястья своими твердыми как сталь маленькими пальчиками.

Она слабо произнесла:

— О... я не прикоснусь.

Но сама уже подняла один из ножей, тот, который Джокко слегка выдвинул из общего ряда, и взвешивала его в руке.

Разделочный нож, изготовленный на Тайване, с лезвием в десять дюймов из нержавеющей стали, превосходно наточенный, острый как бритва. Пластмассовая, под дерево, ручка идеально ложилась в женскую руку.

— Когда я это купила?.. Никогда его не покупала.

— На рождественской распродаже в Сирсе, мамуля.

— Не может быть!

— Тогда что же, мамуля?

— Да, но я не собираюсь с ним разгуливать. Никуда с ним не пойду.

— Пока не стемнеет.

— Когда?

— Около девяти, мамуля: не очень рано и не слишком поздно.

— Ни за что.

— Конечно да.

— Одна не пойду.

— Мамуля, конечно ты пойдешь не одна.

— Нет?..

— Ты никуда никогда не пойдешь одна, мамуля, верно? Больше никогда?

И Джокко, балансируя на стуле на уровне матерн, улыбнулся своей самой сладкой и недвусмысленной улыбкой, той, от которой так часто за последние месяцы ей хотелось умереть и которая овладевала ее сердцем, зажигала его молодым огнем и жадной жизни.

Джокко обхватил ручками мамину шею, по-детски обнял ее, влажно и тепло поцеловал и снова сказал:

— Мамуля, ты знаешь, что никогда больше никуда не пойдешь одна. Никогда!

Придя в контору Икса, женщина хотела было подняться на девятый этаж лифтом, но осторожный Джокко, потянув за руку, увел ее на лестницу. Им не нужны были свидетели их визита, верно?

Это был поздний час нынешней цивилизации. Как любил повторять Джокко: «Когда есть виноватые, нельзя просто ждать кары Божией».

Когда женщина и Джокко дошли до девятого этажа, она запыхалась, тяжело дышала, а в ее венах начали играть искры возбуждения. В ее сумочке лежал широкий разделочный нож. Рядом с ней, проворно преодолевая ступени на своих крепких коротких ножках, шел Джокко, плод ее чрева. Ей казалось уместным и справедливым, что они оба пришли к нему теперь, ведь Икс так редко допускал ее в свою контору, а Джокко вообще ни разу здесь не был. *И нет пути назад.*

Он приходил не в ее дом, а к ней. Он ел ее угощения, которые она любовно для него готовила. Как все остальные мужчины. Как все другие. Он говорил ей о любви, услаждал ее напряженное нетерпеливое тело поцелуями. Под его руководством она стала прекрасной, *не так ли?*

Она открыла ему свою женскую душу, не задумываясь о том, что, когда его страсть пройдет, эта самая душа будет возвращена ей истерзанная и оскверненная. Говоря словами Джокко: «Как гигиеническая салфетка, в которую высморкался этот ублюдок».

На этаже Джокко слегка приоткрыл дверь, осторожно выглянул в коридор и подал ей знак выходить. Она заметила, что там было пусто.

— Мамуля, пошевеливайся. Вперед.

Женщина замешкалась со своей сумкой. Выпив накануне несколько стаканов вина и большую белую таблетку успокоительного, она, кажется, окосела.

Она присела, чтобы шепнуть Джокко:

— Только не оставляй меня, дорогой... обещай, что будешь держать дверь открытой.

Джокко, толкнув ее ногу, нетерпеливо сказал:

— Господи, мамуля! Ну конечно!

Потом она, покачиваясь, пошла в своих дорогих змеиных туфлях сквозь зловещий туман туда, где находился кабинет Икса, считая двери, высматривая 9-Г, вытирая постоянно льющиеся слезы. Из всех сил глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, она до конца утопила кнопку звонка и долго не отнимала палец, боясь передумать.

Она вспомнила, как давным-давно, беременная, больная и испуганная, она позвонила Иксу — она была уверена, что отцом был Икс, чтобы он ни заявлял потом, — и слушала бесконечный треск его телефона, словно ее кровь безжалостно покидала ее. Тут впервые у нее в утробе ясно, утешительно и изумительно раздался голос, словно Бог во гневе своем: «Терпение, и воздастся виновным по заслугам». И, черт побери, она была терпеливой, звоня в дверь во второй раз, слушая приближающиеся шаги. Отступить было некуда!

В дальнем конце пустого освещенного коридора ее ждал Джокко, на площадке пожарной лестницы, но когда она скосила глаза в ту сторону, то увидела лишь безликую, плотно закрытую дверь. Ее подхватило мерцающее колыхающееся облако в коридоре, словно все здание, а может, даже земля под ним, вдруг задрожали, чего, по мнению женщины, а она была человеком здравомыслящим, быть не могло. И уж, конечно, это было связано не с ней.

Тем не менее, она здесь, а на пороге открытой двери стоял Икс.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Рождество в этом году выпало на среду. В предшествующий вторник, в сумерках направляясь в машине через весь город к дому своего брата Квина, Витни не мог отделаться от неясного предчувствия.

Нельзя сказать, что Витни был суеверен. Вовсе нет. И он не был из тех, кто вмешивается в домашние дела других, особенно своего старшего брата. Рискованно было давать Квину непродуманные советы.

Но Витни позвонила их младшая сестра, а ей звонила тетя, которая навещала их маму, — Квин снова запил, угрожал жене Элен и, возможно, дочерям тоже. История была известная и неприятная. Последние одиннадцать месяцев Квин посещал собрания анонимных алкоголиков. Правда, делал он это нерегулярно и с видом смущенного отвращения, но все же, посещая их, бросил пить или, по крайней мере, — здесь мнения разделялись в зависимости от того, с кем из членов семьи вы разговаривали, — существенно сократил потребление алкоголя. Все признавали, что для человека состоятельного и имеющего вес в обществе, как Квин — старший из сыновей Пакстона — было несравнимо труднее, чем для обычного гражданина, присутствовать на собраниях анонимных алкоголиков, считать себя алкоголиком и отчитываться за необузданность своего темперамента.

Накануне вечером у Витни было смутное предчувствие беды и ощущение тревоги. Квин мог потерять контроль над собой, мог на этот раз сильно ранить Элен или даже своих дочерей. Квин был крупный мужчина сорока лет, обученный в школе Вартона, со связями, доброжелательный, имел неплохие знания в области корпоративного закона, и все же — Витни наблюдал это с детских лет — он был во многом человеком действия: для самовыражения использовал руки, и часто эти руки делали больно.

В тот день Витни несколько раз звонил в дом брата, но никто не отвечал. Щелчок и знакомый хриплый голос автоответчика: «Здравствуйте! Это дом Пакстонов! Сожалею, что не можем ответить на ваш звонок, но...» Голос, с оттенком угрозы, но сердечный и сочный, принадлежал Квину.

Когда Витни позвонил в контору Квина, его секретарша сказала коротко, что его не было. Хотя Витни всякий раз представлялся как брат Квина и секретарша точно знала, кто он такой, она никогда не сообщала ему никакой дополнительной информации.

— Квин дома? Его нет в городе? Где он? — спрашивал Витни, стараясь говорить спокойно.

Но секретарша Квина, одна из его сторонниц, только тихо отвечала:

— Уверена, что господин Пакстон свяжется с вами после праздников.

Рождественский вечер в огромном доме старшего Пакстона на Грандвью Авеню вместе со всей родней! В такой умопомрачительной атмосфере, как мог Витни уединиться с Квином и поговорить? Хотя его ни на секунду не покидала тревога за брата.

Поэтому, хотя он и не был из тех, кто суется в дела чужих семей, особенно своего брата, Витни на машине через весь город из скромнозажиточного района кондоминимумов и частных домиков на одну семью, где он долгие годы вел незатейливую жизнь холостяка, отправился в полузагородный район миллионнодолларовых особняков, куда Квин перевез свою семью несколько лет тому назад. Место было известное, Уайт-

вотер Хайтс, все дома большие, роскошные и отгороженные от дороги деревьями или живыми изгородями. Не было ни одного участка меньше трех акров. Дом Квина был выстроен по его собственному проекту: эклектическая смесь* неогеогианского и современного стилей, с крытым бассейном, сауной, огромной верандой из калифорнийской секвойи позади дома. Витни, который никогда раньше не подъезжал к дому на своем «вольво» по извилистой, усыпанной гравием дороге, припарковался возле трехместного гаража и позвонил в дверь со странным чувством, что вторгся в частные владения и будет оштрафован, даже если его пригласили.

Поэтому теперь он ошущал явное беспокойство. Он звонил в дверь, он ждал. В прихожей было темно, в гостиной тоже. Он увидел, что дверь гаража закрыта, а на подъездной дорожке нет машин Квина и Элен. Может, дома никого не было? Но разве он не слышал музыку? Радио? Он полагал, что девочки должны быть в школе. Каникулы начинаются с понедельника. Значит, день был школьный. Почему они дома? И Элен тоже?

В ожидании он глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух. Уже настали морозы, но снег еще не выпал. Кроме рождественских огней в нескольких домах, что он миновал при въезде на Уайтвотер Хайтс, он не заметил атмосферы близкого праздника. Внутри дома Квина и Элен не было новогодних украшений, на двери не повесили даже декоративного венокча из вечнозеленых веточек... Никакой елки? В фойе дома старого Пакстона на Грандвью-Авеню будет установлена огромная ель. Наряжать ее было настоящей церемонией. Ежегодный ритуал все еще соблюдался, хотя Витни уже не присутствовал на нем. Одной из привилегий взрослых, думал он, было держаться на расстоянии от источников неудобств и боли. Ему же исполнилось тридцать четыре года.

* Эклектизм -- в архитектуре и изобразительном искусстве сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для зданий. -- *Прим. ред.*

Конечно, он проведет рождественский день с семьей. Или часть дня. Это неизбежно. Ведь пока он оставался жить в городе, где родился. Разумеется, он преподнесет подарки в дорогой обертке и получит свою долю подарков. Как всегда, он будет благодарен маме и вежлив с папой, понимая, что не оправдал их надежд, не сделавшись таким же сыном, как Квин. Но среди праздничной суеты, мелькания людей и веселого шума их недовольство смягчится. Витни прожил с этим так долго, что, возможно, теперь это было не столько само недовольство, сколько воспоминание о нем.

Он еще раз позвонил в дверь. Осторожно позвал:
— Эй? Есть кто дома?

Сквозь дверь прихожей он видел свет в глубине. Музыка, казалось, затихла. В темной прихожей возле лестницы стояли коробки... или чемоданы? Маленькие саквояжи?

Семья собиралась в поездку? В такое время, в канун Рождества?

Витни вспомнил сплетню, которую слышал несколько недель тому назад, что Квин поговаривал о поездке в какое-то очень дорогое экзотическое место, на Сейшельские острова, с одной из своих подруг. Он недооценил сплетню, веря, что Квин, при всей его грубости и равнодушии к чувствам жены, никогда не будет вести себя столь вызывающе. Это взбесило бы отца. К тому же Квин дорожил своей репутацией, поскольку годами лелеял надежду, что однажды займет важный общественный пост. Их прадед, Ллойд Пакстон, был видным конгрессменом от республиканцев, и имя Пакстонов все еще пользовалось уважением в штате... «Эта бестия не посмеет», — думал Витни.

И все же в душе шевельнулся страх. Еще одно предчувствие. «А если Квин сделал что-то с Элен или девочками в приступе ярости?» Перед мысленным взором Витни явился Квин в забрызганном кровью фартуке, приготавливающий стейки на роскошной веранде из калифорнийской секвойи. Квин. Последняя четверть июля. Двойная вилка в одной руке и электричес-

кий нож в другой. Звук электромотора, зловещий блеск лезвия. Квин с раскрасневшимся лицом, злой на младшего брата за опоздание. Взмахом руки он позвал его на веранду с резким энтузиазмом человека на грани запоя, но старающегося не потерять самоконтроля. Каким ладным казался Квин: рост шесть футов три дюйма, вес двести фунтов, светло-голубые глаза ярко светятся на лице, голос звенит! Витни сразу ему повиновался. Квин в смешном фартуке, натянутом на его расплывшийся живот, острым ножом сделал игривое движение в сторону Витни: шутливое рукопожатие.

Вспомнив это, Витни содрогнулся. Все остальные тогда смеялись. Витни тоже смеялся. Всего лишь шутка. Было смешно... Видела ли Элен и содрогнулась ли тоже, Витни не заметил.

Витни постарался отогнать это воспоминание.

Однако он продолжал размышлять о том, что убийцами своих близких становятся не только отчаявшиеся нищие мужья, не только умалишенные. На днях Витни прочитал ужасную новость о том, как страховой агент средних лет застрелил живущих отдельно от него своих жену и детей... Но, нет, об этом теперь лучше не думать.

Витни сделал еще одну попытку и нажал кнопку звонка. Звонок работал, он его слышал.

— Эй! Квин? Элен? Это я, Витни.

Как слаб и нетверд его голос! Он был уверен, что в доме брата случилось неладное. И в то же время, как будет ругаться Квин, если он дома, за то, что Витни лезет не в свое дело. Словом, Квин разозлится в любом случае. Пакстоны были большим, общительным и очень сплоченным кланом, питавшим мало симпатии к разрушителям спокойствия и к тем, кто совал нос куда не следует. Отношения Витни с Квином теперь были сердечными, но два года назад, когда Элен уехала из его дома и начала бракоразводный процесс, Квин обвинил Витни в интригах за его спиной, заподозрил даже, что он был одним из тех, с кем Элен ему изменяла.

— Скажи правду, Вит! Я все пойму! Я не сделаю плохо ни ей, ни тебе! Только скажи правду, ты, трусливый сукин сын!

Так злился Квин. Но даже в ярости чувствовалось притворство, поскольку, конечно, подозрения Квина были безосновательны. Элен никогда никого не любила, кроме Квина, он был ее жизнью.

Вскоре Элен вернулась к Квину вместе с дочерьми, прекратив дело о разводе. Витни был разочарован, но и вздохнул с облегчением. Разочарован, потому что попытка Элен освободиться была столь необходима, сколь оправдана. Облегчение, потому что семья Квина не разрушилась, авторитет его утвердился, и он успокоился. Исчез повод злиться на младшего брата, осталось только, как всегда, слабое презрение.

— Конечно, я не всерьез подозревал тебя и ее, — сказал Квин. — Я, наверное, напился до беспамятства.

И он засмеялся, словно такого никогда не могло быть.

С тех пор Витни держался подальше от Квина и Элен. Кроме случаев, когда они неизбежно встречались на семейных торжествах Пакстонов, например на Рождество.

Теперь Витни поежился, думая, не следует ли ему обойти дом и попробовать через заднюю дверь заглянуть внутрь. Но, если Квин был дома и что-то случилось, мог ли Квин быть... опасен? У него имелось несколько охотничьих ружей, дробовик и даже револьвер с разрешением на него. А если у него запой... Витни вспомнил, что полицейских чаще всего убивают, когда они разбирают домашние ссоры.

Потом с большим облегчением он увидел приближающуюся Элен... была ли это Элен? С ней что-то не так — это было первое, хотя и расплывчатое впечатление Витни, которое он вспомнил спустя долгое время, — потому что она шла неуверенно, почти шатаясь, точно под ней раскачивался пол. Она сильно размахивала руками или вытирала их о фартук. Определенно она спешила на звонок, кто бы ни ждал на пороге.

Витни позвал:

— Элен, это я, Витни! — И увидел, как по-детски ее лицо изобразило облегчение.

Может быть, она ждала Квина, подумал Витни.

Его растрогало, как быстро Элен включила свет в прихожей, с какой готовностью распахнула перед ним дверь.

* * *

Элен мягко воскликнула:

— Витни!

Глаза ее были широко раскрыты, а зрачки увеличены, на лице следы усталости. И еще что-то лихорадочное, живое и дерзкое было в ее поведении. Она, казалось, удивлена, что видит своего деверя, схватила крепко его руку и слегка встряхнула. Витни подумал, не пьяна ли она. На вечеринках он наблюдал, как медленно и даже методично она потягивала из стакана с вином, словно хотела довести себя до состояния анестезии. Но он никогда не видел ее пьяной, никогда. И теперешнее ее состояние было для него новостью.

Извиняясь, Витни сказал:

— Элен, не хотел тебя тревожить, но... ты не отвечала на телефонные звонки, я о тебе беспокоился.

— Беспокоился? Обо мне? — Улыбаясь, Элен часто заморгала глазами. Сперва вопросительная, улыбка постепенно стала шире и ярче. Ее глаза засияли. — Обо мне?

— ...и о девочках.

— ...о девочках?

Элен засмеялась. Это был высокий, веселый, мелодичный смех, какого Витни у нее раньше не слышал.

Быстро, даже слишком поспешно, Элен захлопнула за Витни дверь и заперла ее. Проводя его за руку через прихожую — ее рука была прохладной, влажной, костистой, настойчивой, — она выключила свет.

Она крикнула:

— Девочки, это дядя Витни! Это дядя Витни! — В ее голосе слышалось сильное облегчение, смешанное со странной радостью.

Витни посмотрел на жену своего брата. На ней были цветные брюки, блузка и фартук, ее светло-коричневые волосы были небрежно зачесаны со лба назад, обнажая аккуратные ушки, на лице никакой косметики, даже губы не накрашены, и поэтому она выглядела более молодой и беззащитной; какой Витни никогда ее раньше не видел. На людях, как жена Квина Пакстона, Элен всегда была ослепительна — тихая, замкнутая, красивая женщина, тщательно одетая и ухоженная. Каждую фразу она произносила четко и обдуманно. Квину нравились женщины на каблуках — по крайней мере привлекательные, — поэтому Элен всегда ходила в модных туфлях на высоких каблуках, даже в домашней обстановке.

Но сейчас она была в тапочках и казалась ниже и миниатюрнее, чем всегда. Едва ли выше своей старшей дочери Молли.

Когда Элен вела Витни через дом на кухню — все комнаты были темны, в столовой так же, как в прихожей, повсюду на полу стояли ящики и коробки — она разговаривала с ним этим веселым, тонким голосом, словно говорила для кого-то еще.

— Говоришь, что беспокоился, Витни? Обо мне и о девочках? Но почему?

— Ну, из-за Квина.

— Из-за Квина? Неужели? — Элен сжала руку Витни и засмеялась. — Но почему из-за Квина. и почему теперь? Сегодня вечером?

— Я говорил с Лаурой, и она рассказала мне... он снова запил. Угрожал тебе. Поэтому я подумал...

— Это очень трогательно с твоей стороны, и со стороны Лауры тоже, что вы беспокоитесь обо мне и девочках, — сказала Элен. — Это так не похоже на Пакстонов! Но тогда вы с Лаурой не совсем Пакстоны, да? Вы... — она колебалась, словно первое слово, которое пришло на ум, ей не понравилось, — как бы со стороны. Вы... — И ее голос умолк.

Стараясь не осрамить свою проницательность, Витни задал самый важный для него вопрос.

— Квин здесь?

— Здесь? Нет.

— Он в городе?

— Его нет.

— Нет?

— В командировке.

— А, понимаю. — Витни вздохнул глубже. — Когда он возвращается?

— Он придет за нами из Парижа. А может, из Рима. Откуда-нибудь, когда закончит дела и у него появится для нас время.

— Ты хочешь сказать, что вы тоже уезжаете?

— Да. Довольно скоро. Я все утро бегала, оформляя паспорта девочек. Это будет их первая загранпоездка, кроме Мексики. Мы все так возбуждены. Квин поначалу воспринял это без энтузиазма, в Токио у него важные дела, ты же знаешь Квина, вечно на переговорах, постоянно что-нибудь высчитывает, вечный двигатель... — Но здесь Элен, засмеявшись, остановилась, словно вздрогнула. — Ну... ты Квина знаешь. Ты его брат, жил в его тени, тебе ли его не знать. Нет нужды анатомировать Квина!

И Элен снова засмеялась, сжав руку Витни. Как бы ища равновесия, она слегка прислонилась к нему.

Витни признался себе, что испытал полное облегчение. Мысль, что его брата не было поблизости, что он не был ему угрозой, — от этой мысли самообладание Витни восстановилось полностью.

— Значит, Квин упорхнул, а ты с девочками следом за ним?

— Понимаешь, у него дела. А то бы мы уехали все вместе. Квин хотел, чтобы мы поехали вместе. — Теперь Элен говорила более старательно, словно повторяя заученное. — Квин хотел, чтобы мы поехали вместе, но... ради дела, обстоятельства. После Токио он думал, что полетит в... кажется, в Гонг-Конг.

— Значит, на Рождество вы не с нами? Вы все?

— Но подарки я приготовила! И если нас не будет, то виноватыми мы себя не чувствуем. Просто мы не будем на празднике у ваших родителей и не увидим, как вы развернете наши подарки, — весело заявила Элен с особенным акцентом, словно хотела, чтобы слова были хорошо расслышаны. — Конечно, мы будем скучать без вас всех. О, ужасно будем скучать! По вашему дорогому папе, милой маме, всей семье Квина... да, мы будем ужасно скучать. И Квин тоже.

Витни спросил:

— Элен, когда, ты сказала, улетел Квин?

— Разве я говорила? Вчера вечером. «Конкордом».

— А вы с девочками улетаете?..

— Завтра! Но не «Конкордом», конечно. Просто обычным рейсом. Но мы жутко рады, ты представляешь.

— Да, — настороженно ответил Витни. — Могу себе представить.

Витни сделал для себя вывод, что Квин все-таки уехал со своей новой подружкой на Сейшелы или еще куда-нибудь. Он сумел убедить свою доверчивую жену, что отправился в одну из «конфиденциальных» деловых поездок, и она, кажется, вполне довольна... или благодарна... такому объяснению?

«До чего же нравится женщинам быть обманутыми... введенными в заблуждение! Бедная Элен».

Витни подумал, что не станет ее разубеждать.

— Как долго, ты сказала, вы будете отсутствовать, Элен?

— Разве я говорила? Не помню, чтобы говорила! — засмеялась Элен и вошла в дверь кухни, торжественно ведя Витни за руку.

* * *

— Это дядя Витни! — воскликнула Молли.

— Дядя Вит-ни! — крикнула Триш, хлопая руками в резиновых перчатках.

Кухня была так ярко освещена, атмосфера такая приподнятая, веселая, праздничная. Витни был почти уверен, что вторгся в какое-то торжество. Впоследствии он припомнил и это.

Элен помогла ему снять пальто, в то время как его хорошенькие племянницы продолжали улыбаться, шептать и хихикать. Витни не видел их полгода, и ему показалось, что обе подросли. На четырнадцатилетней Молли была грязная рубашка, джинсы и фартук, затянутый вокруг ее худенькой талии, глаза прятались под солнечными очками в белой пластиковой оправе с сиреневыми стеклами (скрывался ли под очками сияние? Шокированный, Витни старался не смотреть). Одиннадцатилетняя Триш была одета так же, но в бейсбольной шапочке козырьком назад. Когда Витни вошел в кухню, она сидела на корточках, губкой что-то вытирая на полу. На ней были не по размеру большие желтые резиновые перчатки, которые издавали хлюпающий липкий звук, когда она хлопала в ладоши.

Витни любил, очень любил своих юных племянниц. Их насмешливо-восторженная радость при его появлении заставила его покраснеть, но он был польщен.

— Рады тебя видеть, дядя Витни! — радостно ворковали они одновременно. — Рады видеть тебя, дядя Витни!

Словно они ждали кого-то другого, подумал Витни.

Он нахмурился, ему вдруг показалось, что, возможно, Квин вовсе никуда и не уехал.

Элен поспешно сняла испачканный фартук.

— Замечательно, что ты заехал сегодня вечером, Вит, — с теплотой произнесла она. — Ты у девочек самый любимый дядя. Мы все думали, как печально, что не увидимся с тобой на Рождество!

— И мне жаль, что не увижу вас.

«Типичная женская атмосфера с элементом скрытой истерии», — заметил про себя Витни. Радио настроено на популярную станцию, слышится ритмично-примитивная довольно пронзительная мелодия. Такую музыку любят молодые американцы, правда, Вит-

ни не понимал, как Элен ее терпит. Включен весь верхний свет, очень яркий. Все поверхности сверкают, точно свежевывмытые. Вентилятор над плитой включен на полную мощность, и все же чем-то пахло... чем-то густым, влажным, кисло-сладким, назойливым. Воздух был перегрет, как в парной. Повсюду валялись пустые банки от диетической кока-колы и крошки пиццы. На столе, возле кучи подарочных свертков, стояла бутылка калифорнийского красного вина. (Стало быть, Элен пила! Витни заметил, что глаза у нее остекленелые, губы распухли. И у нее тоже был синяк или синяки прямо под левым глазом. Заметно было то, что все возможные горизонтальные поверхности на кухне, включая большой разделочный стол в центре, были завалены свертками, оберточной бумагой, ленточками, адресными карточками. Витни поразился, что накануне своего торжественного отъезда за границу его невестка и племянницы посвятили себя неистовым рождественским приготовлениям. Как это по-женски, думать о других в такое время! Неудивительно, что их лица так воспалены и лихорадочны, а глаза болезненно светятся.

Элен предложила Витни выпить, или он предпочитает кофе?

— На улице так холодно! И тебе снова придется выходить! — поехившись, сказала Элен. Девочки тоже поехились и засмеялись. Что смешного, подумал Витни. Он согласился на чашечку кофе, если не сложно, а Элен быстро ответила:

— Конечно, не сложно! Вовсе нет! Теперь все несложно!

И снова они дружно засмеялись.

Известно ли им, раздумывал Витни, что Квин их предал?

Словно прочитав мысли Витни, Триш вдруг сказала:

— Папа собирался на Шейсельские острова. Вот куда он уехал.

Усмехнувшись, Молли возразила:

— Нет, дурочка... папа уехал в Токио. Папа в Токио. По делам.

— Он с нами встретится потом. На Шейсельских островах. «Тропический рай в Индийском океане». — Триш сняла перчатки и бросила их на стол.

— Сейшельские острова, — поправила Элен. — Но мы туда не поедem, никто из нас. — Она говорила специально для Триш, слегка повысив голос, готовя кофе быстро и ловко, едва следя за своими движениями. — Мы едем в Париж, Рим, Лондон, Мадрид.

— Париж, Рим, Лондон, Мадрид, — повторяли девочки в унисон.

Над плитой шумно вращался вентилятор. Но плотный жаркий воздух кухни расходился медленно.

Элен болтала о предстоящей поездке, а Витни заметил, что синяки у нее на лбу были фиолетово-желтые. Если бы он спросил, откуда они, она, несомненно, сказала бы, что упала и ушиблась. Синяк под глазом Молли... без сомнения, тоже результат случайного ушиба. Витни вспомнил, как много лет тому назад у Пакстонов на лужайке во время семейного торжества внезапно и без видимой причины Квин ударил свою молодую жену по лицу... Это произошло так быстро, что почти никто из гостей не заметил. Раскрасневшийся и разъяренный Квин громко произнес для свидетелей:

— Пчелы! Проклятые пчелы! Хотят укусить бедную Элен!

Со слезами на глазах Элен устояла на ногах и, сильно расстроенная, поспешила в дом. Квин за ней не пошел.

Никто за ней не пошел.

Никто не говорил о случившемся с Квином. Никто, насколько известно Витни, вообще не говорил об этом.

Витни неприязненно подумал о комментариях, которые будут на Рождество, когда обнаружится отсутствие Квина и его семьи. *Отсутствуют по собственному желанию* — будет звучать именно так. Он подумал, что ему не хочется спрашивать Элен, говорила ли она

уже с их мамой, объяснила и извинилась ли перед ней. Почему они не обождали до января со своей поездкой? Квин и его подружка тоже?

Нет, лучше не спрашивать. Ибо это не его, Витни Пакстона, дело.

Элен подала Витни его кофе, предложила сливки и сахар, протянула ложечку, но та выскользнула из ее пальцев и со звоном упала на влажный вымытый пол. Согнувшись пополам, Триш подняла ее, подкинула за спиной и поймала над своим плечом. Элен сердито сказала: «Триш!» — и засмеялась.

— Не обращай на Триш внимания, у нее эти дела, — шаловливо сообщила Молли.

— Молли!.. — воскликнула Элен.

— Что б ты... — огрызнулась Триш, ударив сестру.

Смушенный, Витни сделал вид, что не слышит. Действительно ли Триш в возрасте, когда у нее могла быть менструация? Возможно ли такое?

Он поднес чашечку кофе к губам явно трясущимися пальцами и сделал глоток.

* * *

Так много подарков! Элен с девочками, наверное, работали часами. Витни был тронут и одновременно слегка озадачен их трудолюбием. Это было так по-женски, купить дюжины подарков, которые в большинстве своем никому не нужны и, как в случае с богатыми Пакстонами, никто в них не нуждался. И все же подарки весело и спешно заворачивались в дорогую нарядную красно-зеленую сверкающую бумагу, завязывались пышные банты, крученые тесемки, фло-мастером надписывались карточки — папе Пакстону, тете Винни, Роберту — это лишь немногие из попавшихся на глаза Витни. Он заметил, что большинство коробочек были обернуты и аккуратно сложены вместе. Оставалось упаковать не более полудюжины различных по величине, от маленькой шляпницы, до овального контейнера размером три на два фута, сде-

ланного из какого-то легкого металла. Один необернутый подарок был позолоченной коробкой дорогих шоколадных конфет, тоже металлической. Повсюду на столах, включая разделочный, валялись кусочки оберточной бумаги, ленточек, скотча, бритвы, ножницы, даже садовый секатор. На полу в зеленом пластиковом мешке, словно ожидая быть убранными в гараж или выброшенными, лежали разнообразные инструменты — молоток, клещи, садовые ножницы, нож мясника, электрический нож Квина.

— Дядя Витни, нечего глазеть!

Молли и Триш, озорничая, повисли у Витни на руках. Конечно, сообразил Витни, они не хотели, чтобы он нашел свой рождественский подарок.

Но, дразнясь, он сказал:

— Почему бы мне не забрать свой подарок сегодня и избавить вас от отправки его по почте? Если, конечно, у вас для меня есть подарок.

— Вит, дорогой, конечно, у нас для тебя есть подарок! — сказала Элен с упреком.

— Но сейчас мы не можем тебе его отдать.

— Почему? — Он удивленно заморгал. — Обещаю не открывать его до Рождества.

— Потому, что... мы просто не можем.

— Даже если поклянусь, чтоб я сдох?

Элен и девочки переглянулись, их глаза сияли. Как похожи на маму эти девочки, думал Витни, охваченный порывом любви и ощущением утраты, — эти три хорошенькие, миловидные женщины, словно добрые феи, — семья брата Квина, а не его семья. У сестер была светлая нежная кожа и большие печальные, красивые серые глаза. В них было мало от Квина или от Пакстонов, только завитки кудрей и дерзкий изгиб верхней губы.

Они заговорщицки хихикали.

— Дядя Витни, — сказала Молли. — Мы просто не можем.

Время прошло незаметно и быстро. Они говорили на нейтральные темы: о путешествиях вообще, о сту-

денческих годах Витни в Лондоне. Они не говорили и даже не упоминали о Квине. Витни почувствовал, что, несмотря на весь их энтузиазм и явную симпатию, им хотелось остаться одним, чтобы закончить приготовления. Витни тоже хотел уйти.

Все же это был дом Квина.

* * *

Так же как и кухня, ванная была чисто вымыта. Раковина, унитаз, ванна — все сверкало безупречной чистотой после обработки специальным моющим средством. А над головой во всю мощь работал вентилятор.

Здесь тоже был этот специфический запах — густой, слегка тухлый, *запах крови*. Моя руки, Витни с беспокойством размышлял об этом запахе, он ему о чем-то напомнил... но о чем?

Вдруг он вспомнил: много лет тому назад, когда он был еще ребенком, в летнем лагере в Мэйне Витни видел, как кухарка потрошила цыплят, громко на-свистывая во время работы, — опускала мягкие тушки в кипяток, шипала перья, отрубала и отрывала крылья, лапки, ноги, вынимала руками влажные скользкие потроха. Ох! Зрелище и запах были столь тошнотворны, что Витни не мог есть курятину многие месяцы.

Теперь он с отвращением подумал, не связан ли этот тяжелый запах с менструацией.

Щеки его зарделись, ему совсем не хотелось это знать, совершенно.

Женщины должны хранить некоторые секреты, хранить их от мужчин. Не так ли?

* * *

Потом, когда Витни собрался уходить, Элен и девочки его удивили: они все-таки отдали ему его рождественский подарок.

— Только если ты обещаешь не открывать его до Рождества!

— Только если ты обещаешь.

Элен сунула подарок ему в руки, и Витни, довольный, принял его: маленький легкий сверток, красиво завернутый в красную с золотом бумагу, размером с коробку для мужской сорочки или свитера. «Дяде Витни с любовью. Элен, Молли, Триш». Имя Квина пропущено специально. Витни ощутил удовлетворение от того, что Элен отомстила своему эгоистичному мужу, как бы мала и безвредна ни была эта месть.

Элен с дочками проводили Витни через темный дом до самой двери. В гостиной он заметил чехлы на мебели, свернутые ковры, чемоданы и небольшие контейнеры. Это были приготовления не для короткой поездки, а для очень долгого путешествия. Возможно, Квин уговорил Элен на какой-то сумасшедший план, и, как всегда, в свою пользу.

Что бы это могло быть, Витни не догадывался и не собирався выяснять.

У двери они попрощались. Элен, Молли и Триш поцеловали Витни, он поцеловал их в ответ. От мороза дыша паром, чувствуя себя сильным и свободным, он сел в машину, положив подарок на сиденье рядом. Во след ему слышались девичьи голоса.

— Помни, ты обещал не открывать его до Рождества! Помни, ты обещал!

И со смехом Витни крикнул:

— Конечно... я обещаю.

Легкое обещание, ибо ему было совершенно безразлично, что они ему купили. Конечно, это сентиментально, и он был очень тронут, но его мало интересовали ежегодные ритуалы с подарками — свои он распорядился разослать прямо из магазина — а если предметы подаренной одежды были не его размера, то он редко их обменивал.

Направляясь через город к себе домой, Витни был доволен тем, как складывались дела. Он отважился прийти в дом Квина. Элен с девочками запомнят это

надолго. Рядом лежал подарок, который они ему преподнесли, они верили, что он не откроет его заранее.

«Как это по-женски, как мило, что они так нам доверяют, — думал Витни, — и что хотя бы сегодня их доверие не будет обмануто».

СМЕНА ФАЗЫ

«Кто это? Он шел за мною или просто ждал здесь за дверью?» Джулия Меттерлинг скорее почувствовала, чем увидела следившего за ней мужчину. Она ни взглянула на него, ни столкнулась с ним. Он неподвижно стоял слева (возле стены?), так что ей было трудно его видеть боковым зрением. Казалось, вокруг него существует гравитационное поле. Джулия насторожилась, но не испугалась, она была уверена, что в этом людном месте, конечно, была в безопасности — рабочий день в главной конторе здания суда графства Брум. Она зашла сюда, чтобы получить продленные паспорта для себя и мужа, и уже собиралась уходить, оставив женщине за стойкой чек и сунув паспорта с квитанцией в сумочку. Привычно повернувшись, Джулия взглянула на мужчину, который, как ей показалось, за ней следил, и, к своему удивлению, увидела, что он в форме, — это был один из многочисленных охранников, находившихся в здании суда. Он с откровенной наглостью глядел на нее.

«Я его знаю? Не может быть. Знает ли он меня?» Смуглый мужчина, лет тридцати пяти, с насмешливыми глазами, прямыми седеющими коричневыми волосами и ироничным ртом. Он был грузного телосложения и как-то грубо, по-деревенски, привлекателен. Металлически-серая форма с голубой отделкой плотно

облежала его торс. Джулия видела, или ей казалось, что видела, клин его блестящей кожаной кобуры и рукоятку револьвера у левого бедра. Это был незнакомец, он никак не мог знать Джулию Меттерлинг или ее мужа Нормана, и все же он продолжал нагло смотреть на нее, словно они знакомы.

«Нет. Перестаньте, я вас не знаю».

Их глаза встретились и несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом, смутившись и покраснев, Джулия отвела взор и быстро вышла из комнаты. Она задумалась над женской привычкой чувствовать вину за мужское внимание, как будто существовал повод к взаимности!

Какое ужасное место — это здание суда Брума! Джулия стремилась поскорее уйти и теперь раздумывала, спуститься ли по лестнице или на лифте. Лестница была грязная и плохо освещенная, не очень приятная (недавно она узнала, что ее школьную подругу, исполнительного директора Си-би-эс изнасиловали и сильно избили на лестнице в довольно приличном и вроде бы безопасном здании Нью-Йорк Сити. Какой ужас!). Лифт показался Джулии более надежным, и она, нажав кнопку, стала ждать.

«Следит ли он? Преследует ли? Нет».

Она осторожно посмотрела через плечо, но увидела только пожилую негритянку и мальчика, входивших в контору. Охранника нигде не было видно. Всего лишь воображение! Ерунда. Ведь Джулия Меттерлинг была немолода — ей тридцать семь лет. Даже юной девушкой, в расцвете своей стройной и темноглазой прелести, она не была той, на кого неизбежно устремлялись взоры, когда она входила в комнату или шла по улице. Да ей и не хотелось такого внимания. Поскольку что по сути означает подобный абстрактный мужской интерес? Содержит он обещание или угрозу?

Лифт шел убийственно медленно. Как все здание суда, он тоже был старый, вернее антикварный. Ожидание становилось долгим. Джулия снова нажала кнопку, пытаясь скрыть нервозность. До чего же ей хотелось, как глупенькому испуганному ребенку, поскорее уйти!

Меттерлинги, Джулия и Норман, жили в провинциальном местечке Квинстоне в двадцати милях от города. Подобно многим жителям Квинстона, они редко посещали грязный индустриальный центр, где находились власти графства, разве что в случае крайней необходимости. Джулия не бывала здесь годами, Норман, возможно, никогда. У него была должность старшего научного сотрудника в «Центре передовых исследований Квинстона», и если он неохотно соглашался путешествовать, то обычно это были поездки за тысячами миль на научные конференции в отдаленных уголках планеты. *Норман так поглощен своей работой! Так увлечен, как взрослый ребенок!* Даже за обедом, хмуро глядя в свою тарелку и начиная жевать все медленнее и медленнее, Норман был занят, он работал, и Джулия знала, что беспокоить его нельзя.

Она работала помощником хранителя в частном Музее изобразительных искусств в Квинстоне, но на ней были также все домашние дела и поручения, такие как, например, продление паспортов, своего и Нормана. (В следующем месяце в Токио ему предстояло выступить с докладом о смене фаз на раннем этапе развития Вселенной. Джулия надеялась, что поедет с ним.) Она была согласна отвечать за практическую, бытовую часть их жизни и никогда не возражала. У нее не было детей и других родственников, чтобы о них заботиться (кроме Нормана).

Союз практика и небожителя, между обыкновенным и необыкновенным?

Наконец лифт пришел: дверь открылась, и Джулия автоматически шагнула внутрь.

Слишком поздно.

Когда дверь за ней закрылась, она увидела, что в кабине был еще один человек: охранник.

Джулия уставилась на него, слишком удивленная, чтобы испугаться. «Это был он! Но как он проскользнул на другой этаж?» Он улыбнулся ей, обнажив неровные, желтоватые зубы в молчаливой усмешке, потом резко, по-собачьи тряхнул головой, отбросив со лба прядь сальных волос.

Джулия прошептала:

— Что ва... Кто вы?..

Он начал приближаться к ней. К ней! Когда Джулия вскрикнула и толкнула его сумочкой, охранник схватил ее за плечи, прижал спиной к стенке лифта, да так, что она закричала от боли. Он похотливо навалился на нее.

— Нет! Перестаньте! Помогите!

Слова Джулии оборвались, потому что охранник зажал ладонью ее рот.

Вблизи его кожа была грубая, точно в оспинах, глаза влажные, жестокие, насмешливые, лицо лоснилось от жира. Джулия больше не могла кричать, протест ее был молчаливый, внутренний. «Нет! Не обижайте меня! Кто вы?» А лифт поднимался неровными толчками мимо первого этажа, мимо второго, третьего. Теперь насильник, смеясь и тяжело дыша, поднял юбку ее бежевого костюма до пояса и резко расстегнул свои брюки, совершенно не думая о том, как ей было больно. Прижав ее к стенке, он всадил свой член ей между ног во влагалище. Или это была кобура пистолета? Джулия взвизгнула. «Нет. Только не я!» Ее как будто окатило кипятком, который проник в нее, пронесся через ее тело и...

В ужасе Джулия проснулась, тяжело дыша, безнадежно пытаясь освободиться от чего-то между ног. Простыня? Разве она в постели?

Растерянно она руками проверила, действительно ли она в постели: тепло, темно, душно, спокойно. Ее муж спал рядом.

— Слава Богу! О, слава Богу! — чуть слышно проговорила Джулия.

«Какой отвратительный сон. Какой явный, почти реальность! И что за стыд».

Но Норман не проснулся. Он лежал на спине, издавая горлом сырой хриплый звук, не ведая о муках Джулии.

Было около четырех утра. Остаток ночи Джулия лежала на своей половине кровати, оцепенев, в поту и ознобе, то пробуждаясь, то вновь погружаясь в тре-

важное забытие. Она была благодарна Норману за его крепкий сон, похожий на сон большого ребенка: иногда Норман работал по ночам, прекрасно высыпаясь днем. Но если он засыпал ночью, то это был завидный сон забвения, словно сами принципы его существования еще не сложились, как у молодой Вселенной, которая была предметом его внимания всю жизнь. *Он никогда не узнает.*

К тому времени, когда в комнате забрезжил свет, Джулия забыла большую часть сна. Утром, разглядывая лицо в зеркале ванной, она заметила на шее синяк лилового цвета, не представляя себе, откуда он взялся — она забыла даже борьбу во сне и свое внезапное пробуждение.

* * *

На следующее утро, когда Норман уехал в свой Центр, Джулия отправилась в суд Брума, как и планировала. *Странно... до чего неосмотрительно...* Припарковав машину, подойдя к зданию и поднимаясь по лестнице, она ощутила странное возбуждение. Каким знакомым показался ей старый суд снаружи и внутри, как узнаваем даже его запах, словно она была здесь совсем недавно! Хотя на самом деле она не заглядывала сюда годами. На лифте Джулия спустилась вниз, прошла в контору, взяла паспорта Нормана и своей, заплатила безо всяких происшествий. Однако, к ее смущению, когда она заполняла чек, руки у нее дрожали. Она огляделась: незнакомые люди, служащие за стойками, охранник у двери — никто не обращал никакого внимания на Джулию Меттерлинг.

Она считала себя женщиной привлекательной. Не первой молодости, но достаточно интересна. Норман был уверен, что она красива, сказав ей об этом застенчиво и неуклюже, как будто Джулия могла высмеять его (но этого не произошло. Глубоко тронутая, желая верить, что в своей неопытности он действительно видел в ней красавицу, она сдержала смех). В то утро,

одетая в бежевый льняной костюм, сшитый на заказ, и элегантные туфли, с жемчужными бусинками в ушах, Джулия не ожидала и не приветствовала бы какого бы то ни было внимания незнакомых людей. И казалось совершенно нормальным, что, войдя в здание суда Брума по своему делу, она не привлекла ничьего внимания, будто, *будто была невидимой..*

Словно один из кварков Нормана. Или... это лептоны? Хадроны? Глюоны? Скварки? Незаметно проходящие, как по волшебству, сквозь вакуум?

Джулия заметила несколько охранников в красивой серой форме с голубой отделкой, стоящих с некоторыми интервалами по всему зданию. Сейчас от них не было никакой пользы. Но Джулия представила, что во время суда могла возникнуть угроза беспорядка. Как тоскливо выглядели некоторые из них! Она подумала, странная мысль, умели ли они видеть сны с открытыми глазами в своей вынужденной летаргии.

Когда Джулия выходила из здания суда, один из охранников со смуглым лицом и прямыми седеющими коричневыми волосами вежливо открыл ей дверь, пробормотав: «Выход здесь, мадам!» — и лишь едва взглянув на нее.

И все же... как чувствовала себя примерная Джулия Меттерлинг, завершив свои утренние обязанности, быстро вернувшись в Квинстон и имея перед собою размеренное расписание на неделю? В ней уже начало зарождаться ощущение страха и возбуждения.

* * *

«Что со мною происходит, что меняется во мне? И почему теперь?»

Визит в суд был во вторник. Спустя три дня, присев в заднем ряду переполненного амфитеатра в «Центре передовых исследований Квинстона», где проходил симпозиум по строению Вселенной, Джулия снова ощутила это странное чувство: страх до тошноты, сопровождаемый почти детским восторгом и томлением.

Она торопилась в Центр из музея, где работала, боясь опоздать на заседание в четыре тридцать, и, хотя это опоздание было неизбежно, она надеялась, что никто не заметит ее оплошности. Норман, конечно, не заметит. Норман не из тех, кто замечает такие пустяки, но другие, его коллеги и их жены, заметят и не одобряют. Запыхавшись, Джулия села, пытаясь собраться с мыслями. «Почему мое сердце так сильно бьется? Теряю ли я сознание?» Являясь четырнадцать лет женой Нормана Меттерлинга, Джулия посещала научные конференции и прилежно слушала выступления своего выдающегося мужа. Определенно в тот день у нее не было повода испытывать волнение за его доклад.

На сцене находились пятеро ученых, среди которых выделялся Норман Меттерлинг, с серебристо-светлыми редующими растрепанными волосами, в очках с толстыми линзами. Он обсуждал какую-то важную проблему. Джулия старалась расслышать: звучали такие термины, как «радиус кривой», «суперсимметрия», «смена фазы», «проблема горизонта». Они были занятно знакомы Джулии. Не ее ли муж разъяснял их ей много раз. Поскольку Норман Меттерлинг верил, что мы живем в революционную эпоху и горестно, если не трагично, отставать.

С гордостью Джулия увидела, с каким вниманием мужчины и женщины в амфитеатре слушали, подавшись вперед, как в это время выступающие обсуждали значение последних лабораторных опытов, в которых восхитительно были воссозданы условия ранней Вселенной — Вселенной, возраст которой был всего лишь одна десятибиллионная доля секунды — с помощью установки, которая ускоряла поток протонов почти до скорости света, затем резко замедляя его. При таком торможении температура поднималась до уровня, когда, вероятно, слабые электромагнитные силы Вселенной концентрировались.

— Следовательно, — говорил Норман Меттерлинг дрогнувшим голосом, — возможно теоретически...

Джулия вздрогнула, увидев, что на Нормане надет мешковатый, потрепанный, темно-зеленый вельвето-

вый пиджак, который, она уверена, был выброшен много лет тому назад, а его редкие волосы топорщились, словно наэлектризованные. Почему он их не смочил водой! Когда Норман был увлечен, как теперь, он неуклюже вскакивал с места, спешил к доске, чтобы написать длинное непонятное уравнение, начинал заикаться, брызгать слюной, и был похож на медведя на задних лапах, взором устремленного в самого себя, чтобы сохранить равновесие. И все же — с каким интересом обратились к нему коллеги! Как внимательно слушала вся аудитория! Норман обнародовал теорию смены фазы ранней Вселенной, которая произошла сразу после Большого Взрыва, словно отвергая любое объяснение, кроме математического: десять в минус тридцать пятой степени секунды (что было представлено десятичной дробью в виде единицы, которой предшествовали тридцать четыре ноля после запятой). Перед этим, вероятно, «кварки замерзли, превратившись в хадроны».

Джулия беспокойно улыбнулась. Знала ли она это?

Сменой фазы был переход из одного состояния в другое, как переход газа в жидкость, жидкости в твердое состояние, твердого в газ, внешне целого в бесконечно распадающееся. Смену фазы нельзя вычислить, можно только пережить. Смена фазы была необратима.

Норман Меттерлинг говорил о суперсимметричных частицах, формирующих зеркальное отображение видимого мира той Вселенной, в которой обитаем мы.

— Взаимодействующий с нашей Вселенной, — произнес возбужденно Норман, — только через гравитационную силу. Поэтому...

Здесь другой дискутирующий астрофизик из Кэл-Тэк, грубо его перебил и направился к доске, чтобы начертить свою супергениальную формулу.

Джулия была сильно увлечена полемикой, даже когда с бьющимся сердцем, словно приближаясь к кризису, о котором не догадывалась, она тихонько соскользнула со своего места, чтобы найти туалет.

Как много раз она посещала совещания и приемы в этом Центре, и все же, к своему недоумению, всегда с трудом могла найти дамскую комнату. (Возможно в таком аскетичном месте, принадлежавшем в основном мужчинам, было очень мало места для женщин?) А лабиринты коридоров, лестничные пролеты, стеклянные тупики с видом на пустынные японские сады — что напоминали они ей, если не стремительно расширяющуюся Вселенную? *Неопределенность означает отдаленность. И сумасшествие.*

Но Джулия об этом не думала. Сжимая сумочку так, что побелели пальцы, она думала только о слабости своего желудка.

И наконец... какое облегчение! Она нашла женскую комнату, сразу за углом столовой Центра.

Выйдя из кабинки, она остановилась возле раковины и стала плескать холодную воду в лицо. У раковины рядом стояла толстая некрасивая женщина с седыми косами, уложенными вокруг головы. Она энергично мыла руки.

С деланной непринужденностью, вытирая лицо, Джулия сказала ей:

— Хорошо бы понять, о чем они говорят, не так ли? Знаю, что они хранят секреты ради Вселенной... настоящей Вселенной, не нашей. Вообще-то в школе у меня по физике и математике были пятерки, я не совсем тупица, но ничего не помню из школы, забываю все больше. Сто раз мне говорили, что такое «кварк», «черная дыра», что значит «омега»... но я вечно забываю, никак не запомню. Иногда хочется, чтобы все это провалилось! Просто... исчезло. — Джулия засмеялась, ожидая, что женщина присоединится. Но та просто холодно посмотрела на нее, вытерла руки о полотенце и вышла из туалета. С опозданием Джулия поняла, к своему крайнему смущению, что женщина была ни кто иная, как Эльза Хейзенберг, родственница великого Вернера Хейзенберга и признанный астроном обсерватории в Паломе.

В зеркале над раковиной Джулия увидела свой растерянный взгляд.

— Ну разве ты не дура — сравнивать себя с ней!

Ей не хотелось дальше пропускать симпозиум, но в спешке, вероятно, она не там свернула и заблудилась, очутившись в душном, жарком коридоре. Завернув за угол, она увидела, что находится позади кухонь Центра, где несколько рабочих, рослых негров в белой униформе, сидели вокруг стола, куря сигареты. (Марихуана? Гашиш? Нос Джулии уловил сладкий, едкий, проникающий запах.) Как только негры заметили Джулию, глаза у них расширились, а тела напряглись.

Застенчиво Джулия произнесла:

— Извините, но я... я, кажется, заблудилась. Как пройти в конференц-зал?

Мужчины продолжали смотреть на нее, словно никогда не видели ничего подобного. Теперь они стояли, прислушиваясь. Самый молодой, долговязый коричневатый юноша с причудливой квадратной стрижкой густых волос, выбритых по низу головы, пронзительно хихикнул и спрятал за спиной сигарету. Другой, грузный, с толстым фиолетово-черным лицом и распухшими губами, многозначительно улыбнулся Джулии.

«Они меня знают? Я их знаю?»

«Они меня ждали в момент пересечения этого времени, пространства и обстоятельств?»

Четверо черных мужчин в ослепительно-белой форме официантов. Белые зубы, белые улыбки. Золотые фиксы в этих улыбках. Несколько золотых колечек в левом ухе юноши... «Если это код, что означает этот код?» Джулия заметила, что мужчины переглядываются, слегка подавшись вперед. Один, ростом не ниже семи футов, с блестящей черной кожей, ловко сделал шаг вправо, преграждая Джулии путь к отступлению.

Джулия обеими руками сжала сумочку. Она стояла прямо, сохраняя достоинство, насколько могла. Сильно испуганная, готовая упасть в обморок, она пыталась говорить спокойно и вразумительно.

— Я... я, кажется, не туда свернула. Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста? Где находится... — Она замолчала, думая, знают ли эти неприятные люди слово «конференц-зал», — ...вестибюль? — Глаза мужчин

расширились еще больше и засветились радостью, а губы сжались. — Я на симпозиуме по строению Вселенной, вообще-то мой муж — один из участников, поэтому не хотела бы пропустить ни слова. Там теперь открываются секреты Вселенной. Сегодня представления человечества о небесах радикально пересматриваются! Так что, если бы вы помогли мне, пожалуйста... — Джулия попятилась, когда негры начали на нее наступать пружинящими легкими шагами, точно большие хищные кошки.

Вдруг, испугавшись, Джулия бросилась бежать, вывихнула лодыжку и почти упала, выронив сумочку. Молодой негр схватил ее сильными, как сталь, пальцами, достаточно длинными, чтобы обхватить ее грудную клетку.

— Нет! Пожалуйста! Отпустите меня! О, пожалуйста! — молила она. — У меня никогда не было предрассудков, клянусь! Я знаю, что Квинстон... белая территория... но я не разделяю... предрассудков соседей! Я жена... — Молодой негр залился смехом, толкнув Джулию к одному из своих приятелей, который поймал ее за плечо, вцепился в волосы и жестоко потрянул ее голову. Джулия вдохнула воздух, чтобы закричать, но не смогла. Она ползала, задыхалась, шептала.

— Я жена...

Но сознание ее помутилось. Она не могла вспомнить. Она не могла вспомнить имя мужа, даже свое позабыла.

«Меня здесь нет, тогда где я? А если я здесь... то кто я?»

Джулия Меттерлинг отважно сопротивлялась насильникам, даже несмотря на то, что была в меньшинстве — такая маленькая, слабая и беззащитная, — должна бы сознавать, что сопротивление бесполезно. Она могла кричать только внутри себя, беззвучно. «Нет! Нет! Пожалуйста! Разве вы не знаете, кто я?» К ее губам прилипли чьи-то отвратительные грубые губы, от удара по голове зазвенело в ушах. Ее груди ласкали, сжимали, щипали, ягодицы мяли словно тесто. «Нет! Пожалуйста! Не меня! Не здесь!» Мужчины возвыша-

лись над ней, пронзительно смеялись, источая запах пота самцов... ужасно! Джулию швыряли из стороны в сторону, перебрасывая из рук в руки, словно баскетбольный или бейсбольный мяч... не обращая внимания на ее рыдания и мольбы. «Нет! Не надо! Пощадите!»

Но черные мужчины в белоснежных одеждах были беспощадны к Джулии Меттерлинг.

В том самом здании, где ее выдающийся муж выступал с докладом о строении Вселенной, ее возможном возникновении и вероятном конце, Джулию Меттерлинг заташили на кухню, держа за руки, словно железными тисками, сдавили шею и разложили на столе. Черные мужчины проворно сдвинули блюда с фруктами и салатами (вскоре должен был начаться обед для двухсот участников симпозиума). Теперь она почти истерически кричала:

— Помогите! Нет! Пожалуйста!

Юбка ее синего саржевого костюма была задрана, трусы стянуты, чьи-то пальцы лезли в интимные места, а со всех сторон стояли негры, смеясь, воя и крича высокими резкими голосами:

— О-го-го! М-м-м! Кусочек белого мяса! Й-и-и-а! Черт!

Джулия, моргая, смотрела на пол, видя кровь, капавшую из ее носа на линолеум, а один зуб качался...

— Нет! Нет! Пощадите! О, пожалуйста!

Но не было пощады Джулии Меттерлинг.

Их руки быстро распинали на столе, теперь уже голое, ее тело. Один из них безжалостно, горячо и грубо ее насиловал, точно отбойный молот. Какая сокрушающая боль! Его гигантский, налитый кровью черный член пробивал себе путь между беззащитных ягодищ в ее анус, в нежные внутренности женщины, куда ни один мужчина, даже муж, имя которого она позабыла, никогда не проникал...

Теперь Джулия Меттерлинг набрала воздуха для крика, и кричала, кричала...

И проснулась, снова в своей постели, в темноте, среди смятых, мокрых от пота, простыней.

«Если я не *здесь*, то где же я? А если *здесь*... то кто же я?»

* * *

Какой стыд. Неопиcуемый.

Сон вызвал у Джулии отвращение... Такой явный сон. Был ли это сон? Она постаралась скорее его забыть. Но на следующий день и еще через день, даже когда подробности стремительно таяли, ужас не покидал ее... как будто каким-то образом он продолжал существовать в другом измерении Вселенной.

Конечно, Джулия решила скрыть раздражение от Нормана, который, узнав, смутился бы и расстроился. Возможно ли пребывать в сумасшествии, не будучи сумасшедшей? Джулия думала, могло ли умопомрачение пройти сквозь человека, как эти субатомные частицы, чье название она никогда не могла вспомнить. (Нейроны? Нейтрины?), проходящие сквозь плотную преграду, неся хаос, но вызывающие не более чем рябь на поверхности видимого мира.

Он никогда не узнает. Неужели?

* * *

Джулия не могла вспомнить ни детали, ни содержание своего сна (кроме того, что это происходило в Центре, в самом немыслимом месте для сна). Но она виновато, с чувством женского стыда, понимала, что порой оказывала на мужчин смертоносное влияние.

Прикасаясь к ней, мужчина, или мужчины, исчезали.

Она улыбалась. Нет, не улыбалась... она была озабочена. Взволнована.

«Значит, я «роковая» женщина? Сама того не зная?»

Она понимала, что это абсурд, чистая фантазия. И все же, проходили дни, ночи, а она боялась сна, боялась его власти над собой. Норман ничего не замечал... к счастью! Джулия его старательно оберегала, как

мать — талантливого ребенка, беспомощного инвалида. Он никогда не узнает. Не должен. Когда Джулия целовала его, приветствуя или на прощание перед уходом, он часто улыбался ей, удивленный и довольный, обнимал ее, ну просто как ребенок, и бормотал:

— Дорогая Джулия! Я люблю тебя!

Джулия была полна решимости хранить тайну, какой бы страшной она ни была, она запретила себе думать об этом на работе, в музее. Она профессионал, в конце концов, не так ли?

И все же это случилось. К отвращению Джулии, она начала ощущать это предвкушение страха, которое не оставляло ее повсюду, даже в музее, даже в святилище ее рабочего кабинета. «Что со мною происходит? Что изменяется во мне?»

Однажды утром у себя в кабинете, спустя несколько дней после симпозиума по «строению Вселенной», прошедшего в «Центре передовых исследований Квинстона» (этот симпозиум действительно состоялся) Джулия почувствовала, что ее пульс сильно бился, она пугалась самого простого — звонка телефона, голосов в коридоре, вызова куратора музея к себе в кабинет. (Куратор, самоуверенный мужчина средних лет, явно, хотя и скрывал это, был голубой, и совершенно не проявлял эротического интереса к Джулии Меттерлинг или к какой-либо другой женщине.)

Когда она проходила мимо музейных охранников, годами она делала это бесчисленное число раз, Джулия ощущала странное головокружение, не смела поднять на них глаза, не то чтобы улыбнуться или поприветствовать по имени, как обычно. *Нет. Не смотри. Лучшие не знают.* Отчетливо вспомнив последний кошмар (кухня в научном Центре? Но почему кухня? И было ли насильников много?), она не могла отделаться от мысли, что помимо ее воли она обладает странной силой разрушения, потому что, когда мужчины приближались к ней, когда осмеливались лишь коснуться ее, то жестоко наказывались уничтожением: исчезали.

Они того заслуживали. Животные.

Да. Но Джулии не хотелось ничего подобного, никакой жестокости. Конечно, она не хотела, чтобы такое происходило. Она не была мстительной. Она не была истеричной.

В то утро куратор назначил Джулии встречу с гаванским скульптором, выставку работ которого планировали в музее. Нервно изучая слайды скульптур и задавая ему, по ее мнению, дружелюбные вопросы, она вдруг поняла, что он пристально на нее смотрит, даже хмурится, сидя на краю стула, наклонив голову так, что выглядит весьма агрессивно. (Или он был застенчив? Неловок? Социально неустроен?) Джулия, моргая, глядела на массивные, уродливые, непотребные глыбы необработанного металла, которые представляли «искусство» скульптора и не вызывали никаких идей или мыслей. Сознание ее помутилось. Испарилось. В утробе заходили волны отчаяния. Она шевельнула рукой, скульптор сделал то же самое, как в зеркале. «Передразнивает?» У него были восточные черты, и в то же время европейские, кожа смуглая, словно загорелая, глаза как будто полужакрыты.

«Кто вы? Я вас знаю? Вы знаете меня?»

Джулия расспросила скульптора о его прошлом. Он отвечал скупой, односложными словами, потом вообще замолчал, уставившись на нее. На столе у Джулии была медная лампа, небольшая, но увесистая. Незаметно, все больше наполняясь страхом, она смирала расстояние между лампой и своей правой рукой. «Если только посмеешь испугать меня». Теперь ее пульс бешено бился, и она поняла, что он хорошо знал о ее состоянии. Когда она, как бы невзначай, вытерла пот с верхней губы, скульптор повторил движение, передразнив, потом вздохнул и вытер рукавом своего хлопчатобумажного пиджака пот со лба. Их глаза встретились.

«Нет. Опять. Ни за что».

Когда скульптор был готов ринуться вперед — Джулия почувствовала, что он готов ринуться, — она вдруг встала, схватила лампу, чтобы защищаться и, запинаясь, произнесла:

— Спасибо! Вы можете идти! Вы достаточно рассказали! Пожалуйста, заберите слайды!

Скульптор разинул рот, с его лица мигом слетела вся ирония и мужское нахальство, даже смуглость его лица побледнела.

— Просто уходите! Быстро! Пока не поздно! — крикнула Джулия.

Именно это он и сделал, мгновенно сметя со стола в сумку свои слайды.

* * *

Джулия огляделась. Стены, окна, знакомая комната. Ничего не изменилось. Все по-прежнему. Она на прежнем месте. Именно там, где была. (Дрожащая у стола, с тяжелой медной лампой, прижатой к груди.)

«Если я не здесь, то где же? А если я здесь, то кто я?»

* * *

Она рыдала, она потеряла всякий стыд, открывая свое сердце тому, кто мог помочь.

— Доктор, я так боюсь потерять рассудок! Уверена, что приближаюсь к нервному срыву... к сумасшествию!

Доктор Фитц-Джеймс сочувственно улыбнулся, но с некоторым сомнением.

— «Приближаетесь», Джулия?

Джулия уставилась на него, удивленно моргая. Как плохо выбрано слово. Можно приближаться к точке во времени или в пространстве, можно, например, приближаться к бездне. Но можно ли приблизиться к чему-либо столь неосоздаемому, как нервный срыв?

Заикаясь, она произнесла:

— Доктор, у меня бывают такие сны! Такие отвратительные, ужасные, непристойные сны! А теперь они переходят в реальность... вот чего я больше всего боюсь. — Она помолчала, промокая глаза бумажной

салфеткой, чувствуя вдумчивый взгляд доктора Фитц-Джеймса. Он был общепризнанным квинстонским врачом, — не психиатром, не психоаналитиком, — но терапевтом с репутацией доброго, знающего, современного, интуитивно-проницательного, с особенным талантом понимать женщин. Совершенно неожиданно доктор Фитц-Джеймс напомнил Нормана Меттерлинга, не столько по манере, сколько внешне. Там, где Норман был рассеян и мечтателен, доктор Фитц-Джеймс был чрезвычайно внимателен, почти осторожен. Джулия знала, что он впитывал каждое ее слово, когда она говорила.

— И эти сны не мои, на самом деле... они похожи на сны другого человека. Сумасшедшей женщины.

— Неужели, Джулия! Но откуда вы знаете!

— Откуда я... знаю?

Вкрадчиво, сложив вместе концы своих коротких, толстых пальцев, доктор Фитц-Джеймс произнес:

— Когда люди видят сны, они вне сознания, следовательно, они не могут быть уверены. — Он улыбнулся, словно разговаривал с ребенком или со слабо соображающим человеком. — Это известная загадка... Откуда мы знаем, что не спим, когда мы бодрствуем? Где доказательства? Материальный мир кажется нам реальным... — Он сильно ударил костяшками пальцев по столу так, что Джулия, чьи нервы были натянуты, как тетива, вздрогнула. — И поэтому, несомненно, так оно и есть. Но... существуем ли мы, как нам кажется? И кто мы? — Он сделал паузу ради драматического эффекта. Джулия почувствовала себя совершенно беспомощной. — И когда мы пробуждаемся, Джун... извините, Джулия... и сознание возвращается, воображаемое *Я* исчезает, безвозвратно. Поэтому... как мы можем узнать о том другом *Я*? О снах, которые оно вызывает?

Как он был похож на Нормана Меттерлинга: пряди седеющих волос, широкое, несколько тяжеловатое лицо, светло-голубые глаза за толстыми линзами. От него исходило ощущение абсолютной и неизменной логики. *Неопровержимой!* Но доктор Фитц-Джеймс был на

несколько лет моложе Нормана Меттерлинга, его большое тело было не полное, но более мускулистое, в голосе слышалось мужество, которое успокаивало Джулию и одновременно беспокоило. Ибо, будучи логичен, как подобает терапевту, был ли он так же честен?

Вытерев глаза, Джулия сказала тихо, но упрямо:

— Что бы там ни было, доктор, знаю я или нет, я ужасно расстроена. Я боюсь заснуть. У меня было что-то вроде простуды с высокой температурой. В музее, где я работаю, произошло недоразумение, и мне пришлось взять больничный на некоторое время. Все, что я могу сделать днем, — это вести домашнее хозяйство так, чтобы Норман не догадался, что что-то не так. Он будет убит, если узнает, ведь он полностью зависит от меня.

Теперь, когда факт был оглашен, Джулия поняла, что, возможно, это был центральный факт ее существования как жены. Доктор Фитц-Джеймс, поднявшись с места и ведя Джулию в смотровую комнату, говорил все тем же терпеливым, но скептическим голосом:

— Ну, Джулия, вам, женщинам, следует помнить, что определенные «факты» не более чем мимолетные настроения, игра нервов... чистое воображение. Ваши сны, моя дорогая, и вызванное ими отвращение «неревальные»... а значит не имеют значения.

Джулия вошла в смотровую комнату, которая была ярко освещена и по-больничному прохладна. С детства она боялась осмотров, даже понимая их необходимость. «Если я буду хорошей и послушной, мне помогут? Полюбят?»

Она прошептала:

— Не имеют значения?

Доктор Фитц-Джеймс засмеялся.

— Не могут быть наравне с реальными фактами.

На это Джулия ничего не могла возразить. Она стала раздеваться, трясущимися пальцами снимая верхнюю одежду, затем, дрожа, лифчик и трусики, благодарная, что доктор Фитц-Джеймс отвел глаза. На смотровом столе лежал бумажный халат, в который Джулия быстро нырнула. «Если я буду хорошей? Послушной?»

Но, как она сказала врачу, ее немного знобило. За последние ночи она спала всего несколько часов, аппетита тоже не было никакого. Как же она надеялась, что доктор Фитц-Джеймс найдет физическую причину ее недомогания! От которого она могла бы принимать таблетки — самое эффективное решение.

Джулия лежала на столе, положив ноги на подставки и широко раздвинув бедра.

Доктор Фитц-Джеймс тихо сказал:

— Подвиньтесь немного, Джун... Джулия!

И она почувствовала тепло его дыхания на своей коже. «Если я буду хорошей, хорошей, хорошей. Если буду послушной». Нельзя было скрыть, что Джулия дрожала от нетерпения, восторга, а может быть, и страха. Все ее половые органы были выставлены на холодный невыносимо яркий воздух смотровой комнаты и предоставлены профессиональному вниманию доктора Фитц-Джеймса. (Почему нет медсестры? Впрочем, Джулия была благодарна, что ее нет.) Ее веки трепетали. Верхний свет и потолок мерцали, словно готовые растаять.

Приглушенным, сдавленным голосом доктор Фитц—Джеймс произнес:

— А теперь, моя дорогая, будет слегка шекотно, обыкновенный осмотр.

Руками в резиновых перчатках он начал сжимать, массировать нижнюю часть живота, весь живот, груди.

Джулия резко вздохнула и задержала дыхание!

— О! О! — Она чуть не закричала громко или заплакала. — О... доктор!

Терапевт был такой старательный, он повторил процедуру еще раз, но уже более настойчиво.

— О... доктор! — вскрикнула Джулия, прикусив нижнюю губу.

— Очень хорошо, очень хорошо, — похвалил доктор Фитц-Джеймс. Он вспотел, его круглое лицо над Джулией маслянисто блестело. — А теперь обязательно расслабьтесь... взглянем на вашу матку, возьмем мазок.

Джулия попыталась расслабиться, даже ощущая дискомфорт и боль. К своему ужасу, рядом на столе

она увидела лоток с блестящими инструментами: несколько скальпелей, один длиною с разделочный нож, какой-то инструмент, напоминавший ложку для мороженого, еще один, похожий на взбивалку для яиц, и еще с подвижным наконечником для расширения влагалища. «Надо быть послушной. Если я буду слушаться, меня будут любить? Спасут?» Она напряглась, крепко схватившись за края смотрового стола. Колени ее сильно дрожали. Инстинктивно Джулии хотелось их сдвинуть. Как бы слегка, но доктор Фитц-Джеймс решительно раздвинул их пошире.

— А теперь, моя дорогая, может быть немного больно, но только немного, — сказал он, выбрав на лотке с инструментами ложку для мороженого, и исчез из поля зрения Джулии, встав между ее коленями.

Джулия затаила дыхание. Она почувствовала, как он пальцами водит вокруг губ влагалища... не больно, на самом деле, но она все же мгновенно напряглась.

Бархатным голосом он ее пожурил:

— Дорогая, ну расслабьтесь же! Для вас будет много лучше, если вы это сделаете.

Она слышала его дыхание, оно напоминало ей Нормана, когда у него был заложен нос. Она старалась повиноваться. «Не прикасайтесь. Не смейте. Кто я здесь?» Возникла пауза. Потом прикосновение холодного металла, потом — хотя Джулия и набрала воздуха для крика, но не смогла закричать, — внезапная, проникающая боль во влагалище, в шейке матки, да такой силы, какой она никогда в жизни не испытывала.

— Нет! Нет! — Джулия пыталась уползти от доктора Фитц-Джеймса, но левой рукой он схватил ее за ягодицы так крепко, что она не могла сдвинуться с места. Даже когда Джулия сопротивлялась, жестокий инструмент проникал глубже. Новая боль наполнила ее тело, и едва сознавая, что делает, Джулия дотянулась до чего-то, чем могла защититься.

И вот сверкающий нож-скальпель оказался у нее, так вовремя, и так фатально пришелся ей по руке. Она визжала. «Вот! Вот! Вот, это происходит снова!» Как безумная, она полосовала и колола изумленного муж-

чину, чье имя она больше не помнила. Его белая одежда залилась яркой кровью. Кровь на лице, кровь на его размахивающих руках, кровь хлестала из нескольких ран на его шее. «Я тебя предупреждала! И вот тебе, вот!» Ее насильник отступил назад с выражением восторга и абсолютного недоумения на лице, потом упал, свалив столик с блестящими инструментами и...

И исчез.

А Джулия Меттерлинг снова проснулась в холодном поту, испуганная, обнаружив себя... где?

* * *

В постели, в своей спальне, где спала многие годы, среди смятых простыней, пахнувших страхом. Во влагляще пульсировала боль, а соски обеих грудей набухли... «Как это случилось?»

Ночь. Она была одна. Включив дрожащими пальцами (они в крови? Нет?) лампу, Джулия увидела, что было три двадцать утра. Норман не спал, работал где-то в другой комнате.

«Я не здесь. Тогда, где я? А если я здесь, то кто я?»

Это была ночь после недоразумения в музее с участием гавайского скульптора, который делал или не делал «угрожающих» жестов в сторону Джулии Меттерлинг... Все решили, что ей лучше взять больничный.

Дрожа, Джулия поднялась с кровати (Она в крови? Нет.) и стала наполнять ванну горячей, насколько возможно терпеть, очищающей водой. Она не могла вспомнить сон, от которого очнулась, но ей казалось, что она знала своего насильника, одетого в белое. Он сделал ей очень больно, а потом был уничтожен: исчез, как другие.

Джулия была истерзана, но она улыбнулась. «Куда он исчез?»

Потом, вздрогнув, она подняла глаза и увидела, что дверь открылась и на пороге появился Норман, растерянный, осуждающий, его волосы торчали клочьями.

— Джулия, что ты делаешь? В такое время?

Определенно, у него было право возмутиться: Норман Меттерлинг только что из уединения своей работы среди галактик, звезд, атомов, кварков, лептонов, первозданного космического супа, готовый отойти ко сну. А где его жена?

Как странно он глядел на нее. Джулия голая — картина для него редкая. Ее мерцающе-бледное тело, ее нежные очертания, блестящие влагой груди, едва заметные, туманные кудри на лобке. И еще, очень странно, Джулия ему улыбалась, подняв к нему руки. Ядовитая, вызывающая, сексуальная улыбка. Да, ее колени поднимались тоже.

Джулия услышала, как произнесла низким, обещающим голосом:

— Норман, что, по-твоему, я делаю?

ЧАСТЬ IV

БЕДНЫЙ БИБИ

Доводилось ли вам пробуждаться от глубокого сладкого сна при звуке хриплого, сдавленного дыхания? Не очень приятное ощущение, скажу я вам!

Бедняжка Биби недавно разбудил нас ночью, и когда мы его нашли, не в куче одеял в самом уютном и теплом углу подвала, а в дальнем и темном, то нам показалось, что уже слишком поздно и Биби умирает.

Бедняжка страдал многие недели! С первого дня, как только он появился в нашем доме, Биби был подвержен респираторным заболеваниям — наследственная слабость, в которой был виновен какой-то предок. Но что толку винить кого-то теперь?

Биби сам был немало виновен. Если кто-нибудь, мой муж или я, порой замечали, что Биби вел себя странно: кашлял, хрипел, с отвращением отказывался от еды, мы говорили, что, может, следует отвезти его на осмотр? Кто-нибудь из нас соглашался: «Ой, пожалуй, следует». Но хитрый Биби подслушивал, понимал, и ему удавалось быть здоровым несколько дней. А поскольку для всех в доме было непросто заставить Биби сделать что-нибудь против его воли — у меня до сих пор шрам на левой руке после одной такой попытки прошлой весной! — мы продолжали откладывать это мероприятие.

И действительно, казалось, я клянусь, что Биби вполне хорошо себя чувствует.

Конечно, с Биби легко было обмануться. В этом состояла главная сложность его характера.

* * *

Поначалу, хотя это было давно, я помню, что мы были очень счастливы. Нам, моему жениху и мне, было обещано, что мы будем удачливы всю жизнь. Веря в эти обещания, расслабившись, мы решили распространить наше счастье на троих. Тогда нас было двое. И с безрассудством юности, может быть, еще и от одиночества мы привели в дом Биби.

Как давно это было, когда Биби впервые появился в нашем доме? Наисчастливейшее, самое энергичное, доверчивое и милое создание, какое только можно вообразить! Все восхищались его веселыми выходками, его неумностью и жизнерадостностью. Многие откровенно завидовали. Милый Биби! В нем горел волшебный, неугасимый огонь жизни. В те молодые годы глаза его были ясные и сверкающие, прелестные, слегка светящиеся разными оттенками янтаря. Его нахальный маленький пуговка-нос был розовый, влажный, холодный. Какие мурашки пробегали по мне, когда он терся им о мои голые ноги! Ушки у него торчали прямо вверх, а шерстка трещала от электрических искр, когда его гладили. Его маленькие острые зубки белоснежно блестели — нет, не хотелось слишком сильно дразнить Биби при виде этих зубов.

«Биби! Биби!» — обычно кричали мы, когда Биби носился по лужайке, твякая и повизгивая, как ошалелый. (Мы громко смеялись, хотя, возможно, это не всегда было забавно.) В доме, однако, такое поведение не допускалось. Но Биби обожал играть. Он взбегал по лестнице вверх, а потом кувырком мчался вниз, царапая и скребя лаковый паркет своими острыми когтями. «Биби, шалунишка! О, какой же ты милый!»

Мы его прощали, у нас не хватало воли серьезно его воспитывать, как советовали мудрые родители. Он

доверчиво тыкался своей разгоряченной мордашкой, желая знать, что мы любили его, и только его.

И конечно, тогда мы его любили.

Потом оказалось, с жестокой внезапностью, что Биби не был больше молодым и здоровым. Не был больше нашим милым шалунишкой.

Если он нас кусал — если его зубы впивались в нашу кожу до крови — прощение уже не было столь охотным.

Если он отказывался от еды или заглатывал ее так, что противно было смотреть, а потом его тошнило, понемногу по всему дому — разве можно было винить нас в том, что все чаще и чаще мы удаляли его в подвал, с глаз долой?

(А подвал вовсе не был темным, сырым, холодным. Место Биби находилось в теплом, уютном уголке возле печки, там было действительно удобнее всего. Очень миленькое место.)

Мы его не забывали, даже такого. Разве можно было его игнорировать! Он жалобно скулил, выл и скребся под дверью подвала, да еще нам (чаще всего мне) приходилось каждое утро убирать за ним мерзкую гадость.

Но долго злиться на Биби было невозможно. Когда он, лежа на спине, неуклюже ворочался кверху животиком, словно вспоминая про игры. Когда он глядел на нас: его хозяина и хозяйку, заплывшими слезью глазками, этим взглядом грусти, боли и животного страха — мы понимали, что, да, мы все еще любили его.

Но как ранит такая любовь!

Становилось ясно, что время Биби пришло.

Никто из нас не сможет допустить, чтобы он страдал.

* * *

И вот случилось так, что в ту ночь мы с мужем внезапно проснулись и приняли решение. Молча мы спустились в подвал до рассвета, чем сильно удивили

Биби. Он лежал, верю, что не нарочно, в своем темном холодном углу. Мы быстро и плотно завернули его в старое одеяло так, чтобы он не мог сопротивляться. К счастью, он был слишком слаб для сопротивления.

Потом мы отнесли его в машину, и я держала его у себя на коленях, пока муж вел машину в ветеринарную клинику в нескольких милях от дома. Мимо этого заведения мы проезжали много раз, замечая его хвастливую вывеску «Круглосуточная скорая помощь».

— Биби, хороший Биби, славный Биби, — шептала я, — все будет хорошо! Верь нам!

Но Биби скулил и выл, ворчал и рычал, а его слезящиеся глаза трагически вращались.

Когда мы подъехали к ветеринарной клинике, то удивились, что большая автостоянка возле нее неожиданно для такого часа была переполнена (еще не было семи часов). Внутри, в похожей на амбар комнате ожидания оказалось так много народа, что все места были заняты! Но нам повезло, когда мы назвали наши имена в регистратуре, в кабинет вызвали одну пару, и освободились два места.

Как неприятно и суетно было в ветлечебнице! Какая жаркая, душная и угнетающая атмосфера! Биби начал скулить и ворочаться, но был слишком слаб, чтобы доставить много неприятностей.

Он, вероятно, поел немного. Просто спасение, поскольку от страха или случайно его могло стошнить прямо на нас... или кое-что похуже!

Стало быть, мы сидели и ждали. Я предусмотрительно завернула Биби в одеяльце так, что видно было только кончики его ушей, для того чтобы оградить умирающего бедняжку от любопытных взглядов. Как противны они мне, разглядывающие нас с мужем и нашу слабо извивающуюся ношу.

Как много мужчин и женщин, супружеских пар сидели в комнате ожидания со своими больными, беспокойными зверюшками. Что за шум! Вой, лай, визг, крики, стоны, рвущие сердце на части. В воздухе ощущалась нервозность, и такой букет запахов! Комната ожидания была огромной, гораздо больше, чем

казалось снаружи. В сильном свете флуоресцентных ламп ряды сидений тянулись до бесконечности.

Муж шепнул мне, не взять ли ему Биби себе на руки? Но я уверила его, что, нет, бедняжка не так уж тяжел. Муж вытер глаза и сказал, что он такой отважный, не так ли? а я старательно ответила, поскольку была готова расплакаться, что мы все очень отважны.

Наконец назвали наши имена, мы встали. Биби еще раз слабо засопровтивлялся, но я крепко его сжала. «Все будет хорошо, Биби, скоро!» Я обещала, чтобы он нам верил!

Глаза посетителей следили за нами, когда мы шли в кабинет. Но я постаралась завернуть Биби как следует, чтобы его никто не видел. Бедняжка. И такой отважный!

* * *

Молодая медсестра в халате, забрызганном то ли кровью, то ли экскрементами, быстро провела нас в смотровую комнату, где не было окон. Только мрачные, серые, гладкие бетонные стены и пол. Высокий потолок, резкое освещение, сухой запах дезинфекции. Эта молодая женщина четко, механически и авторитетно приказала нам положить Биби — «вашего больного» — на металлический стол в центре комнаты, что мы и сделали, а потом снять одеяло, мы и это сделали. В тот момент, тихонько насвистывая, в комнату вошел врач, и я сердито подумала, что он свистит сквозь зубы. Он вытирал руки о бумажное полотенце, которое потом смял и небрежно бросил в сторону переполненной корзинки для мусора. Он был молод, а его оценивающий взгляд, которым он смерил моего мужа и меня, перед тем как повернуться к Биби, был шокирующе нетерпелив.

К тому времени мы с мужем совершенно измучились и терпение наше почти иссякло. Мы объяснили врачу, что долго ожидали его приема, что спешили сюда в надежде, что Биби получит быстрое, милосерд-

ное избавление от страданий, хотя, увы, он настрадался еще больше.

Биби лежал, дрожа, на железном столе с неприкрытым худым голым животиком, его ребра и тазовые кости сильно выпирали. Я не думала, что бедное животное так сильно похудело, и мне стало стыдно... точно я виновата. Глазки его были обложены высохшей слизью, нервно двигались, так что было ясно, что бедняжка все слышит и, конечно, понимает все, что о нем говорили.

— Доктор, — умоляли мой муж и я, — только взгляните на него! Вы поможете нам?

Стоя как вкопанный, молодой врач глядел на Биби. Он вдруг перестал насвистывать.

— Доктор?..

Но врач все еще стоял и глядел на Биби. Да, верно, Биби выглядел жалко, но, конечно, врачу доводилось видеть нечто похуже. Почему он так смотрел на Биби — скептически?

Наконец, повернувшись к нам, он спросил дрожащим голосом: «Что, это какая-то шутка?»

Мой муж, человек прямой, дрогнул под его взглядом. «Шутка? Что, в самом деле, доктор имеет в виду?»

Доктор спросил, смерив нас взглядом презрения и отвращения, что мы хотели, явившись к нему с этим? Должно быть, сошли с ума?

Мы с мужем были совершенно сбиты с толку и пришли в отчаяние. Мы сказали, что, доктор, нам нужно... милосердное избавление бедного Биби от мук. Неужели не видно, как ужасно от страдает, он совершенно безнадежен...

Но врач ответил грубо, мой Бог! Я не могу в это поверить!

— Доктор? Что это значит? Разве нельзя его... усыпить?

А все это время — при воспоминании сердце рвется на части — несчастный Биби беспомощно лежал перед нами на столе, тяжело дыша, дрожа, с пенистой полоской слюны на бледных губах. С содроганием я заметила, что его глаза больше не были янтарными, а выгля-

дели болезненно-желтыми, как при желтухе. Внутренняя сторона его ушей, которая когда-то была чистой и розовой, теперь была обложена коростой. Как неопишимо жестоко, что он свидетель такой сцены!

Врач шепотом посовещался с медсестрой. Женшина смотрела на Биби с отвращением... будто у нее было право судить.

Муж осмелился вмешаться, поскольку начал терять терпение.

— Доктор? Что, на самом деле, происходит? В конце концов, мы готовы заплатить. Вы постоянно делаете эту простую процедуру для других... почему же нам отказываете?

Но врач решительно отвернулся от Биби, как и от меня и моего мужа, словно более не мог выносить нашего присутствия. Он сказал, что это невозможно.

— Просто уберите... его отсюда, немедленно. Конечно мы ничего такого не делаем.

Упрямо и сердито муж повторил:

— Вы делаете это для других, почему нам нельзя?

Я присоединилась, проливая слезы:

— О, доктор, пожалуйста, почему нам нельзя?

Но молодой врач устал от нас. Он просто вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. Слова наши повисли в воздухе, как неприличный запах. Как мог кто-либо авторитетный, кого молят о помощи, как мог он быть таким жестоким? Таким непрофессиональным?

Мы с мужем тупо уставились друг на друга и на Биби. Мы двое, кто потерял всякое добросердечие и милосердие к третьему. Что было не так? Произошла ли какая-то ошибка? Какое-то ужасное недоразумение?

Но на стальном холодном столе под немигающим светом лежал Биби в предсмертной агонии, глядя на нас и слушая каждое слово.

Медсестра протянула нам грязное одеяльце Биби, словно какую-то заразу, и сказала с видом законного отвращения:

— Вы можете выйти через эту дверь на автостоянку. Прошу.

Стало быть (я знаю, что вы готовы строго осудить нас), мы сделали это сами. Мы сделали то, что нужно было сделать.

Поскольку общество отвернулось от нас. Какой еще у нас был выбор?

В пятидесяти футах от лечебницы была глубокая дренажная канава, полная грязной вонючей воды, где плавали, как остатки мечты, всякие нечистоты. Дрожа, с замирающим сердцем, глотая слезы, мы с мужем понесли Биби к канаве, решившись избавить бедняжку от его страданий.

Мы даже не сговаривались. Нет, вернуться домой с Биби не было никакой возможности. Мы не могли пройти через все это еще раз!

Ибо мы тоже были если еще не старые, то уже не молодые. Вместе с молодостью ушли наши надежды и жизнерадостность.

Мы, кому была обещана долгая счастливая жизнь, тоже немало пострадали.

И все же, даже в самых кошмарных снах мы не могли представить такой конец нашего любимого Биби. Такая жестокая задача, да еще требующая физических усилий и вдобавок отвратительная — окунуть бедного Биби в холодную, грязную воду и держать под водой его мордочку! Но как яростно, как отчаянно он сопротивлялся! Он, кто притворялся, что очень слаб! Он, наш дорогой Биби, который жил с нами так много лет, превратился в чужого, во врага... в дикое животное! Заставивший нас думать впоследствии, что скрывал от нас свою тайную сущность. Мы никогда не знали его по-настоящему.

— Биби, фу! — кричали мы.

— Биби, нельзя!

— Непослушный, Биби! Плохой мальчик! Фу!

Ужасная борьба длилась не менее десяти минут. Я никогда, никогда не забуду. Я, которая так любила Биби, была вынуждена стать его палачом, ради милосердия. А мой бедный, дорогой муж, самый деликат-

ный и цивилизованный среди мужчин, вообразите, каково ему было стать жестоким. Ибо Биби долго не хотел умирать. Муж ворчал и ругался, а на лбу у него выступили уродливые вены, когда однажды утром он держал в грязной воде в канаве мечущееся, извивающееся, бешеное существо, только представьте!

Однако, совершив что-либо в отчаянии, мы скоро забываем то, что сделали. «А вы, вы отпетые лицемеры, что бы сделали на нашем месте вы?»

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Отец говорил тихо.

— Мы съездим в магазин вместо мамы. Ты знаешь, она не очень хорошо себя чувствует. Купим индейку и все такое.

Я сразу спросила:

— Что с ней?

Мне казалось, что я знаю. Возможно. Это длилось уже три дня. Но папа ожидал такого вопроса от дочки тринадцати лет.

Голос у меня тоже был как у тринадцатилетней. Скрипучий голос, тягучий и скептический. Казалось, что папа не слышит. Он подтянул брюки, прицепил ключи к поясу, потому что мужчины не выносят звона ключей в кармане.

— Мы просто сделаем это. Для нее будет сюрприз. Вот и все. — Он считал на пальцах, улыбаясь. — День благодарения послезавтра. Мы ее удивим, и у нее будет время подготовиться заранее.

Но в его стеклянных глазах, которые скользили по мне, едва видя, была какая-то неопределенность, как будто стоявшая перед ним длинноногая худенькая девочка, вся сделанная из локтей и коленок, на лбу усыпанная прыщиками, словно песком, значила для него не более чем полоска мачтовых сосен в стороне от побитого погодой каменного, под кирпич, забора нашего дома.

Отец кивнул угрюмо, но довольным.

— Да. Она увидит.

Со вздохом он влез в кабину грузовика и сел за руль, а я рядом. Уже начинало смеркаться, когда он включил зажигание. Надо было поскорее укатить со двора, пока собаки не выскочили с лаем, просясь, чтобы их взяли с собой. Но, конечно, услышав, как мы захлопнули двери машины, с воем и визгом выскочили Фокси, Тики и Бак — гончие с примесью терьера. Фокси была моей любимицей, она любила меня больше всех. Ей было чуть больше года, но тело у нее было длинное, а ребра торчали. Большие влажные наблюдательные глаза глядели так, будто я разбила ей сердце, оставляя ее одну. Но, что же делать, если нельзя брать этих чертовых собак ни в школу, ни в церковь, и притом не хочется, чтобы в городе люди улыбались за твоей спиной, думая, что ты деревенщина со сворой собак.

— Домой! — закричала я на собак, но они только заскулили и залаяли еще громче, мчась рядом с пикапом, пока отец выруливал на вытрясающую душу гравийную дорогу. Какой грохот! Я надеялась, что мама не услышит.

Мне стало стыдно, при виде того, как Фокси отстала, поэтому я толкнула отца и спросила:

— Почему бы нам не взять их с собой в кузов?

А папа ответил таким голосом, точно говорил с идиоткой:

— Мы едем в магазин для твоей мамы, ты соображаешь?

Наконец мы выехали на дорогу, и папа нажал на газ. Крылья старого грузовика затрещали. Странная вибрация началась на щитке, словно застрекотал сверчок, которого нельзя найти, чтобы прихлопнуть.

Собаки бежали за нами очень долго. Бак впереди, Фокси за ним. Длинные уши хлопали, языки вывалены, словно на улице тепло, а не морозный ноябрьский день. Странное чувство появилось у меня, когда я слушала лай собак, громкий и беспокойный. Они лаяли так, будто думали, что мы никогда не вернемся. Мне хотелось смеяться и плакать. Такое бывает, когда

вас щекочут слишком сильно и становится невыносимо, а тот, кто вас щекочет не понимает этого.

Не то чтобы меня потом больше уже не щекотали, такую старуху, но не помню, чтобы меня щекотали в последние годы.

Собаки отставали все больше и больше, пока их совсем не стало видно в боковое зеркало. Лай тоже затих. Но отец все равно не сбавлял скорость. Проклятая дорога была такая ухабистая, что у меня стучали зубы. Но я знала, что бесполезно просить отца ехать потише или хотя бы включить фары. (Что он все равно сделал через несколько минут.) От него густо пахло — смесь табака, пива и этого резкого серого мыла, которым он пользовался, чтобы отмыть грязные руки. И еще другой запах, который я не могла определить.

Папа говорил так, будто я с ним спорила.

— Твоя мать — хорошая женщина. Она выкарабкается.

Мне не нравился этот разговор. В моем возрасте не хочется слушать пересуды взрослых про других взрослых. Поэтому я издала некий сдавленный нетерпеливый звук. Не скажу, чтобы отец услышал, но все же... Он вообще не слушал.

До города было одиннадцать миль, и как только мы оказались на шоссе, отец держал стрелку спидометра на шестидесяти милях в час. Но казалось, что ехали мы долго. Почему так долго? Я не надела куртку и была лишь в джинсах, в простой шерстяной рубашке и в ботинках, поэтому замерзла. Небо за холмами и горами на западе полыхало. Нам пришлось переезжать длинный шаткий мост через реку Ювиль, который очень сильно пугал меня, когда я была маленькой, и я крепко закрывала глаза, пока мы не въезжали на твердую землю. А теперь я не дала себе зажмуриться, я была слишком старая для такой трусости.

Кажется, я знала, что что-то произойдет. Возможно, в городе. Или когда мы вернемся домой.

Отец ехал строго посередине высокого, кованого, железного, шаткого, старого моста. К счастью, на

встречной полосе никого не было. Я слышала, как он бормотал себе под нос, как бы думая вслух:

— ...Купоны? В ящике? Господи, забыл посмотреть.

Я не сказала ни слова, потому что меня бесило, когда они оба разговаривали сами с собой в моем присутствии, словно кто-то ковыряет в носу, не замечая тебя.

(А я знала, о чем говорит отец: мама хранила товарные купоны в ящике кухонного стола. Она никогда не ходила в магазин без пачки этих купонов в кошельке. Говорила, что за годы сэкономила сотни долларов!.. Я пришла к выводу, что взрослые женщины любят возиться с вырезанием купонов из газетных реклам или зарываться по самые локти в какой-нибудь гигантской коробке стирального порошка или собачьего сухого корма, выживив купон в двенадцать центов. Только представьте.

Однако ко Дню благодарения набиралось немало продуктовых купонов. «Большие скидки» на индейку, плюс все, что дополнительно. Но в этом году в доме некому было заниматься купонами, тем более вырезать их и собирать.)

Дорога в город идет в основном под гору, в долину с предгорий, где всегда было прохладней. Издалека Ювиль казалась извилистой, с плоскими, почти вертикальными берегами, к которым спускались покатые улицы. У меня снова появилось неприятное ощущение, которое иногда появляется, когда мы приезжаем в город и мне начинает казаться, что я не так одета или плохо выгляжу — странное лицо, спутанные курчавые волосы. С моста отец свернул не в ту сторону. А я не успела его предупредить, поэтому пришлось проехать по незнакомым местам: высокие узкие сплошные дома вдоль дороги, некоторые из них заколочены и пусты. На улице мало машин. То там, то здесь старые ржавые бесколесые каркасы машин у обочины. Воздух тяжелый, как от дыма, запах горелого. От яркого заката остался лишь тонкий резкий полукруг далеко на западе. Так быстро надвигающаяся ночь заставила меня дрожать еще больше. Наконец-то супермаркет «А и

Па», но... что случилось? Здесь запах дыма и гари был сильнее. Фасад магазина закопчен, а витрины вдоль него кое-где заколочены фанерой, наклейки с рекламой особых покупок — ветчина, бананы, индейка, клюквенная смесь, яйца, бифштекс «Портхауз» — кое-где отклеились от стекла. Весь дом казался маленьким и не очень высоким, словно крыша провалилась. Но внутри виделось движение, свет, мерцающий и не очень яркий, там были и люди, покупатели.

Папа свистнул сквозь зубы:

— Ни черта себе! — но въехал на стоянку. — А мы возьмем да сделаем это.

На стоянке было всего пять или шесть машин, они странно отличались от всего того, что я видела и знала раньше. Было похоже, что они сделаны из сырой земли, у некоторых из щелей росла трава — высокий чертополох. За стоянкой ничего знакомого, никаких других домов или строений, только темнота.

Я прошептала:

— Не хочу туда входить, я боюсь.

Но отец уже открыл дверь, а я открыла свою и прыгнула. Запах дыма и гари стал такой сильный, что зашипало в носу и потекли слезы. Снизу шел другой запах — сырой земли, гнили и мусора.

Мрачно усмехнувшись, отец сказал:

— У нас будет обычная покупка ко Дню благодарения. Ничто нам не помешает.

* * *

Автоматические двери не работали, поэтому входную дверь нам пришлось открыть самим, что оказалось нелегко. Внутри нас обдало холодным сырым воздухом — пахло как из давно немытого холодильника. Я сделала попытку зажать рукой рот.

Отец осторожно принюхался.

— Ни черта себе! — шепнул он снова, словно это была шутка.

В магазине было темно, но в некоторых местах имелось освещение, где несколько покупателей, в основном женщины, катили перед собой тележки. Из восьми касс работали только две. Кассирши казались знакомыми, но выглядели старше — бледные губы, хмурые лица.

— Приступаем! — скомандовал отец, широко и принужденно улыбаясь, вытаскивая тележку. — Мы управимся в рекордное время.

Одно колесико тележки заедало через каждые несколько оборотов, но отец сильно и нетерпеливо толкал ее в направлении самой освещенной части магазина, где находился, как оказалось, отдел свежих продуктов. Мама всегда начинала отсюда. Как тут все изменилось, однако! Многие прилавки были пусты, а некоторые даже сломаны. Проходы частично были завалены гниющими кучами и фанерными ящиками. На полу лужи. Сыто гудели мухи. Мужчина с пухлым лицом, в грязной белой униформе, в мягкой, полями кверху, шляпе с надписью красными буквами «Выгодные праздничные покупки!» хватал из ящика кочаны салата и швырял в корзину так небрежно, что некоторые кочаны падали на грязный пол к его ногам.

Отец толкнул нашу хромую тележку к этому человеку и спросил, что, на самом деле, у них случилось, пожар? Но мужчина, не глядя на него, просто улыбнулся быстрой злой улыбкой.

— Нет, сэр! — ответил он, покачав головой. — Работаем как обычно!

Получив отпор, отец покатил тележку дальше. Я видела, как у него покраснело лицо.

Больше всего взрослый опасается быть оскорбленным другим человеком в присутствии своих детей.

Отец спросил меня, на сколько гостей собирается готовить мама в День благодарения, и мы попытались подсчитать сами. На восемь? Одиннадцать? Пятнадцать? Я вспомнила, или мне казалось, что вспомнила, будто в этом году приезжает мамина старшая сестра с семьей (муж, пятеро детей), но отец сказал, что нет, их

не приглашали. Он сказал, что наверняка явится дядя Риан, как всегда, каждый год, но я сказала, что нет, разве он забыл, что дядя Риан умер.

Папа заморгал, потер рукой свой колючий подбородок и засмеялся, покраснев еще сильнее.

— Господи. Думаю, так и есть.

Мы считали, используя все наши пальцы, но так и не смогли подвести итог. Папа сказал, что нам следует купить продуктов на самое большое число гостей, на случай, если вдруг заявятся все. Мама очень расстроится, если что-то будет не так.

Мама всегда делала покупки по листку, аккуратно исписанному карандашом: она обычно держала его в руке, посылая меня по всему магазину за покупками вдоль проходов, а сама медленно следовала за мною, собирая их в тележку и изучая цены. Знать цены было очень важно, говорила она, потому что они менялись каждую неделю. Некоторые товары были особые и по более низкой цене, другие по более высокой. Но товар не был товаром, если он испорчен, или гнилой, или только готов подпортиться.

Вдруг без предупреждения отец схватил меня за руку.

— Ты взяла список? — спросил он. Я сказала: «Нет», — а он толкнул меня, как ребенок. — Почему не взяла? — рассердился он.

Лицо отца в мигающем свете было жирное, в пятнах. Словно, несмотря на холод, он потел под одеждой.

— Не видела никакого списка, — сказала я обиженно. — Ничего не знаю ни о каком проклятом списке.

Если мама собиралась приготовить зеленый салат, то надо купить салат. Для пюре нужно картошки, и мясо, чтобы пожарить, и клюква для соуса, и тыква для пирога, и яблоки для яблочного соуса. Нам нужна еще морковь, бобы, сельдерей... Но самый лучший салат, который мне удалось найти, был вялый, бурый и выглядел так, будто был изъеден насекомыми.

— Положи его в тележку и пошли дальше, — буркнул отец, вытирая рот рукавом. — Скажу ей, что выбрали самый лучший.

Потом он гонял меня по магазину, а я шлепала по мокрому полу, пытаюсь найти в корзине почерневших картошек хотя бы дюжину приличных, и тыкву, которая бы не была мягкой и вонючей и несморщенные и нечервивые яблоки.

Толстомордая женщина с яркими оранжевыми губами и трясущимися руками тянулась к последней хорошей тыкве, но я выхватила ее прямо у нее из-под носа. Разинув рот, женщина повернулась посмотреть на меня. Она меня знала? Знакома ли она с мамой? Я сделала вид, что ничего не заметила, и потащила тыкву к нашей тележке.

Остальная часть отдела свежих продуктов была недоступна из-за провалившегося пола, и нам пришлось изменить свой маршрут. Отец обругал тележку, потому что она застревала все чаще. Что еще понадобится маме? Уксус, мука, постное масло, сахар, соль? Хлеб для фаршировки индейки? Я закрыла глаза, пытаюсь представить нашу кухню, внутренность холодильника, нуждавшегося в чистке, полки буфета, где во мраке бродили муравьи. Там было пусто, не так ли, или почти пусто... Мама не ходила в магазин уже много дней. Но мигающие лампочки «А и П» мешали сосредоточиться. Совсем рядом что-то капало. Отец громко разговаривал со мною, дыша паром, коротко и тяжело.

— ...В этом ряду? Что-нибудь? Нам нужно...

Он нырнул в полумрак прохода, наполовину заваленного кипами коробок, протекшими банками и пакетами.

Я сказала отцу:

— Не хочу.

А он заявил мне:

— Мама на тебя рассчитывает.

Он толкнул меня локтем, и я помчалась по скользкому полу через лужи чуть не по щиколотку глубиной. Из рта у меня тоже шел пар. Я быстро остановилась у полок, чтобы набрать всего, что еще могло понадобиться. Маме хотелось бы яблочного соуса в банках, поскольку свежих яблок нам не достать, да и, может быть, кукурузу в сметане тоже, а еще консервирован-

ный шпинат? Бобы? Ананас? Зеленый горошек? А вот, на почти пустой полке, банки с палтусом, закопченные и протекшие, издающие сильный несвежий запах — может, взять несколько, на следующую неделю? И большую банку свинины с зеленым горошком, папа ее очень любит.

— Пошевеливайся! В чем дело! Мы не можем торчать здесь всю ночь! — из дальнего прохода меня звал отец, сложив ладони рупором.

Я выбрала самые хорошие банки, прижала их к груди, но некоторые падали, и приходилось останавливаться и поднимать их из вонючих луж.

— Черт тебя побери, девчонка! Я сказал, пошевеливайся! — В голосе отца мне почудился страх, которого я прежде не слышала.

Дрожа, я побежала к нему, свалила банки в тележку, и мы пошли дальше.

Следующий проход был закрыт слабо натянутой веревкой... Там в полу зияла глубокая дыра размером с лошадь. Часть потолка отсутствовала, можно было заглянуть внутрь чердака и увидеть оголенные балки, с которых падали капли ржавой воды, тяжелые, как выстрел. Здесь находились полки, в изобилии заполненные стиральными порошками, средствами для мытья посуды, чистки туалетов, аэрозолями от насекомых, ловушками для муравьев. Женщина в зеленой ветровке пыталась достать через запретную зону какую-то коробку, балансируя на краю дыры, но не смогла дотянуться и оставила эту затею.

Я молилась, чтобы отец не послал меня в то место, но, конечно, он указал туда. Он настаивал:

— ...Полагаю, ей понадобится мыло для посуды, белья, давай...

Я знала, что выбора нет. Я пробиралась по краю дыры осторожно, как только могла: сперва одна нога, потом другая, пытаюсь стать еще тоньше, чем была, не смея вздохнуть. Ржавые капли падали мне на волосы, на лицо и руки. «Не смотри вниз! Не смотри!»

Я наклонилась, изо всех сил протянув руку за коробкой моющего средства. Там были обычные, экономичные, большие, гигантские и просто огромные. Я выбрала экономичную, потому что она стояла ближе всех и на вид была не слишком тяжелая, хотя оказалась довольно увесистой.

Сумев достать еще коробку мыла для посуды, я вернулась к отцу, которой стоял, опершись на тележку, прижав руку к груди под расстегнутым пиджаком. Я неловко бросила коробку с порошком в тележку, и она порвалась, просыпав тонкую серебристую с едким запахом пудру на салат. Папа выругался и дал мне такую затрешину, что зазвенело в ухе, а я подумала, что лопнула барабанная перепонка. На глазах у меня навернулись слезы, но будь я проклята, если бы заплакала.

Я вытерла лицо рукавом и прошептала:

— Ей не нужна вся эта дрянь. Ты знаешь, что ей нужно.

Отец снова меня ударил, теперь по губам. Я развернулась на каблучках и вытерла кровь.

— Ты маленькая дрянь, — злобно сказал он.

Отец сердито толкнул хромую тележку, и она заковыляла на трех колесах, четвертое колесо остановилось навсегда. Я снова утерлась, пошла следом, раздумывая, какой у меня выбор. Мама рассчитывала на меня, возможно. Если она вообще на кого-то рассчитывала.

Дальше шли мука, сахар, соль. А потом кондитерский отдел, где полки в основном были пустые, но на полу валялось несколько батонов хлеба, разбухших от сырости. Отец обреченно заворчал, и мы подобрали их и положили в тележку.

Следующим был молочный отдел, где стоял сильный запах прокисшего молока и прогорклого масла. Отец глядел на молочные лужи под ногами, губы его шевелились, но говорить он не мог. Зажав нос, я ринулась вперед, подбирая то, что могла найти испорченного или хотя бы испорченного не очень сильно, маме нужно молоко, да и сметана, да и масло, и

свиной жир. Яйца тоже. Мы больше не разводили цыплят, куриная чума прошлой зимой унесла их всех, поэтому нам нужны были яйца, но я не могла отыскать ни одной полной коробки. Я ползала на корточках, стараясь дышать неглубоко и коротко, и отбирала яйца, вынимая хорошие, или мне казалось, что хорошие, из одной коробки и клала их в другую. Нужно было набрать хотя бы двенадцать. Это заняло время, а отец стоял в нескольких ярдах и ждал, сильно нервничая, так что я слышала, как он разговаривал сам с собой, но не своими обычными словами.

Я надеялась, что он не молится. Было бы противно слушать. В моем возрасте не хочется слышать, как взрослые, не говоря уже об отце, да и о матери (может, больше всего именно о матери) вслух молят Бога о помощи. Ведь, слыша такую молитву, ты знаешь, что помощи не будет.

Рядом с кондитерским отделом находился отдел мороженых продуктов, где все выглядело так, будто там прошелся великан. Содержимое холодильных камер было рассыпано, смято и пахло мочей. Молодая мамаша, толстая, со слезами на щеках, с тремя детишками на поводке, рылась в куче замороженных пакетов, в то время как дети дрыгались и вопили. Коробки с продуктами в основном растаяли и слиплись. Мороженые обеды раскисли. Но молодая мамаша все-таки согнулась над ними, перебирала и искала, тихонько плача. Я подумала, не взглянуть ли и мне — мы все любили мороженое, а морозилка дома была пуста. Коробки из-под мороженого лежали в лужах растаявшей сласти и еще чего-то черного, что шевелилось и шипело, как кипящее масло. Я подошла поближе, толкнула ногой коробку малинового мороженого и увидела под ней блестящую кучу тараканов. Задышавшись, толстуха схватила шоколадное мороженое, с отвращением стряхнула с него тараканов и положила в свою тележку рядом с другими продуктами. Она взглянула на меня и улыбнулась с безнадежной злобой, означавшей: «А что же делать?» Я улыбнулась ей в ответ, вытерев липкие руки о джинсы. Но мне не нужно было никакое мороженое, спасибо, не надо.

Отец нетерпеливо прошипел:

— Пошевеливайся! — Он переминался с ноги на ногу, словно хотел в туалет.

Поэтому я скорее потащила молочные продукты, которые смогла выбрать, к тележке. Она наконец-то наполнилась.

Теперь мясной отдел, где мы должны были раздобыть праздничную индейку, если собирались устроить настоящий День благодарения. Этот отдел, как и отдел мороженых продуктов, тоже был сильно разрушен. Разбитые прилавки валялись на полу горами искореженного металла, битого стекла и тухлого мяса. Я видела куриные тушки, похожие на змей кольца колбас, кровоточащие окорока. Запах здесь был совершенно нестерпимый. Повсюду ползали тараканы. Тем не менее за остатками прилавка стоял мясник в белой униформе. Он подавал окровавленный сверток мяса женщине с волосами морковного цвета и без бровей — школьной подруге мамы, чье имя я не знала, — которая выглядела душой, так рьяно благодаря продавца.

Следующая очередь была папина. Он шагнул к прилавку, спросив громким голосом, есть ли индейки, а мясник самодовольно ухмыльнулся, будто вопрос был дурацким, и отец переспросил погромче:

— Мистер, нам нужна приличная птичка фунтов на двадцать, не меньше. Моя жена...

Мясник был обыкновенный, знакомый мне продавец, но какой-то не такой: высокий, бледный как мертвец, с впалыми щеками, без половины зубов, с единственным насмешливо блестящим глазком-бусинкой. Его униформа была измазана кровью, на нем тоже была шляпа с надписью красными буквами «Выгодные праздничные покупки!»

— Индейки кончились, — противно и самодовольно сообщил мясник. — Кроме того, что осталось в холодильнике. — Он указал на стену за разбитым прилавком, где зияла гигантская дыра вроде тоннеля. — Если хотите туда залезть, мистер, то не возражаю. — Отец уставился в дыру, шевеля губами, но не издав ни звука. Я съежилась, зажав пальцами ноздри, и попыталась

вглядеться туда, где было темно и сыро и где на скользком полу что-то валялось (Куски мяса? Скелеты?) и что-то или кто-то шевелился.

Лицо отца было мертвецки бледным, глаза сузились. Он молчал, я тоже, но мы оба знали, что ему не пролезть в эту дыру, даже если он постарается. Да и я смогла бы с трудом.

Поэтому я вздохнула и сказала отцу:

— О'кей. Я добуду проклятую индюшку-старушку, — и скорчила рожицу как маленькая, чтобы скрыть от него, как я боялась.

Перешагнув через какую-то кучу хлама и битого стекла, встав на четвереньки, — ух, ну и вонь, — я просунула голову в отверстие. Сердце у меня колотилось так, что я не могла дышать. Я испугалась, что упаду в обморок, но нет — я сильная.

Дыра была похожа на вход в пещеру, размер которой не виден оттого, что она скрывалась во мраке. Потолок, однако, был низкий, всего несколько дюймов над головой. Под ногами кровавые лужи, головы животных, их шкуры, внутренности, целые куски говядины, свинины, ломти ветчины, окровавленные индюшачьи туши без голов с ободранными шейками и пугающе белыми рядами косточек. Казалось, что меня вот-вот стошнит, но я смогла сдержаться. Внутри была еще одна покупательница, женщина маминого возраста с серыми, стального оттенка, волосами в пучке, одетая в пальто из хорошей ткани с меховым воротником, подол которого волочился по грязи. Но женщина, казалось, не замечала этого. Она осматривала одну индейку, потом другую, снова отбрасывала ее и бралась за новую. Наконец она остановилась на здоровенной птице, которую с торжествующим видом потащила обратно через дыру, оставив меня в пещере одну, дрожащую, полуобморочную, но возбужденную. Мне осталось выбирать только из трех или четырех тушек. Ползая в кровавой грязи, я попыталась их обнюхать, чтобы проверить на свежесть. Достаточно ли какая-нибудь из них годится для еды. Всегда, сколько помню, помогая маме на кухне, я не выносила вида

индюшачьих или куриных туш в мойке: скрюченные безголовые шеи, дряблая кожа в пупырышках, костистые и когтистые ноги. В особенности их запах, незабываемый запах.

Набивание богатого специями фарша ложкой внутрь пустого тела, зашивание наглухо дыры, поливание теплым жиром, жарка. Так мертвая холодная плоть превращается в съедобное мясо. Так отвращение переходит в аппетит. «Как такое возможно?» — спросите вы. Ответ в том, что такое возможно.

Ответ в том, что это так.

Запахи в пещере были настолько сильны, что я вообще не могла понять, какая из индеек была свежее других, поэтому выбрала самую большую, по крайней мере фунтов на двадцать. Совсем задохнувшись, полуплача, я с трудом потащила ее к отверстию, выбросила наружу и вылезла за ней сама. Свет в магазине, который раньше казался тусклым, теперь был яркий. Там стоял папа, склонившись над тележкой в ожидании меня. Разинув рот, с кривой улыбкой в уголках губ, он был чем-то удивлен, может, размером индейки или просто тем, что я сделала то, что сделала. Моргая, улыбаясь и вытирая грязные руки о джинсы, я встала во весь рост. Поначалу он даже не мог говорить и запоздал помочь поднять индейку в тележку.

Потом он глухо произнес:

— Ни черта себе!

* * *

В магазине стоял полумрак, работала только одна касса, чтобы обслужить нас. Снаружи совсем стемнело, никакой луны, падал слабый снег, первый снегопад в году. Отец нес к грузовику более тяжелые пакеты, я полегче. Мы сложили их в кузов и накрыли брезентом. Отец шумно дышал, его лицо было все еще неестественно бледно, поэтому я не удивилась, когда он сказал мне, что чувствует себя не очень хорошо и что было бы

лучше, если машину домой поведу я сама. Я впервые была свидетелем таких речей взрослого, но мне не показалось странным, что отец протянул мне ключи от зажигания. Мне понравилось держать их у себя в руке.

Мы залезли в кабину, отец на место пассажира, прижав к груди кулак, я на место водителя. Мне едва хватало роста, чтобы видеть поверх высокого руля и капота. Никогда раньше я не водила машину, но многие годы наблюдала, как это делали он и она. Поэтому я знала, что и как.

СЛЕПАЯ

Иногда в безлунные ночи, которые в глуши жутко темны, случается, что нет электричества.

Думаю, я проснулась именно от этого. Я спала, и вдруг проснулась. Низкий грохочущий звук; похожий на падение. И сильный проливной дождь барабанит по крыше над моей головой, а потолок низкий, дранка на крыше сгнила. Косой ветер бьет в окна. Я села на кровати, испуганно слушая, как шипит вода, пробираясь в дом.

Я *ему* ничего не сказала, даже не разбудила.

Пуškai старый дурень поспит, пуская все они спят, храпя и сопя, булькая горлом. В таком возрасте чего еще ждать?

Я не трусиха. По правде, я сильная и практичная женщина с жизненным опытом. Вела хозяйство в нашем прежнем доме и здесь... после нашего ухода на пенсию (*его* ухода на пенсию: почему моего тоже?). Так что я не боюсь грозы, кроме как теоретически, в хозяйстве надо быть разумным хотя бы кому-то одному. Я слушала, как этот дождь отвесно и полноводно стучит по окнам, по стенам дома, потому что водостоки не прочищены, переполнены, и вода хлещет через край, бежит по стенам прямо на старый каменный фундамент и в подвал. О Господи! Вот чего я боялась, а не грозы. Разумеется, *он* не удосужился почистить водостоки, сколько бы я ни напоминала. Как-нибудь,

теперь уже скоро, в апреле, в холодный день я сама притащу из сарая алюминиевую стремянку и уберу с крыши гнилые листья и прочий мусор, чтобы устыдить его, этого старого деда. Но пока я ничего не сделала и, увы... Теперь слишком поздно. Теперь это шипенье! Дождь ищет лазейку в дом.

Я попыталась включить лампу у кровати, электричество уже отключили. В комнате было настолько темно, что я не видела собственной руки. Отыскивая лампу, я ворчала себе под нос и чуть не перевернула ее, задев абажур, но, несмотря ни на что, света не было. (Слышал ли он, как я злюсь? Только храпит, сопит, булькает мокротой в горле! Нет, не слышит.) За зиму электричество отключалось несколько раз, однажды его не было восемнадцать часов, а когда я позвонила, чтобы пожаловаться, девушка ответила ехидным голосом, что компания делает все возможное, мадам, электричество будет исправлено как можно скорее. И всякий раз, когда я звонила, девчонка отвечала ехидным голосом: «Компания делает все, что может, мэм. Электричество будет восстановлено как можно скорее». Наконец я не выдержала и закричала в трубку: «Вы лжете! Вы все там обманщики! Мы платим за электричество и хотим, чтобы нас лучше обслуживали!» Там замолчали, мне показалось, что я смогла добиться уважения от маленькой мерзавки, но потом она произнесла ядовитым голосом, я даже могла видеть, как ее накрашенный рот искривился в фальшивой насмешке над старой женщиной: «Мэм, я вам сказала... Компания делает все возможное».

Поэтому я быстро бросила трубку, да так сильно, что она скатилась на пол, пустив волосяные трешинки на дешевом пластике.

Я попыталась угадать время, вглядываясь в темноту, туда, где должны были стоять часы. Но не увидела даже зеленых светящихся стрелок, такая темень. Однако, по давлению в мочевом пузыре (каждую ночь я обычно просыпаюсь от этого ощущения) я поняла, что было между тремя и половиной четвертого ночи, самая ее середина, так что можно предположить, что элект-

рическая компания не скоро снарядит ремонтную бригаду и использует столь поздний час как оправдание.

Я тяжело дышала от злости и беспокойства. Пришлось воспользоваться ванной, да еще в такой крошечной тьме! Свесив босые ноги с кровати (они слегка отеки, особенно лодыжки), я кое-как встала. Где мои тапочки? Я искала их, но не нашла.

Я вздохнула и, наверное, опять заворчала, признаю, что это моя привычка. Какое-то время я разговаривала с кошкой, в другие годы с канарейкой, а он всегда был глух, когда ему удобно. Я громко ворчала. Господи, помилосердствуй! Хотя по моему тону, будьте уверены, было ясно, что Бог не был моим другом уже многие годы.

Несомненно, лежа на спине с открытым ртом и струйкой слюны, текущей по щеке, он не слышал моей возни, я уверена.

Я не тучная женщина, тем более не жирная. Я стала немного полной, отчего увеличилась нагрузка на ноги и спину. Иногда я задыхаюсь, как при естественном волнении.

Своим дочерям, когда они изредка навещают нас, я говорю, что на моем месте они были бы такими же. И не спорьте со мной!

Медленно, с трудом, я пробиралась к ванной, поскольку мой мочевой пузырь почти лопался, и я едва терпела. Если бы я закрыла глаза, то не ошиблась бы, потому что комната, весь дом, запечатлены в моей памяти. Но теперь я пыталась что-нибудь разглядеть, что в такой темноте напрасно. Там ушибив палец на ноге, здесь наткнувшись на комод, я искала дверь, которая оказалась не в том месте, где должна была быть, а на несколько футов в стороне. Я задыхалась и сердилась, ибо в моем возрасте ждешь больше уважения от вещей, чем от людей. Но, конечно, он не слышал, увлеченный своим эгоистичным сном.

К счастью, ванная в холле, прямо возле спальни. Так что мне не нужно было далеко ходить.

В ванной, забыв, что свет отключен, я поискала на стене выключатель. Как сильна привычка...

Туалетом, однако, я воспользовалась легко, отметив, что в ванной было темнее, так мне показалось, чем в холле и спальне, хотя над унитазом имелось окошко, выходявшее на покатую крышу и старый заросший выпас, залитый лунным светом. (Много раз за двенадцать лет я стояла и смотрела в это окошко. Смотрела на что? В ожидании чего?) Но теперь окно тоже было во тьме. В абсолютной тьме. Нельзя было поверить, что оно есть, только проливной дождь, шумный и мокрый.

Я спустила воду в унитазе один раз, второй, третий. Когда механизм наконец сработал, я, как всегда, выругала сантехнику, потому что в этом старом доме всегда что-то ломалось. И кто наконец вызовет мастера? И кто заплатит по счету? А мои дочери говорят, почему я понукаю папой, почему не оставляю папу в покое, я же знаю, какие у него слабые нервы, говорят они, или говорили. Словно глупышки знали...

В общем, полагаю, что это была моя вина, согласиться так быстро, фактически не рассуждая, продать старый дом и переехать. Оставить наш дом в студенческом городке, где мы прожили сорок три года, и приехать сюда. Эта сельская местность и монотонные пейзажи были полны его воспоминаний, не моих. (Потому что ребенком с родителями он навещал здесь каких-то родственников каждое лето — говорил, что это самые счастливые воспоминания.) Я оставила трех подруг, не попрощавшись, потому что они пренебрегали мною, воспринимали меня как должное, а я не вынесла этого, и отъезд был мстью, я согласилась на него. А теперь слишком поздно сожалеть.

Я добралась до кровати в кромешной тьме, слыша, как дождь пошел еще сильнее. И это шипенье! Снова шум за окнами и дробь по крыше.

Он теперь храпел не так громко, может, слишком стучал дождь и разбудил его. Каждый раз, когда я встаю с постели, он даже не шелохнется. Случись у

меня сердечный приступ, удар или свались я с лестницы в непроглядной мгле, думаете, он бы заметил? Не смешите меня. Я села на кровать, а он даже не пошевелился.

Я постаралась не думать о дожде, о подвале, о переполненном водостоке. Я попыталась успокоиться, представив волны черной воды, текущие ко мне. Тихие неглубокие потоки, в которые я могла войти и плыть, как в детстве, когда училась плавать на спине в бассейне. Как удивительно, что я могла плыть так легко и не бояться, как другие девушки — худеньким приходилось хуже всего. Это так просто, вы отдаетесь на волю волн и плывете.

Но мое сознание не расслаблялось. Это как вязание — стальные спицы стучат и поблескивают.

Всю жизнь он запирал себя в кабинете, чтобы не мешали ему печатать его лекции. Всегда одни и те же лекции. Он работал над научными статьями, над своей единственной книгой — происхождение какой-то древнегреческой трагедии, которую никто никогда не читал, кроме тех, кто должен. Полагаю, мы им гордились, жена и дочери. В каждом из нас живет естественная потребность гордиться, мы должны гордиться чем-то или кем-то. И, конечно, его зарплата профессора вдохновляла нас, признаю это. Бедняга сосал свою трубку, не зная, что в ней. Просто сосал. Никто из них никогда не знает. А когда ему запретили курить, он сосал пустую трубку, как ребенок соску, и это выглядело патетично. Банкет по случаю ухода на пенсию устроили в кабинете классической литературы. Было только сладкое красное вино и сыр на зубочистках. Прозвучало немного тостов. Председатель хвалил, а он, со слезой во взоре, вставал, чтобы поблагодарить. В это время молодые профессора обменивались усмешками и даже аспиранты глотали зевки, как проглатывают слишком крупную косточку. На все было смешно смотреть!

Большинство тостов относилось к профессору Эмеритусу, а он поднимал свой бокал так торжественно, ни о чем не догадываясь. Бедный тщеславный дурак

никогда не узнал, что пришло мне в голову по этому поводу.

Тем не менее, по собственной слабости, желая отомстить единственным подругам, я позволила уговорить себя переехать сюда.

Его пенсия. Почему, и моя тоже!

* * *

Я пыталась уснуть, но дождь не переставал, а гром надвигался все ближе, будто что-то огромное катилось по окрестности, направляясь именно в это место. Поэтому мои глаза распахнулись от страха, когда гигантский круглый предмет перекатился через дом и исчез далеко в полях. Но никакой молнии! Ни до ни после. Ночь была темна, как любая ночь, какую я знала.

Потом я попыталась его разбудить. Схватила за плечо и встряхнула.

— Проснись! Помогите нам! Случилось что-то ужасное!

Голос мой зазвучал высоко, как сумасшедшее сопрано, но на него не оказал никакого эффекта. В этой абсолютной мгле я не видела никаких очертаний, ни просвета. Я не видела его.

Но я была уверена, что это он, мой муж семидесяти одного года, лежащий рядом со мной, вялый и грузный, точно мешок с дерьмом на провисшем матрасе. Я потрогала его оплывший подбородок, жидкие волосы и костлявый череп. Потом нащупала глаза, которые были так же широко открыты, как у меня.

— Майрон! Что это? Что с тобой случилось?

Но он лежал не шевелясь. И тогда от простыней поднялся влажный тошнотворный запах, въедаясь мне в ноздри.

Я поняла, что не слышу его дыхания несколько минут, не слышу этого храпа и хрипа в горле.

Во мне поднялась злость, словно комок мокроты. Сосал эту свою трубку, не заботясь, что в ней. Доктор

предупреждал! И я, и его заботливые дочери, все предупреждали!

Но нет, мысли профессора были далеко, в древнем мире, или витали среди звезд (Вселенная была одним из его «интересов»).

— Проснись! Проснись! Проснись! Как ты смеешь оставить меня в такое время! — И я сильно ударила его по плечу кулаком.

Он застонал, или это мое воображение? Очнулся от сильного раската грома над нашим домом? А я молила о помощи, как ребенок. Но молнии по-прежнему не было видно, ни малейшей вспышки. Это было неестественно, я знала. Ибо гром должен сопровождать вспышку молнии, гром прерывает молнию, разрывающую небо на части, это я знала.

До тех пор, пока звук уже не был громом, но чем-то еще.

Внезапно меня охватила паника, налетевшая из темноты. Я оттолкнула его как ненужного. Знал ли он, кто я, или хотя бы замечал меня все эти годы? Эта мысль нечаянно пришла мне в голову. Никто никому теперь не поможет. Только изначальная мгла и конец.

По моим подсчетам, было, наверное, около четырех.

В панике, наконец поняв, что он умер и что мне необходима помощь, я не была способна уразуметь значение такой премудрости. Знала только, что я одинока, о, и так напугана! Сердце билось как у бешеного зверя, неожиданно затравленного. Он покинул меня в самом начале этой осады, этого потустороннего ужаса, в мире за пределами моего понимания.

Я выбралась из нашей постели, как из могилы.

Потолок протекает? Постельное белье было влажным, на покрывале что-то липкое, и этот отвратительный тошнотворно-сладкий запах в воздухе, несмотря на свежий запах дождя. О, я во всем винила его! Он виноват! Я искала в темноте телефон, перевернула лампу и завизжала. О, я закричала и зарыдала, как юная невеста. Я потеряла того, чье лицо по-настоящему давно не видела. Хотя он тоже мало видел меня.

Однажды старшая дочь нашла меня на кухне нашего старого дома в Университи Хайтс и удивленно спросила: «Мама, почему ты плачешь?» А я спрятала лицо от ее молодых глаз, бурча от злости и стыда: «Потому что мы с твоим отцом больше не муж и жена. Двадцать лет мы не любим друг друга». И моя дочь неожиданно задохнулась, словно услышала непристойное ругательство из уст этой пожилой женщины, из уст своей матери, и сказала: «О, мама! Я не верю!» — в отвращении отвернувшись от меня, потому что понимала, как все они это делают, наши дети, отделившиеся от нашего тела и быстро и безвозвратно отдаляющиеся от нас, что она не желает слышать такое от меня.

И вот он мертв, а мне нужна помощь. Только встав на четвереньки в поиске упавшего телефона, я поняла, что света нет, потому что он умер, а умер он по той же причине, что отключили электричество. Таким образом, помощи ждать не от кого.

Хотела ли я, чтобы сюда входили чужие люди, даже если им удастся отыскать в ужасающей темноте дом, эту комнату?

Мои пальца скребли по шершавой поверхности ковра, но я не могла найти пластиковый телефон. Я не слышала гудка, а это значило, что телефонные линии тоже отключены, потеряна всякая связь с внешним миром.

Этот отвратительный тошнотворный запах. Его запах. Это *он*. Мне вдруг стало невыносимо находиться здесь, рядом с ним. Я поняла, что должна бежать.

На четвереньках я поползла в направлении двери, шепча себе: «Да! Да! Именно так! Не трусь!» На комод была керосиновая лампа и спички для таких случаев, но мне показалось, что найти ее я не смогу, тем более спички. Мои пальцы тряслись, мрак был полным.

Так и было, на четвереньках волочила я за собой подол ночной рубашки, пропитанный запахом могилы.

Медленно, с трудом, задыхаясь от напряжения, я спустилась по крутой лестнице в темноту.

Так много ступенек! Никогда раньше я их не считала и, спускаясь по ним теперь, потеряла счет после двадцати.

Схватившись за шаткие перила левой рукой, правой я шарила по стене. Глаза мои высохли от слез и были широко раскрыты. Ничего не видя внизу, кроме темноты, густого, бездонного мазка черной краски, я поняла, что в этой темноте есть нечто таинственное, ни на что не похожее.

Я должна видеть, должна раздобыть свет, чтобы видеть.

Я отчаянно стремилась вниз за электрическим фонарем в шкафу, хотела зажечь свечи, в спешке забыв про халат и тапочки. Я не могла сказать, какой был год, не могла ответить, где я была, который это был дом из тех, где я жила. О, женщина моего возраста: лохматые седые волосы висят вдоль спины между лопаток, тяжелые вислые груди, бедра, ляжки, живот тоже отвис, пыхтя, как собака, потею, даже на этой продуваемой сквозняками лестнице, босая и унылая. Как бы уставились на меня в сожалении бывшие друзья, как презрительно усмехнулись бы дочери! Никогда в молодости вы не задумываетесь над тем, что однажды станете такой.

Дождь и гром не переставали, а молнии все не было видно. Только по силе земного притяжения я ощутила, что двигаюсь вниз, наконец вдруг, ступив на следующую ступеньку, я поняла, что они закончились и я спустилась с лестницы.

Я сильно дрожала, согнувшись, словно отражая удар. Но темнота была пуста.

Здесь отвратительный запах спальни был слабее. Но я его чувствовала — он пристал к моей фланелевой рубашке, к волосам — правда не так сильно. Преобладал резкий запах дождя и земли, запах, который ассоциировался с весной. Весенние дожди и оттепель пос-

ле зимы. Каждый год кажется, что тепло приходит с запозданием, и поэтому более желанно. Ветреные дни, когда светит солнце, приносят запахи, от которых кажется, что ты живая.

Я ухватила за балясину, чтобы сориентироваться. Справа была гостиная, слева кухня. Мне нужна была кухня.словно шагнув в черную воду, я двинулась в сторону кухни, сразу же споткнувшись о стул (кто оставил стул в таком месте?), и ударила головой об острый край чего-то (полка? здесь?). Наконец я вошла в кухню, точно узнав ее по запаху пищи, копоти и холодному линолеуму под ногами.

Здесь я снова стала искать на стене выключатель, слишком сильна привычка.

Но, конечно, никакого света. Темнота оставалась постоянной и бездонной.

Мне пришло в голову еще раз попытаться позвонить по телефону, потому что помощь была необходима. Жуткая необходимость, не так ли? Но сознание помутилось, я не знала почему. Телефон находился на стене возле мойки, что в дальнем конце кухни, черной и пугающей, как глубокая вода, и кишечник мой сжался от страха. А что, если я не одна? А что, если кто-то поджидал, когда я сделаю неверное движение. Неожиданно я очутилась возле холодильника. Дверца открыта, изнутри несет холодом. С голодной жадностью я вдруг слепо, но безошибочно потянулась за куском мороженого кофейного пирога с корицей, который завернула вчера утром в целлофан, и за пакетом молока, видя все мысленным взором. Дрожа и торопясь, стоя перед раскрытой дверцей холодильника, я с животным аппетитом поглощала пирог, не оставив ни единой крошки, и пила молоко так быстро, что пролила часть его на себя. Насытившись, я почувствовала стыд за свое безрассудное поведение и быстро захлопнула дверцу, чтобы сохранить драгоценный холод.

Электричества нет и неизвестно, когда его починят. Скоропортящиеся продукты в холодильнике и морозилке могут прокиснуть. Конечно, морозилка сохранит некоторые продукты (мясо, например) еще

несколько часов, пока не разморозится, но как только процесс пойдет, его не остановить, возникнет опасность отравления.

Я боялась остаться без еды, если гроза не кончится, если дороги непроходимы и я не смогу покинуть дом несколько дней. А телефон бесполезен. Даже если я дозвонюсь, меня ждут насмешки и издевательства. Сначала доведут до крика и ругательств, и лишь потом они узнают мое имя.

Мне нужен был свет. Теперь, пропадая без света, как без крови, я искала фонарь в шкафу среди банок и баллончиков аэрозолей. Но куда подевался этот фонарь? Неужели он положил его в другое место. В суете я столкнула что-то на пол, кажется чашку, она разлетелась на части, и добавилась опасность порезаться о битое стекло. Господи, пощади! Обезумевшая, рыдающая: «За что? За что? Помогите!» — ища фонарик, я вспоминала, не совершила ли в прошлом какой-то ужасный грех, за который теперь должна быть наказана, какую-то подлость, жестокосердие, может быть, невзначай, по слабоволю или несознательно, поскольку в своей неоглядной жизни мы так часто действуем, не подумав, не глядя на последствия. А если так, то сможешь ли *ты* простить меня!

(И все же я не верила, что действительно согрешила, ибо ничего не помнила. Словно вместе с электричеством стерлись все воспоминания. Словно в абсолютной темноте не должно быть времени, для сохранения абсолютного Настоящего.)

И вдруг, в отчаянии обыскав посудный шкаф, где фонаря быть не могло, я его нашла! Схватив его, я нажала кнопку, но, мгновенно шелкнув, он не загорелся.

Неужели такое возможно? Батарейка села? Но совсем недавно я им пользовалась в подвале, в темном погребе, где хранятся консервированные фрукты.

Тем не менее он не загорелся.

Зарывав в голос от горя и бессилия, я сделала неосторожный шаг и попала на кусок стекла, но, к

счастьем, не успела встать на него полным весом, хотя все же порезалась до крови.

Потом осторожно, как могла, стараясь контролировать рыдания (потому что я, как уже сказала, женщина практичная, умелая хозяйка этого и предыдущих домов уже более полувека), я направилась в дальний конец кухни, отыскиала стол рядом с мойкой, ящик в нем, где хранились свечные огарки и спички для таких случаев, и, шевеля губами в молитве «К тебе о милосердии» (я, которая с отвращением отвергла веру в Тебя так много лет тому назад!), чиркнула спичкой и поднесла ее дрожащими пальцами к невидимому фитилю свечи. Но какая досада! Насколько сложна задача, когда не видишь! Наконец после бесчисленных неуклюжих попыток я преуспела, клянусь, одна из спичек зажглась, я почувствовала запах серы — но огня не увидела.

Потом стало совершенно ясно то, о чем я только догадывалась. Сегодня в этой темноте, в этой ночи было что-то таинственное, что-то, от чего она не была похожа на другую темноту, любую другую ночь. Потому что это было не просто отсутствие света (который, конечно, исходит от Солнца), но осязаемое присутствие темноты как таковой, густой и непроницаемой, как явление.

Поэтому я поняла, что не может быть видимого эффекта от «зажженной спички», от «огня» зажженной свечи. То, что в нормальных условиях было светом, немедленно поглощалось, исчезало, словно не могло быть. Потому что не существовало.

Только бы выдержать до утра!..

На рассвете, уверена, все будет хорошо! (Гроза, казалось, затихла, но даже если дождь не кончится и небо в тучах, все равно должен быть свет... ибо какая злая сила способна противостоять нашему Солнцу?)

Я не верила в Бога, но верила в наше Солнце. Никогда, однако, не слушая внимательно его болтовню, когда он пересказывал очередную статью из какого-нибудь научного журнала, про биллионы-биллионы-биллионы солнечных лет, или о размерах Вселен-

ной, или про то, что время могло бы сократиться так сильно, что уместилось бы в моем наперстке — будто, вздыхая над своими домашними делами, я имела терпение на такое.

Какой обессилившей вдруг почувствовала я себя. В безуспешном поиске света, униженная, я спешно повернулась к выходу в гостиную, в смятении полагая, что смогу подняться по лестнице и вернуться в кровать, забыв со страху о том, *что* завладело моей постелью, моим сном, как я ненавидела *это*, какой грех *оно* пыталось навязать мне, и снова наступила на стекло, в этот раз порезавшись более сильно.

«Дура! Дура! Дура!» — кричала я. Скользя по липкой крови на линолеуме, но не видя ее. И вдруг я поняла, что мало этим обеспокоена.

Я пробиралась, спотыкалась, натыкалась по пути в коридор и в гостиную, громко рыдая от злости, и если кто-то подстерегал меня в этой темноте, пахнувшей плесенью и пылью (разве я не убралась в этой комнате, не отпылесосила и не отполировала все лишь на прошлой неделе?), то мне совершенно безразлично... совершенно. Измученная до такой степени, что не чувствовала под собой ног, я добралась до дивана, красивого старого дивана (как помню, это была *его* покупка), гладкого на ощупь, но кое-где слегка потрескавшегося от времени и прохладного. Но теперь меня не волновало, какая это вещь, я просто легла на него. Хотелось всего лишь закрыть глаза и заснуть.

* * *

Неужели я уснула? Был ли это сон или еще большая бездонная тьма, в которую я окунулась, хныкая и ноя сама себе, отчаявшаяся улечься на диване так, чтобы не ныла шея и не болела спина? Чтобы отогнать бессмысленный страх?

Я не видела снов. Я «видела» ничто. Перед тем как проснуться, я «видела» себя пробуждающейся, улыбающейся и жаждущей нового дня — бледного, но не-

изменного солнечного света, струящегося сквозь ажурные занавески в гостиную. Наконец-то! Наконец!

Но, как ни жестоко, — это был сон. И когда я села, изумленно моргая, то обнаружила, что смотрю в темноту, как прежде, в неизменную, пугающую темноту. Некоторое время я просто не могла понять, что случилось, где я, потому что была не у себя в постели, вообще неизвестно где. Смятение мое было так сильно, что я позвала:

— Майрон! Майрон! Где ты? Что с нами случилось?

И вдруг, словно меня скрутили черные тиски и унесли с собой. Я вспомнила. Я знала.

* * *

Если бы вы отыскиали меня в моем укрытии, думая, что я, женщина, в таком возрасте одинока и незащищена, то вы бы ошиблись. Ибо темнота в этом месте настолько абсолютна, что вы бы в нее не проникли.

К тому же я вставила трехдюймовые кольца, чтобы заблокировать дверь изнутри.

Я не боюсь остаться без еды. Я запаслась всем, чем могла из свежих продуктов с кухни. Здесь, в подвале, у меня дюжины консервных банок: зеленый горошек, вишня, помидоры, ревень, даже пикули. Есть еще корзина яблок и мешок картошки. В сыром виде некоторые продукты более вкусны, чем приготовленные.

(Консервы я сделала от скуки в деревне, где никого не знала, и мне ни до кого не было дела. Даже когда он бродил в округе, приветствуя прохожих и улыбаясь в надежде, бедный дурак, что его примут как своего. А кто из нас теперь защищен?)

Я больше не боюсь темноты. Потому что здесь, в этом месте, *моя темнота*.

Когда именно я поняла, что произошло и что безотлагательно необходимо спрятаться, я не помню — это могло быть месяц назад, могло пройти только несколько часов. В постоянной ночи Время не нужно.

Однако, я помню, как долгие месяцы прошлой зимой небо было в тучах, а солнце, пробивающееся

сквозь них, цвета потемневшего олова. Многие вечера свет в доме был тусклый и мигал. Мои жалобы на электрическую компанию были обращены к глухим — без сомнения.

Потом началась гроза — реальная атака.

А потом я проснулась утром, теперь это была ночь, хотя я слышала некоторые слабые, но определенные звуки — пение птиц рядом с домом — понимая, что было утро, но без солнца.

Дождь кончился, гром тоже.

Добравшись до окна того, что должно было быть подвалом, я прижала обе руки к стеклу. Да, солнечное тепло. Это было солнце, хотя и невидимое. Как раньше я зажгла спичку и свечу. Но мир изменился, в нем не могло быть света.

Тогда у меня не было времени понять, что случилось, какая трагедия произошла в природе. Я знала лишь, что действовать надо быстро! Домовладельцы, вроде меня, должны защитить себя от ограбления, пожаров, изнасилования и посягательств любого рода — поскольку теперь мир поделен на тех, у кого есть убежище и пища, и тех, у кого этого нет. На тех, у кого убежище надежное, и тех, у кого его нет.

Поэтому я забаррикадировалась здесь, в подвале, в темноте. Где глаза мне не нужны.

Я вспомнила это место на ощупь. Никто меня отсюда не выманит. Не пытайтесь взывать ко мне, не запугивайте, даже не приближайтесь. Я ничего не знаю про время «до» катастрофы, и мне не интересно знать. Даже если кто-нибудь из вас объявит, что беспокоится обо мне, даже мои дочери, вот вам мой совет: «Я не та, которую вы когда-то знали, вообще я никакая не женщина».

В болтовне *он* однажды распространялся о неких угрозах со стороны космоса, предупреждая, или это было пророчество, что однажды опасное небесное тело (комета? астероид?) столкнется с Землей с силой, равной взрыву бесчисленного количества атомных бомб, таким образом сдвинув Землю с ее орбиты, подняв облако микроскопической пыли, которая совершенно

затмит солнце, ввергнув грешное человечество в вечную ночь. Если вы желаете, то это ваше желание. Это конец старого мира, но не конец тех из нас, кто подготовился.

Даже теперь я слышу вдалеке сирены. Уверена, что отвратительный острый запах — это запах дыма.

Но я не любопытна, я создала свой собственный покой.

Как вам известно, провизии у меня на много месяцев, на всю оставшуюся жизнь. У меня есть пища, вода, не из колодца, но достаточно свежая, холодная, пахнувшая землей, здесь ее много, она стоит в некоторых местах глубиной в четыре-пять дюймов, а когда снова вернется дождь и она потечет по каменным стенам, я смогу с удовольствием лакать ее языком.

РАДИОАСТРОНОМ

*Еремии Острикер
посвящается*

Старому, почти девяностолетнему профессору Эмеритусу из колледжа после удара понадобилась сиделка, и наняли меня. Моя миленькая аккуратная маленькая комнатка находилась рядом со спальней старика в одном из этих кирпичных домов возле университета. Дни в основном проходили обыкновенно. Но иногда по ночам он просыпался, не зная, где он, и беспокоился, хотел домой, а я мягко говорила, что вы дома, профессор Эвалд, я, Лилиан, здесь, чтобы ухаживать за вами, извольте снова в постель, а он слепо глядел на меня своими печальными слезящимися глазами, похожими на яичные желтки, кривя губы, не помня меня, но зная, зачем я там, и пытаюсь помочь мне, чтобы не стало еще хуже. Они обычно стараются. Мне кажется, что у жертв паралича память — это сон о том, что было во время удара в больницу, и хуже нет ничего. Поэтому они стараются вести себя хорошо. К тому времени профессор Эвалд должен был быть уже в доме для инвалидов. Но это дело его и его детей (взрослые дети, старше меня, один сам профессор в Чикаго). Определенно, это не мое дело. Ненавижу такие места, а больницы еще больше, где порядки, процедуры, вдобавок все тобой понукают и следят. Я не осуждала профессора за желание жить в своем доме как можно

дольше. Он говорил, что прожил здесь пятьдесят лет! А это все, что нужно престарелым людям, — жить в своем доме подольше, насколько хватит денег. Кто их осудит?

Даже такие умные, как профессор Эвалд, который был руководителем факультета астрономии в колледже и директором превосходной обсерватории (как говорилось мне много раз, полагаю, чтобы произвести впечатление, да, и впечатление было произведено), даже такие люди думают о своем состоянии как о временном, и надеются, что скоро все будет по-прежнему, если они будут держаться, лечиться, принимать лекарства и верить. А вы говорите им, что это так. Вы убеждаете их. Это ваша работа. Старушка или старик в подгузнике, в кровати с поднятыми, как у кормушки, перилами, если способны разговаривать, то говорят о том, как вернуться домой, когда снова встанут на ноги, что у них кошка без присмотра или запланирована игра с кем-то, кто умер лет десять тому назад. Не надо с ними спорить или пугать, *это ваша работа.*

А иногда они вас вознаграждают, украдкой, чтобы никто не знал: драгоценности, красивая черная с золотом авторучка «Паркер», просто деньги. Но это только между нами.

У профессора Эвалда бывали дни хорошие и плохие, но в общем он был не так уж плох. Изредка жаловался лишь на то, что у него мало посетителей. У него были старые бумаги, которые он просматривал, компьютерные распечатки со странными знаками и уравнениями, но сомневаюсь, что он их мог разглядеть даже сквозь толстые очки. Он разговаривал и спорил сам с собой, догадываюсь, чтобы я тоже слышала и видела, что он работает. Такому, как он, восьмидесятишести- или восьмидесятисемилетнему, необходимо работать.

Он рассказывал, что был астрономом более шестидесяти лет, и известно ли мне, кто такой радиоастроном, а я отвечала, что астроном — это тот, кто смотрит

на звезды в большой телескоп. Поэтому он объяснил, что не только смотрел, но и слушал радиоволны неземных приборов, которые приходили на землю сквозь миллиарды световых лет... Но должна признаться, что не была внимательна к каждому слову, а те, что слышала, такие как «световые годы», я не понимала, потому что это невозможно, как ни старайся. Это все равно, что покойная жена или муж, или дети, которые не задерживаются надолго с визитами, или вовсе не навещают. Они обычно разговаривают вообще не с вами. Профессор Эвалд говорил как читал лекции в большой аудитории. Когда его голос определенным образом повышался, я знала, что он шутит. Да, действительно порою он был забавен. Я узнала, что он был известным лектором, поэтому во время переодевания, помогая добраться до туалета и на пути обратно, или в ванной (где он сидел на деревянном стуле, а я поливала его из душа и терла мочалкой), от меня требовалось лишь улыбнуться, кивнуть, засмеяться и сказать: «Неужели! О Господи, Боже мой!»

В ясные дни он так стремился на солнышко, что без моей помощи, опираясь на трость, выбирался на крыльцо и дремал там на стуле, слушая программу классической музыки, просыпаясь от посторонних звуков, от радиопомех или от телефонного звонка. Хотя всякий раз это были пустяки. «Нет, профессор, ничего такого, не расстраивайтесь».

— Лилиан, я не расстроен, — отвечал он, выговаривая каждый звук, словно тугоухой была я, а не он. При этом он улыбался, как бы давая понять, что не сердится.

— Я надеюсь.

* * *

Я ухаживала за профессором Эмеритусом Эвалдом уже, наверное, семь недель, когда однажды холодным ноябрьским днем, хотя солнце, дивное и теплое, струило свет в окна веранды, он открыл глаза, очнувшись,

как мне показалось, ото сна, и спросил, когда я пришла и как меня зовут. Я ему ответила, невозмутимо продолжая вязать, потому что в его голосе не было ничего враждебного, был только вопрос.

— А когда вы уйдете? — поинтересовался он.

Тут я перестала вязать, потом набрала еще одну петлю и начала новый ряд. Мои руки таковы, что всегда должны делать что-то полезное, хотя я не нервная женщина, и никогда не была такой. Я сказала профессору Эвалду, что не знаю, полагаю, что останусь с ним, пока будет нужно.

Ответ, казалось, его удовлетворил, и об этом мы больше не говорили.

Он начал рассказывать о солнышке. Разумеется, что про это особенно много не скажешь, но он был из тех, кто всегда говорит о ничтожных вещах.

— Знаете, Лириан, солнце, которое мы видим, не реальное солнце, солнечные лучи идут до Земли восемь минут. Солнце погибнет, исчезнет, а мы не будем знать об этом целых восемь минут.

Я усмехнулась своим коротким серебряным смехом, не отрывая глаз от вязания.

— Неужели? А куда же солнышко денется, когда его не станет, профессор?

Но он уже не слушал, спрашивая меня, что значит обратное время. А я ответила, что, кажется, профессор мне рассказывал, но я позабыла. Поэтому он несколько минут читал мне лекцию об обратном времени, допытываясь, догадывалась ли я, что видимые звезды на ночном небе все в обратном времени, а это значит, что их там на самом деле нет, давно погибли, исчезли. Поэтому я снова засмеялась и сказала: «Ой, кажется одна такая у меня. Не видела ничего лучше!» Хотя я прекрасно помнила, что раньше он все это уже рассказывал, или что-то похожее. Его голос стал резким: «Что смешного? Почему смешно?» И я увидела, как он смотрит своими слезящимися желтыми глазами, которые как бы светились, и вспомнила, как мне говорили, что когда-то старик был очень известен, что называ-

ется знаменит в своей области, давным-давно. Я почувствовала, как горит мое лицо, да, я смутилась, промямлив: «О, сложно понять такие вещи, даже голова болит, когда думаешь про это», — и подумала, что смогу отделаться этими словами, но профессор Эмеритус только уставился на меня и сказал: «Да. Но, Христа ради, неужели нельзя постараться».

Всю свою жизнь он имел дело с невежами, вроде меня, он устал от них.

Да, его левая кисть была неподвижна и согнута, как птичьи когти, левая нога парализована, а левая часть лица перекошена, словно подтекший с правой стороны воск. «Ну и что с того? — хотела я его спросить. — Профессор Эмеритус, вы такой чертовски умный».

Но тогда, когда они хотят покомандовать вами, они становятся презрительны и саркастичны, хотя за этим чувствуется мольба, слышится дрожащий голос. И больше нет нужды сердиться на них.

Да, вы легко можете их понять. *Нет ни малейшей нужды сердиться.*

* * *

Но вдруг все изменилось, как день, который начался теплым, а потом похолодало. В тот день он был возбужден и отказался от лекарств, и не захотел лечь поспать, а за ужином вел себя плохо и капризно, как ребенок (выплюнул полный рот протертого питания). Однако я не позволила себе расстроиться, я никогда этого не делаю, *это моя работа*. Потом около семи часов был ошибочный телефонный звонок, ну просто некстати, от которого он взбесился, говоря, что это была его дочь, а я его от нее прятала и так далее в таком духе, вы представляете, как это бывает с ними. Я пыталась его урезонить, говоря, почему бы ему просто не позвонить дочери, я сама наберу номер, но он только пыхтел и шумел, разговаривая сам с собой. Потом, ложась спать, он сказал:

— Сестра, я сожалею.

Я видела, что он забыл мое имя, и улыбнулась, уверяя, что все хорошо. Но когда его раздели и почти уложили в кровать, он вдруг прослезился, схватил меня за руку и заплакал. Здесь я должна сказать, что не люблю, когда меня трогают. Нет, не люблю. Но я старалась не подавать виду, слушая этот бред старика о том, как его вынудили уйти на пенсию в расцвете лет, обещали предоставить ему часы работы с телескопом, то, о чем он всегда мечтал. Они лгали ему, отняв обещанные часы. Это был тот самый радиотелескоп, одним из создателей которого был он, кто раздобыл для него средства. Враги завидовали его успеху, и боялись, что его новые исследования докажут несостоятельность их собственных...

Спустя одиннадцать лет после ухода на пенсию ему надоело слушать эфир в надежде уловить сигналы, необычные позывные, которые могли бы означать радиосвязь с другими галактиками. Известно ли мне, что это значит? И я сказала: «Да». Моему терпению приходил конец в ожидании, когда он уляжется в постель. Мне не нравилось, что он сжимал мою руку своими костлявыми, сильными, как клещи, пальцами. Я сказала: «Да, может быть». Но он продолжал, пуская слюну, что в науке нет работы важнее, чем поиск другого интеллекта во Вселенной, что наше время истекает, и мы должны знать, что не одиноки. И я ответила: «Да, профессор. О, да», — пытаюсь развеселить старого человека, помогая ему увлечься. Только он все говорил, как много лет потерял, копаясь в чужих данных, как он нашел прямой подход, используя свои собственные силы, безо всяких устройств. Однажды ночью в прошлом году он принял ясный и четкий сигнал: точка, тире, точка, точка, тире, точка, точка, точка, тире, точка, точка, точка, точка, тире, точка, точка, точка, точка, тире, точка, откуда-то из Гиад, в созвездии Тельца, с расстояния нескольких миллиардов световых лет. Несомненно радиосвязь, а не шум. Но не успел он записать сигнал, как вмешалась статика. Всегда, когда он слышал сигналы из других галактик,

их прерывала статика — жуткий шум и звон у него в голове. Я сказала: «Да, профессор, это действительно ужасно, но, может, лучше принять лекарство? Постараться заснуть?» А он сказал, что я могла бы отнести этот материал в газету, это была бы история века, можно помочь всему человечеству, если захотеть. Наконец я оторвала мою руку от его пальцев, не люблю, когда ко мне прикасаются, спросив старого дурака, словно он шутил со мной, а не ныл, как дитя, что, да, профессор, коли на других планетах есть жизнь, как показывают в кино, то не думает ли он, что она нам враждебна, может, они прилетят на Землю и всех нас слопают? А он только взглянул на меня, моргая, и сказал, заикаясь, что... если еще где-то есть разумная жизнь, то это подтвердит нашу надежду. А я спросила, помогая ему лечь и поправляя подушки, про какую надежду он говорил? И он ответил: надежду Человечества... что оно не одиноко. А я сказала с легкой усмешкой, что некоторые из нас не так уж и одиноки.

И выключила свет.

* * *

Думаю, что в эту ночь этим все бы и кончилось. Только спать я легла позже и уже готова была заснуть, когда словно скользишь над ушельем. Сон — чувство, которое ценишь больше всего, больше секса, даже любви, потому что без секса и любви прожить можно, полжизни я прожила без них, но без сна я жить не могу. В комнате профессора раздался сильный шум. Я выскочила из кровати, схватила халат и помчалась, надеясь, что у него не новый приступ. Я включила свет, и странная сцена — профессор Эвалд в пижаме съезжился в углу за кроватью, он перевернул рядом стоящий алюминиевый штатив, спрятал от меня голову и кричит:

— Ты смерть, да! Ты смерть! Уходи! Я хочу домой!

А я просто стояла, задыхаясь, но делая вид, что не замечаю его, хотя сама была сильно взволнована. Ста-

раясь сохранить спокойствие, я, как должно, стала завязывать пояс халата. Приходится учиться вести себя с ними, как с детьми, словно это игра в прятки. А старик смотрел на меня сквозь пальцы, всхлипывая и умолая:

— Нет! Нет! Ты смерть! Нет! Я хочу домой!

Поэтому пришлось сделать вид, что удивлена, увидев его в углу, потом взбить подушки и сказать:

— Профессор, вы дома.

ПРОКЛЯТЫЕ ОБИТАТЕЛИ ДОМА БЛАЙ

В жизни она была девушкой скромной, благоразумной и нормальной, отец которой был бедным деревенским приходским священником в Глингдене. А теперь больно сознавать себя в этом удивительно новом облике, как объект ужаса, если не отвращения. Физического отвращения, если бы вы только ее увидели. Духовного отвращения, если бы подумали о ней. Приговоренная к вечному отмыванию своего мраморного тела от нечистот Азовского моря, в особенности интимных мест, обреченная с фанатичной тщательностью выскребать радужных жучков из все еще блестящих, упрямо выющихся черных волос, которые ее любовник назвал «шотландским завитком», чтобы польстить ей: ибо правда, произнесенная вовремя, тоже бывает приятной. И не только любовник, дворецкий хозяина, но и сам хозяин откровенно ей льстил: «Я вам доверяю! Со всей ответственностью!»

С ней, двадцатиоднолетней мисс Джесел, беседует хозяин на Харлей-стрит. Она одета в единственное приличное платье из хлопчатобумажной саржи. Как горит ее лицо, как влажны глаза, как обмирает она от робости, встретившись с любовью. Удар, который был не менее ощутим, чем шлепок рукой по ягодице. А позже в Доме Блай, онемевший от любви или ее гримасы, дворецкий хозяина, Питер Квинт, рассмеялся (не грубо, действительно ласково, но все же

рассмеялся) при виде ее покорной наготы, мурашек, покрывших ее тело, изумительных опущенных туманно-темных глаз, ослепших от девичьего стыда. О, смешно! Теперь Джесел, как смело она себя называет, вынуждена кусать губы, чтобы не завывать от смеха, точно зверь, при этих воспоминаниях. Чтобы не сорваться, здесь в катакомбах, приходится вообразить цепь, прикованную к ошейнику, а то можно упасть на все четыре и помчаться за добычей (испуганной мышью, судя по тонкому пisku и шуму торопливых лапок).

Катакомбы! Так пренебрежительно и обидно называют они это влажное, прохладное, темное место, пахнущее старинным камнем и сладковато-кислой гнилью, куда привел их Переход. Фактически, на самом деле место их убежища представляет собой неромантический угол заброшенного погреба в подвале огромного уродливого Дома Блай.

По ночам, конечно, они вольны странствовать. Если вынужденность их положения (она, страстная Джесел, более восприимчива, чем он, холодный устращающий Квинт) становится невыносимой, они идут на риск тайных вылазок, даже днем. Но по ночам! Ах! Ночи! Вседозволенность, экстравагантность! Ветренными ночами, освещенный лунным светом, Квинт догоняет голую Джесел на центральной лужайке Блая. Похотливый смех вырывается из его горла, он тоже полуголый, согнувшийся, как обезьяна. Джесел, похоже, преследует добычу, когда наконец он настигает ее на берегу заросшего пруда. Ему приходится заглянуть в ее изящную, но дьявольски сильную пасть, разжать ее, чтобы вытащить оттуда хромое, окровавленное, еще живое пушистое существо (крольчонок? Джесел все равно).

Наблюдают ли дети из дома? Прижаты ли к стеклу их маленькие, бледные, любопытные личики. Что такого видят малыши Флора и Майлз, чего проклятые влюбленные не могут видеть сами?

В моменты просветления Джесел рассуждает: как такое возможно, что девушкой, живя в суровой семье приходского священника на границе Шотландии, она не могла есть хлеб, который обмакнули в жир, мясная подливка была ей противна, потому что она напоминала о крови. Со здоровым аппетитом она ела только овощи, фрукты и крупы. Но теперь, спустя едва год, в катакомбах Дома Блай она испытывает экстаз от хруста нежных костей, ничто так не сладко ей, как теплая, обильная, еще пульсирующая кровь. Ее душа кричит: «Да! Да! Вот так! Только бы это никогда не кончалось!» — в ужасе понимая, что ее вечный голод, если не будет удовлетворен, то может исчезнуть.

При жизни она была набожной, пугливой христианкой, девственницей до кончиков пальцев.

После смерти, стоит ли стыдиться слов, она — *вурдалак*.

Потому что в ярости самоотвращения и самоотречения она посмела лишиться себя жизни. Не в этом ли причина проклятья? Или может оттого, что, покончив со своей жизнью в илистом пруду, который дети называют Азовским морем, она унесла жизнь призрачного существа в своей утробе.

Семя Квинта, посаженное страстно и глубоко, несущее с собой испепеляющий огонь осознания, печали, боли, гнева, непокорности, душевной тошноты.

Но Джесел не видела другого пути. Невенчаная мать, опороченная девственница, образ бесчестия, жалости, стыда — другого пути не было.

Действительно, в этом приличном христианском мире, символом которого был огромный, уродливый Дом Блай, *другого пути не было*.

Маленькая Флора, которой было всего семь лет, когда умерла ее гувернантка, сходила с ума от горя. До сих пор она скорбит по своей мисс Джесел!

«Я тоже люблю тебя, дорогая Флора». Джесел хочет, чтобы ее слова тихо пролетели в сон ребенка: «Пожалуйста, прости меня за то, что не нашла *другого пути*».

Прощают ли дети? Конечно. Всегда.

Когда они малы и невинны.

Осиротевшие дети, в особенности такие, как маленькие Флора и Майлз.

* * *

Еще более, чем Джесел, изменился от грубого потрясения Перехода огневолосый и бородатый дворецкий хозяина, Питер Квинт, «этот гончий пес», как до сих пор зовет его миссис Гроуз, трясая своими праведными щеками.

В старые, добрые, веселые, безрассудные времена, в холостяцкие дни распутной и затянувшейся юности, Квинт гроша бы не дал за совесть. Высокий, гибкий, мускулистый, рыжий, со светящейся белой кожей, он был по-своему неотразим в слабых женских глазах. В жилетах, твидовых пиджаках с хозяйского плеча, в брюках для верховой езды и сверкающих кожаных сапогах, он умел найти подход, бесчисленное множество приемов в отношениях с женской половиной прислуги Блая. (Даже миссис Гроуз, как верили многие. Да, даже миссис Гроуз, которая теперь ненавидит его ненавистью, вряд ли ослабевшей после его смерти.) Ходили слухи или грубое бахвальство, что дети, рожденные то у одной, то у другой замужней женщины из прислуги Блая, были на самом деле от Квинта, независимо от того, украшены они предательскими рыжими волосами, или нет. Да еще, что в деревне и по округе таких тоже немало.

А разве сам хозяин, оживленный выпивкой, не любил пооткровенничать с Квинтом, как мужчина с мужчиной: «Квинт, мой дружище, ты должен справляться за меня, а?» — и чуть ли не толкал своего дворецкого в бок.

В такие моменты смысленный Квинт понимал, что аристократ может изобразить пренебрежение к своему положению в обществе и попытаться заставить другого забыть свое место, поэтому он сохранял строгие приличия, соответственно, держась прямо, высоко подняв голову, и тихо говорил: «Да, сэр. Если соблаговолите объяснить мне, как это делать, то я в вашем распоряжении, сэр».

Но хозяин только смеялся, издавая звук загибаемого сырого гравия.

А теперь какой он неожиданный, по-своему какой извращенный! Квинт находит себя существенно отрезвленным после смены его судьбы. Его смерть, в отличие от смерти Джесел, не была преднамеренной. Он оступился в пьяном виде, упал с отвесного каменистого склона на полпути между Черным Дубом (дуб в деревне Блай) и Домом Блай в жуткий предрассветный час, вскоре после похорон Джесел. Возможно, это было не случайно.

В катакомбах, где время, казалось, остановилось, о смерти Квинта говорят часто. Джесел рассуждает:

— Знаешь, тебе не следовало этого делать. Никто от тебя этого не ожидал.

Квинт отвечает, раздраженно пожав плечами:

— Мне не нужно, чтобы ждали от меня, я сам от себя жду.

— Значит, ты меня любишь? — Этот частый вопрос всякий раз задается с трепетом.

— Похоже, что мы оба прокляты любовью друг к другу, — говорит Квинт бесцветным, равнодушным тоном, почесывая обросший подбородок (до чего же неровно пострижена борода, когда-то его мужская гордость). — И ты знаешь, черт их поberi, к маленьким Флоре и Майлзу.

— О, не говори так грубо. Они все, что у нас есть.

— Но ты прекрасно знаешь, что их у нас «нет». Они все еще — Квинт колеблется, сердито нахмурившись, — они еще не Перешли.

Сверкающие глаза Джесел смотрят на него с могильной печалью.

— Да, как ты сказал... *еще нет.*

* * *

Маленькие Флора и Майлз! Живые дети не союза влюбленных, но их страсти.

Квинт не хотел бы назвать это так. Но его привязанность к ним, как и к Джесел, равносильна благословенной (некоторые сказали бы проклятой) любви человека к его семье.

Джесел, страстная и безрассудная теперь, в жизни красневшая от застенчивости («нервный» порыв, который иногда поражал ее) говорит открыто:

— Флора — моя душа, и я не оставляю ее. Нет. Милого маленького Майлза тоже!

После Перехода, после смерти, тревог, похорон и тайных разговоров, которые скрывались от детей, Флора и Майлз прятали свою скорбь. Лишенные возможности говорить об умерших «развратных грешниках» — именно так называли покойную пару в окрестностях Блая — они вынуждены были созерцать мисс Джесел и Питера Квинта, если была такая возможность, издали, в своих снах.

Несчастливые дети теперь в возрасте восьми и десяти лет, осиротели несколько лет тому назад, когда их родители умерли от таинственной тропической болезни в Индии. Их дядя — опекун, хозяин Дома Блай, владелец роскошной холостяцкой берлоги на Харлей-стрит в Лондоне — всегда заявлял, что он очень, очень любит своих племянников и на самом деле очень к ним привязан, озабочен их благополучием, образованием, «моральным христианским обликом». Когда он о них говорит, даже просветляются его налитые кровью глаза.

Во время собеседования с хозяином Блая на Харлей-стрит в городе трепетная двадцатиднолетняя ясноокая мисс Джесел сжимала на коленях пальцы так, что

побелели их суставы. Она бедная дочь священника, получившая образование в школе гувернанток в Норфолке, никогда в жизни не была в таком обществе! Джентльменском и вообще мужском, в обществе настоящего аристократа, такого родовитого и в то же время способного несколько игриво вести простую беседу. По молодости, совершенно доверяя человеку, социально стоящему выше ее, она не посчитала странным, что хозяин бегло упомянул о ее обязанностях гувернантки и о самих сиротах, но несколько раз повторил, загадочно улыбаясь, что «главной обязанностью» ее назначения является то, что она не должна никогда, ни при каких обстоятельствах беспокоить его проблемами.

В каком-то головокружительном оцепенении мисс Джесел услышала себя хихикающей и спрашивающей едва слышно:

— Ни при каких обстоятельствах, сэръ?

А хозяин, высокомерно улыбаясь, ответил:

— Я вам доверяю, да! С полной ответственностью.

На этом собеседование, занявшее едва ли полчаса, завершилось.

Малышка Флора стала любимицей мисс Джесел, ее ангелом. Просто необыкновенный — писала восторженная молодая женщина домой в Глингден — самый красивый, самый очаровательный ребенок, какого она когда-либо встречала. Со светлыми кудрями, словно шелк, с голубыми глазами в обрамлении пушистых ресниц и нежным, мелодичным голосом. Застенчивая от природы — о, трагически застенчивая — словно покинутая родителями и едва терпевшая дядю, Флора не осознавала своей человеческой ценности. Когда впервые мисс Джесел, представленная ей домоуправительницей миссис Гроуз, взглянула на девочку, ребенок откровенно сжался под изучающим взглядом женщины.

— Ну, здравствуй, Флора! Я мисс Джесел, я буду твоим другом, — сказала мисс Джесел. Она тоже была застенчива, но в этой ситуации смотрела на идеально-го ребенка с таким восторгом, что Флора, должно

быть, увидела перед собой свою молодую потерянную маму. Да, наконец-то!

В течение нескольких счастливых дней мисс Джесел и маленькая Флора стали неразлучными подругами.

Вместе они гуляли на зеленых берегах пруда — «Азовского моря», как мило называла его Флора. Вместе ходили они, взявшись за руки в белых перчатках в церковь, что находилась в миле от дома. Ели всегда вместе. Украшенная рюшами кровать Флоры стояла в углу комнаты мисс Джесел.

В темноте, стоя на голых пресвитерских коленях у своей кровати, мисс Джесел истово молилась: «Дорогой Господи, клянусь посвятить жизнь этому ребенку... Я сделаю больше, гораздо больше, чем *он* упомянул в моих обязанностях».

Нет необходимости объяснять, кто был олимпийский *Он* в обращении мисс Джесел к вездесущему Богу.

В счастливом забвении проходили дни и недели. Молодая гувернантка из Глингдена, с бледным, довольно узким, по-своему привлекательным, но некрасивым личиком и жгучими темными глазами, давно оставившая фантазии, считая их языческими прихотями, теперь отдалась на волю мечтаний о малышке Флоре, и о хозяине, и, да, о себе самой (потому что в то время маленький Майлз был в школе). Новая семья, самая обыкновенная семья, почему бы и нет? Как всякая гувернантка Англии, мисс Джесел с жадностью прочитала свою Джейн Эйр*.

Это были благословенные дни, предшествовавшие Питеру Квинту.

* * *

Малыш Майлз, такой же ангельски благовоспитанный мальчик, как его безупречная сестра, был в Блае на попечении Питера Квинта, дворецкого дяди. Наи-

* Джейн Эйр — героиня романа Шарлотты Бронте (англ. писательница). — *Прим. ред.*

более придирчивые, в особенности миссис Гроуз, считали ситуацию совершенно небезопасной: коварный Квинт изображал в Блай и его окрестностях джентльмена, лихого парня (если вам нравятся такие), одетого с хозяйского плеча, но происходящего из невежественной провинции в Мидланде, без образования и воспитания. Он был лакеем по сути — «гончим псом», как окрестила его миссис Гроуз.

У него была репутация дамского угодника. За тем исключением, конечно, как было остроумно замечено, что его дамы дамами вовсе не были.

Изредка, в непредсказуемые выходные хозяин приезжал на поезде в Блай — «в свое убежище» — с видом человека, действительно ищущего убежища (От любовных неудач? Проигранных долгов?), что было неожиданно даже для его дворецкого. Он уделял мало внимания жеманной мисс Джесел, которую, к ее разочарованию, он постоянно называл другими именами. Он почти не обращал внимания на малышку Флору, сияющую надеждой, как ангел, и наряженную в наипрелестнейшее розовое платье. Он ввел в правило беседовать с глазу на глаз с Питером Квинтом, неожиданно затрагивая вопрос о своем племяннике Майлзе, находящемся в Итоне.

— Понимаете, Квинт, я хочу, чтобы этот мальчик моего бедного, дорогого, глупого брата был мальчиком, а не... Ну вы понимаете? — Здесь он хмуро замолчал. — Не как немальчик. Понимаете? — Лицо хозяина побагровело от неловкости и некоего сдерживаемого гнева.

Дипломатичный Квинт вежливо промямлил:

— Да, сэр. Конечно.

— Эти мальчики из школы — известное дело! Всякое такое... — Снова пауза, выражение неприязни, нервное поглаживание усов. — Причуды. Лучше не говорить вслух. Но вы знаете, о чем я.

Квинт, не имевший чести посещать никакой школы, не говоря уже о привилегированной, в которой учился Майлз, не был уверен, что знал наверняка, но

догадывался. Тем не менее человек джентльмена колебался, поглаживая свой бородатый подбородок.

Видя неуверенность Квинта, истолковав ее как изящно выраженное отвращение, хозяин поспешно продолжил:

— Позвольте выразиться следующим образом, Квинт: хотелось бы, чтобы те, за кого я отвечаю, придерживались приличных стандартов христианского поведения. Вы понимаете? Объяснять тут нечего, но это очень важно.

— Конечно, сэр.

— Мой племянник, кровь от крови моей, рожденный, чтобы унаследовать мое имя, продолжатель великого рода, должен, и непременно, жениться, произвести детей, которые продолжили бы род... — снова пауза и какое-то неприятное движение губ, словно сама перспектива была отвратна, — до бесконечности. Вы понимаете?

Квинт невнятно сказал что-то в знак согласия.

— Дегенераты погубят Англию, если мы не остановим их в колыбели.

— В колыбели, сэр?

— Ибо, вы знаете, Квинт, только между нами, как мужчина с женщиной: я лучше увижу бедного маленького извращенца мертвым, чем немужчиной.

Здесь Квинт настолько забылся, что испытующе уставился на хозяина Блая. Но глаза джентльмена были налиты кровью, с туманным, мутным оттенком, который был малопроницаем.

Разговор закончился внезапно. Квинт поклонился хозяину и удалился, думая: «Мой Бог! Высшее общество еще более жестоко, чем я полагал».

Тем не менее маленький Майлз, кровь от крови хозяина, рожденный не только, чтобы продолжить уважаемый английский род, но и унаследовать приличное состояние, был ребенком, жаждущим любви, — с нежным характером, иногда немного шаловливый, но всегда солнечно-очаровательный мальчик с нежной кожей, как у сестры, но с медово-коричневыми воло-

сами и такими же глазами, хрупкий, склонный к сердечной тахикардии и удушьям, неустанно веселый в присутствии посторонних (в одиночестве Майлз был задумчив и скрытен, несомненно он скорбел по своим родителям, которых, в отличие от Флоры, он едва помнил. Когда они умерли, ему было пять лет). Несмотря на то что он был смышлен и способен, Майлз не любил школу, или, вернее, своих более грубых соучеников в Итоне. Но он редко жаловался. И в присутствии Питера Квинта, или любого другого взрослого мужчины, авторитета, решимость ребенка не жаловаться особенно ощущалась.

С самого начала, к удивлению Квинта, Майлз привязался к нему. Мальчик с детской откровенностью обнимал и целовал его, и даже, когда удавалось, забирался к нему на колени. Такая неконтролируемая демонстрация своих чувств одновременно смущала двоюродного и льстила ему. Квинт пытался отстранять Майлза, смеясь, краснея, протестуя.

— Твой дядя не одобрил бы такого поведения, Майлз! На самом деле, дядя сказал бы, что это «не по-мужски».

Но Майлз настаивал, Майлз был тверд. Если его отталкивали с силой, он плакал. У него была привычка бросаться к Квинту, если некоторое время они не виделись, и, обхватив за бедра, прятать в нем свое разбурявшееся лицо, как котенок или шенок, слепотыкающийся в поиске материнского соска.

Майлз умолял:

— Ты же знаешь, Квинт, что дядя меня не любит. Я только хочу, чтобы меня любили.

Жалея ребенка, Квинт неуклюже ласкал его, наклонялся поцеловать в темечко, потом отталкивал нервным движением.

— Майлз, дорогой друг, это действительно не то, что нам нужно, — смеялся он.

Но Майлз, тоже смеясь, крепко обнимал его, задыхаясь, не смущаясь, умоляя:

— Но разве не так Квинт? Разве не так? Разве не так?

Подобно мисс Джесел и маленькой Флоре, Питер Квинт и малыш Майлз были неразлучны, когда мальчик жил дома. А поскольку дети сильно, иные сказали бы отчаянно, были привязаны друг к другу, робкая, простовато-милая гувернантка из Глингдена и самоуверенный дворецкий из Мидланда находились в обществе друг друга очень часто.

Дьявольски трудно гордиться своей погребальной неотразимой внешностью, когда вынужден бриться тупой бритвой, глядясь в осколок зеркала, и когда одежда, несмотря на ее «красоту», покрыта слоем грязи. И очень неприятно, когда в ветреную ночь, погружившись в хрупкий, беспокойный сон в то время, когда луна словно плывет сквозь облака, вдруг проснуться в страхе. «Словно, — думает Квинт, — я вовсе и не умер и самое страшное еще впереди».

Бедная Джесел! Ее Переход усмирил еще больше.

Когда-то непорочная юная гувернантка с блестящим «шотландским завитком» в который раз безуспешно пытается отмыться в лужах грязной воды. Блестящие жуки Флориного «Азовского моря» прилипли у нее под мышками, на лобке, к горячей темной щели между ног, имеющей свой особенный неприятный запах. Эти необычно цепкие переливчатые насекомые, которые в изобилии размножаются в сырой земле подвала, пристают к волосам крепко, как узелки. Ее единственное хорошее платье, которое было на ней, когда она вошла в воду, теперь пропитано нечистотами, а некогда белоснежные нижние юбки исполосованы грязью и до сих пор не просохли. Она бесится, плачет, царапает лицо ломаными ногтями, обращается к любовнику, требуя сознаться, почему, зная, что она психически неуравновешена, он стал с ней жить.

Квинт возмущен. Мужчина есть мужчина. Хищное существо, призванное зачинать детей. Как мог он, в условиях их физического притяжения друг к другу на лоне романтической первозданной природы Блая, как мог Питер Квинт, сильный мужчина, не овладеть ею? Откуда ему было знать, что она «психически неуравновешена» и позору предпочтет лишиться своей драгоценной жизни?

Отчаянный поступок мисс Джесел не был лишь следствием позора, он был продуман, практичен. Слух пришел с Харлей-стрит (подкрепленный, конечно, рассказами миссис Гроуз и других), что мисс Джесел уволена, ей приказано немедленно освободить комнату, исчезнуть.

Куда ей идти? Обратно в Глингден?

Опозоренная женщина, испорченная, падшая женщина, женщина неоспоримо созданная быть женщиной.

Джесел злобно говорит, что все девственницы нашего времени и места «психически неуравновешены», а маленькие пресвитерские гувернантки больше всего. Если бы в жизни ей повезло родиться мужчиной, она бы боялась этих истеричных особ, как чумы.

Квинт раздраженно смеется:

— Да. Но, дорогая Джесел, понимаешь... я тебя люблю.

Заявление повисает в воздухе жалко и с упреком.

Вот она порочность: в сумерках, куда привел Переход проклятых любовников, Джесел кажется Квинту гораздо более красивой, чем при жизни, а Квинт, несмотря на раздражение, кажется Джесел еще более привлекательным, чем прежде, в грязных, драных брюках, жилетах, рубашках с чужого плеча, с петушиным гребнем кирпично-красных, тронутых сединой волос и

небритой бородой, — трогательный в своей ранимости даже теперь. Самый мужественный из мужчин. Сейчас грациозно-сдержанный и меланхоличный.

Желая друг друга, стая от безысходности, они обнимают и обвивают друг друга руками, они ласкают, сжимают в объятиях, целуют, кусают и вздыхают, когда их «материальные сущности» превращаются в нематериальные, как пар. И руки Квинта обнимают только воздух, тень, а Джесел впивается в него когтями, запускает пальцы в его волосы, губы прижимаются к его губам, но, проклятье, Квинт тоже лишь тень: привидение.

— Мы не реальны? Больше не реальны? — задыхаясь, вопрошает Джесел.

— Если мы способны любить, если подвластны желанию — кто может быть «реальнее» нас? — возмущается Квинт.

Но иногда им удастся заняться любовью, или чем-то похожим, если они действуют быстро, спонтанно. Если не пытаются облечь в сознательную мысль то, что готовы сделать, тогда им удастся сделать это почти успешно.

В другое время, по каким-то законам распада, непредсказуемо, молекулы, составляющие их «тела», смещаются и они теряют телесность. Но не обязательно одновременно. Так что бывает, Джесел протягивает руку для прикосновения к нему и в ужасе видит, что ее «реальная» рука проходит сквозь его нетелесное тело... Как тоскуют влюбленные о тех днях, таких недалеких, когда у них были совершенно обыкновенные «человеческие тела», но они не понимали чуда молекулярной гармонии!

Плоть нашей плоти, кровь нашей крови. Милая Флора, милый Майлз.

* * *

Как бежать из Блая? Джесел и Квинт не могут покинуть своих малышей, у них нет больше никого.

Дни и ночи они проводят в странствиях и размышлениях о том... как войти в контакт с детьми. В этих катакомбах время течет странно, словно ночной прерывистый сон, когда он то останавливается, то продлевается, а то и вовсе сокращается до секунд. Иногда в припадке отчаяния Джесел начинает верить, что для мертвых, для тех умерших, кто связан с жизнью своею страстью и, следовательно, умерших не окончательно, время вообще не меняется. Страдание постоянно и никогда не кончится.

— Квинт, ужас в том, что мы заморожены навечно в едином мгновении, отвратительном миге нашего Перехода, — говорит Джесел, глядя широко распахнутыми глазами с предельно расширенными зрачками. — И для нас ничто никогда не может измениться.

Но Квинт мгновенно отвечает:

— Дорогая моя девочка, время движется. Конечно! Ты ушла первая, помнишь, я следом, потом были наши похороны (проведенные быстро и даже поспешно), мы слышим, как там, наверху, они разговаривают о нас все реже и реже, хотя раньше, проклятые свиньи, ни о чем другом не говорили. Майлз в школе и скоро, думаю, приедет домой на пасхальные каникулы. На прошлой неделе был восьмой день рождения Флоры...

— А мы не смели быть рядом с ней. Мы вынуждены были наблюдать через окно, как прокаженные, — с жаром добавляет Джесел.

— Завтра приезжает новая гувернантка. Я слышал... Твоя замена.

Джесел смеется. Резкий, безрадостный, хриплый, короткий смех.

— Моя замена! Никогда.

* * *

Серо-бурая и такая некрасивая! Кожа цвета прокисшего молока! А глаза косые и жутко маленькие! До чего же костлявый лоб!

Джесел взбешена. Джесел извивается от ярости. Квинт пытается ее успокоить, но от этого еще хуже.

С вершины квадратной башни на востоке, выходящей на дорогу, проклятые влюбленные следят за новой гувернанткой, когда она не очень грациозно, с испуганной улыбкой выходит из экипажа. Миссис Гроуз держит Флору за руку, подталкивая ее, чтобы представить. Как она старается, толстая Гроуз! Та, которая однажды была подругой мисс Джесел, а потом так поспешно отреклась от нее. Новая гувернантка (как подслушал Квинт, она из Оттери Сент-Мэри в Девоншире — глухая деревня, такая же незаметная, как и Глингден), тоша, как швабра, в серой шляпке, которая ей не идет, и в сильно помятом сером дорожном платье. Ее мелкое, бледное, домашнее лицо светится изнутри надеждой, мольбой об «успехе».

Джесел отшатнулась, вспомнив себя на ее месте. Полурыдая, она бормочет:

— Квинт, как *он* мог! Другая! На моем месте, рядом с Флорой! Как *он* посмел!

Квинт утешает ее:

— Никто не займет твоего места рядом с Флорой, милая моя девочка. Ты это знаешь.

Когда новая гувернантка склоняется над Флорой, вся сплошь улыбка и приятность, Джесел видит с замиранием сердца, что девочка украдкой смотрит через ее плечо, ища мисс Джесел где-то поблизости.

Да, родная Флора. Твоя Джесел всегда где-то поблизости.

* * *

Так начался жестокий поединок.

Борьба за маленьких Флору и Майлза.

— Эта женщина — одна из них, — говорит Джесел, зажав кулаком рот. — Самая худшая из них.

Квинт, не желающий вникать в фантастические планы своей любовницы, которые без конца вращаются вокруг надежды (по его скептическому мнению

совсем несбыточной) на их воссоединение когда-нибудь, нахмурившись спрашивает:

— Самая худшая из них?

Джесел в слезах отвечает:

— Истовая маленькая... христианка! Пуританка! Ты их знаешь, одна из тех, кто ненавидит и страшится жизненной силы других. Ненавидит веселье, страсть, любовь. Все, что есть у нас.

Минута молчания. Квинт вспоминает некоторые сонные летние полдни: в нежных небесах стоит зной, плачущая Джесел в его объятиях, запах высоких трав, крики грачей, а Флора и Майлз приближаются сквозь рощу акаций и тихо, смущенно и счастливо зовут:

— О, мисс Джесел! Мистер Квинт! Где вы прячетесь? Можно вас увидеть?

Вспоминая, Квинт поежился. Он понимает, что Джесел тоже думает об этих дивных утеранных полднях.

Неприятно, конечно, думать, что хозяин нанял новую гувернантку для Флоры, но все же следует признать, что новая гувернантка необходима, и поскорее. Насколько всем известно, мисс Джесел умерла и удалилась туда, куда уходят все мертвые. Если бы позволяли приличия, хозяин нанял бы новую гувернантку через двадцать четыре часа после смерти прежней.

Да, у них теперь и новый дворецкий. Но этот человек джентльмена, слышал Квинт, будет жить на Харлей-стрит и никогда не увидится с малышом Майлзом. «Знает ли хозяин, — думал Квинт, — не только обо мне и Джесел, но и о детях тоже?»

— Ты все видишь, дорогой, — восклицает Джесел, — в тощем личике этой бедняжки.

— Конечно! Я все вижу.

Глаза Джесел прекрасны, кожа сверкает, подобно лунному свету. Губы как рана. «Глядеть на нее, — жадно думает Квинт, — значит вожделеть».

* * *

Первым маленькой гувернантке является Квинт. Он должен признать, что в облике молодой женщины

что-то есть: в ее худом жестком маленьком теле под одеждой, в высоко и нервно поднятой голове, в быстром прямом взгляде стальных серых глаз присутствует что-то одновременно отталкивающее и привлекательное.

В отличие от Флоры, способной смотреть в оцепенении мистического блаженства на свою мисс Джесел (ибо Квинт временами является в сопровождении Джесел, держа ее за руку), новая гувернантка реагирует с удивлением, потрясением, с откровенным ужасом, который необыкновенно приятен ему.

Он все еще молодой, энергичный и пылкий мужчина, правда лишенный после Перехода своей мужественности.

Бестелесный Квинт взбирается на квадратную башню на западе по спиральной лестнице к зубчатой вершине. Он невесомый, поэтому чувствует себя превосходно. «Укрепления» Дома Блай трогательно замысловатые, но не настоящие, лишь декорация, потому что были достроены в короткий период моды на романтическое средневековое всего двадцать лет назад. Но кто же против? Они создают изумительную атмосферу. Квинт видит, что гувернантка приближается по тропинке, вьющейся вниз. Она одна. Задумчива, возбуждающая в своей девственной беззащитности. Он прихоращивается, оглядывая себя, и остается доволен тем, что видит. Он чертовски привлекательный мужчина. Блуждающий вечерний ветерок затихает, грачи прекращают свой жуткий вездесущий гомон, наступают неестественная «тишина». И Квинт с наслаждением ошущает испуг гувернантки, когда она поднимает глаза к вершине башни, к навесной бойнице, к нему. Ах, блаженство!

Несколько романтических секунд, кажущихся минутами, Квинт и гувернантка смотрят друг на друга: Квинт холодно и зловеще своим «проникающим» взглядом (который вряд ли способны забыть неопытные девушки и многие прочие), гувернантка с выражением тревоги, недоверия и ужаса. Бедняжка непроизвольно делает шаг назад. Она прижимает к горлу дрожащую

руку. Квинт смотрит на нее очень, очень пристально. Он удерживает ее там, внизу на тропинке, он желает, чтобы она замерла как вкопанная. Для этого представления Квинт подобрал привлекательный костюм, за который ему не стыдно. Брюки все еще сохранили форму, белая шелковая сорочка, хранимая специально для таких случаев, почти новый элегантный пиджак хозяина и изяшный жилет — чужие вещи, но на мужественной фигуре Квинта смотрятся исключительно. Бородака его свежестрижена, что придает ему зловеще-романтический вид, он без шляпы, конечно, и роскошный красный петушиный гребень его волос должен быть хорошо виден.

«Дьявол», как заметил Квинт Джесел, которого предпочитают женщины, еще и денди*.

Гувернантка действительно стоит как вкопанная, ее маленькое лицо не выражает ничего из того, что происходит у нее внутри.

С заученным равнодушием профессионального актера, хотя такое «явление», старательно рассчитанное, совершенно ново для него, Квинт медленно идет по краю, продолжая смотреть на гувернантку.

— Ты меня не знаешь, моя дорогая девочка, но можешь догадаться, кто я. Тебя предупреждали.

* * *

В то время как гувернантка продолжает смотреть на него, словно замороженный ребенок, коварный Квинт направляется к дальней башне и исчезает.

* * *

Потом он размышляет в золотисто-эротическом упоении, полном удовлетворения: как еще можно почувствовать ту силу, которой мы владеем, если не увидеть ее отражение в чужих глазах?

* Денди — изысканно одетый светский человек, шеголь, франт. —
Прим. ред

Возбужденно Джесел предсказывает, что ее «замена» сбежит из Блая немедленно.

— В таком случае я должна это сделать!

— Ты имеешь в виду привидение, — озадаченно спрашивает Квинт, — или меня?

Но, к удивлению и совершенному разочарованию Джесел, гувернантка из Оттери Сент-Мэри в Девоншире не сбежала из Блая, но вроде бы даже окопалась, как при осаде. Несомненно, она запугана, а также подозрительна и насторожена. От нее исходит... что? Пуританское, чопорное, агрессивное рвение? Упрямая решимость христианского мученика?

Во время второй встречи с Квинтом — они вдвоем, расстояние не более пятнадцати футов и только стекло между ними — молодая женщина встает в полный рост (у нее нет статности Джесел, не выше пяти футов и двух дюймов росту) и пристально и долго смотрит на Квинта.

Квинт грозно хмурится. «Ты знаешь, кто я! Тебя предупреждали!»

Гувернантка так напряжена, что лицо ее становится совершенно бескровным, мертвецки-восковым, кулаки сжаты и прижаты к груди, даже суставы побелели. Но, глядя на Квинта, она как будто бросает ему вызов. «Да, я знаю, кто ты. Но, нет, я не сдамся».

Когда Квинт отпускает ее, она не бежит прятаться в свою комнату, а снова, совершенно неожиданно, кидается из дома, обегает террасу, направляясь туда, где мог бы стоять и смотреть в окно Квинт, если бы был «настоящим» человеком из плоти и крови. Конечно, там никого нет. Клумба пятнистых фуксий под окном не тронута.

Бледная, но надменная гувернантка осматривается вокруг с нервным усердием молодого терьера. Ясно, что она напугана, но, кажется, чтобы ее остановить, одного страха мало. (Поведение ее тем более отважно, что теперь воскресенье и большинство домочадцев,

включая вечно бдительную миссис Гроуз, в церкви деревни Блай.) Квинт удалился к живой ограде неподалеку, где, присоединившись к мрачной Джесел, созерцал гувернантку в простой, унылой, строгой воскресной шляпке и провинциальном платье: что за вызывающе неотесанная особа!

Джесел, ворча, грызет ноготь большого пальца:

— Возможно ли такое, Квинт! Нормальная женщина, увидев привидение... или вообще, заведя мужчину в такой ситуации, настоящего мужчину... убежала бы с криком о помощи.

Раздраженно Квинт отвечает:

— Может быть, любовь моя, я не такой устрашающий, как нам кажется.

— Или она ненормальная женщина, — говорит с тревогой Джесел.

Потом Квинт будет вспоминать этот эпизод не только с раздражением и досадой, но и с чувством сексуального возбуждения. Его веселит, что в Блай появилась новая, молодая, волевая женщина, домашняя, как пудинг, с телом, грудью и задом плоскими, как доска. Конечно, ей не достает страстности Джесел, но она живая, а бедная дорогая Джесел мертвая.

* * *

Квинт делается тонким, как змея, эфемерным, но способным к мощной полнокровной эрекции. Он демон, тайно проникает в спальню гувернантки, в ее постель, и, не обращая внимания на ее отчаянное сопротивление, в ее тело.

Когда он громко стонет и содрогается, Джесел бьет его крепким маленьким кулачком.

— У тебя кошмарный сон, Квинт? — иронично спрашивает она.

* * *

И вдруг неожиданная новость — бедного Майлза выгнали из Итона!

Квинт и Джесел ухитрились подслушать, как гувернантка и миссис Гроуз без конца обсуждают это событие и новую тайну. Недоумевающая, потрясенная и изумленная, гувернантка читает миссис Гроуз письмо директора об отчислении. Женщины анализируют его холодный, грубый, оскорбительно-официальный стиль, по которому ясно, что отчисление является вопросом решенным и обсуждению не подлежит. Кажется, что Итон просто «отказывается» признавать малыша Майлза своим учеником. Вот и все.

Присев на корточки рядом с Квинтом, Джесел тихо говорит чувственным тоном:

— Как приятно тебе, Квинт, снова увидеть твоего мальчика! Скоро мы все четверо воссоединимся! Я знаю.

Но Квинт, у которого есть догадки, почему исключили Майлза, мрачно отвечает:

— Бедный Майлз! Он все равно должен будет ходить в школу, обязательно. Он не может слоняться здесь, как его сестра. Дядя взбесится, когда узнает. Старый грешник спит и видит, чтобы его Майлз вырос таким же «мужественным», как он сам.

— О, какое нам дело до него? — спрашивает Джесел. — Он же самый страшный враг.

Через день появляется Майлз. Он почти такой же, как запомнил его Квинт, может, на дюйм или два повыше, на несколько фунтов поправился, кожа белая, глаза ясные, с этим слегка лихорадочным румянцем на щеках, с испуганной одышкой, которая казалась Квинту такой трогательной и осталась умильной до сих пор. Нежный, хрупкий, пугливый юноша десяти лет, выглядевший намного, намного старше своих лет. Он завоевывает сердце новой гувернантки при первой же встрече, но предупреждает, несмотря на свою наивность: любые вопросы об Итоне неуместны. И в ту же ночь, когда ему следовало быть в постели, он проскальзывает мимо комнаты гувернантки (которую с ней делит Флора) и уходит в глубокую, подвижную тень сада в поисках... кого или чего?

Лунный свет каскадом льется с шиферных крыш

огромного Дома Блай. Крики ночных птиц звучат ритмичным пульсирующим стаккато.

Квинт следит за Майлзом. Тот в пижаме, босиком пробирается по склону лужайки мимо конюшен к их старому месту встреч. Там ребенок кидается в покрытую росой траву, словно заявляя: «Я здесь, где же ты?» Когда умер Квинт, говорили, что малыш Майлз был «холоден как камень», не проронил ни слезинки. Это Квинт подслушал у слуг. Когда утонула Джесел, говорили, что Флора была «убита горем», безутешна много дней. Квинт одобряет стоицизм Майлза.

Спрятавшись неподалеку от норовистого мальчика (Майлз нетерпеливо озирается, срывая траву), Квинт смотрит на него восторженным, виноватым взглядом. При жизни Квинт пылал страстью к женщинам. Его чувство к Майлзу было лишь ответом на чувство мальчика. Таким образом, это была не истинная страсть. Квинт сомневается, справедлива ли в отношении ребенка эта тайная связь между ними? Привязанность бесконечно нежной, безмолвной интимности, которая даже после внезапного Перехода Квинта, кажется, не ослабела.

В лунной тишине голос ребенка звучит тихо, испуганно и с надеждой:

— Квинт? Черт тебя побери, Квинт, ты здесь?

Квинт молчит, внезапно онемев от эмоций. Он видит прекрасные глаза мальчика, сверкающие от возбуждения. Как трагично осиротеть в пять лет! Не удивительно, что ребенок хватался за колени Квинта, как утопающий хватается за содоминку.

У Майлза была милая и трогательная, возможно, немного жалкая, привычка разыскивать любовников, Квинта и мисс Джесел, в тайных местах их встреч, а потом с разметанными шелковистыми волосами, с расширенными, как у одурманенного, глазами он обнимал, прижимался, стонал от томления и удовлетворения — как можно было устоять перед ним, прогнать? Маленькую Флору тоже?

— Квинт? — шепчет Майлз, нервно оглядываясь. Его восторженное напряженное лицо подобно лепест-

ку лилии. — Я знаю, что ты здесь, не может быть, чтобы тебя здесь не было! Прошло столько времени.

Эти наисчастливейшие дни! Эти самые неожиданные, непредсказуемые дни.

А какая в Блае неопределенность времени... В Блае, заросшем буйной растительностью в глуши Англии, невообразимая в суматохе Лондона и суровой вертикальности Харлей-стрит.

Майлз продолжает более отчаянно и требовательно:

— Квинт, будь ты проклят! Я знаю, что ты здесь... где-то. — Действительно, нахмурившись, от чего его безупречный лоб сильно сморщился, как мятая бумага, мальчик смотрит прямо на Квинта... возможно не видя его. — Не «умер»... — изяшный рот Майлза искривляется от отвращения, — только не ты. Она же тебя видела? Новая сверхжуткая гувернантка? Я зову ее «Святая Выдра». Правда здорово придумал? Квинт? Она тебя видела? Конечно, она никому не говорит, слишком хитрая, но Флора догадалась. Было столько скучной болтовни про «чистоту» детства и необходимость «быть хорошим», начиная жизнь с чистыми руками. — Майлз резко засмеялся. — Квинт? Знаешь, они меня поймали... выгнали... как ты боялся... как предупреждал. Думаю, я сам виноват... какой дурак! Рассказал всего двоим или троим про это... мальчишки мне нравились, о! Очень сильно... я им тоже нравился. Я знаю... они поклялись никому ни слова, и все же... как-то так... все стало известно... был жуткий шум и гам... ненавижу! Они все враги, их так много! Квинт? Я люблю только тебя.

И я люблю только тебя, дорогой Майлз.

Квинт является Майлзу — высокая, мерцающая фигура, выше, чем в жизни. Пораженный, Майлз задохнулся, взглянув на него, потом на четвереньках он ползет к Квинту, теперь уже плача:

— Квинт! Квинт! — Стеная в бреду восторга, он пытается обнять привидение, его ноги, бедра. Эфемерность Квинта его не отпугивает, возможно, от возбуждения он не совсем все понимает. — Я знал! Я знал! Я знал! Ты меня не бросишь, Квинт?

Никогда, мой мальчик, вот тебе мое слово.

Затем, о ужас, внезапно раздается голос, гнусавый, пронзительный, злой.

— Майлз? Ах ты, непослушный мальчик, где ты?

Это гувернантка из Оттери Сент-Мэри: тщедушная упрямая особа как раз повернула за угол конюшни в каких-то тридцати футах, высоко держа зажженную свечу, с трудом продвигающаяся, но настойчивая, храбро не замечающая ночи и слабого, мерцающего круга от пламени свечи: *она!*

— Майлз!? Майлз...

Таким образом, свидание закончено, грубо прервано. Ругаясь, Квинт отступает. Майлз в пижаме, такой очаровательно босой, поднимается с горестным видом, отряхивается, делает лицо, — детское, ангельское личико, — растворяет губы с тем только, чтобы произнести:

— Я здесь.

* * *

Но кто за нами следит, Квинт, если не мы сами? Разве есть другой, чье лицо мы не можем видеть и чей голос не можем слышать, если только он не звучит в наших мыслях?

* * *

Джесел буквально выплевывает слова, ее прекрасные губы обезображены.

— Я презираю ее! Это она вурдалак. Если бы только можно было уничтожить ее на месте.

Поддавшись на уговоры ребенка, как редко бывало прежде, Джесел является маленькой Флоре среди бела дня, отважившись «материализоваться» на дальнем берегу спокойного Азовского моря. Безоблачный полдень раннего лета, головокружительный аромат жимолости, и вдруг ниоткуда появляется на травянистом

берегу торжественная и прекрасная фигура. Волосы ужасающе лохматы, темно сверкают, ниспадая с плеч, лицо бледно, как алебастр, геральдическая фигура из древней легенды, как само проклятие. А на переднем плане кукольная фигурка ребенка: белокурые локоны, ангельский профиль, фартучек ярко-желтый, как лютики, растущие веселыми стайками в траве лужайки. Разве малышка Флора, с ее невинностью и нетерпением, не прекрасное дополнение к видению?

А на каменной скамейке рядом с ребенком, увлеченная вязанием, но не сводящая с нее внимательных, ревнивых глаз «Святая Выдра», как остроумно окрестил ее Майлз.

Ну просто сама Судьба!

Совершенная тюремщица.

Глаза как лужи, жидкие бесцветные ресницы, короткие брови, маленький отважный подбородок, тело как спица, кожа натянута туго, словно на барабане. Узкое лицо слишком мало для головы, а голова слишком мала для тела, тело слишком мало для таких длинных угловатых ступней. Лопатки страдальчески выпирают под темным хлопчатобумажным платьем гувернантки, точно сложенные крылья.

Флора, кажется, увлечена игрой на другом берегу пруда, напевает какой-то мотив, укачивая новую куклу, исключительно красивую, словно живую, куклу из Франции — подарок дяди-опекуна к ее восьмому дню рождения (на котором, к огорчению дяди, он присутствовать не мог). Головка ее опущена, но она смотрит, пристально глядит сквозь ресницы на любимую мисс Джесел на другом берегу. Как в томлении бьется сердце ребенка! Возьмите меня с собой, мисс Джесел, пожалуйста! Мне так одиноко здесь, — безмолвно молит ребенок, — я так несчастна, дорогая мисс Джесел, с тех пор как вы ушли! Сердце Джесел тоже бьется от тоски и любви, ибо ее родная, родная малышка, дитя, грубо внедренное ей в матку, дитя ее и Квинта, в этом самом пруду.

Джесел впивается взглядом во Флору. Джесел успокоит дитя, как гипнотизер. «Дорогая Флора, милое

дитя, ты знаешь, как я люблю тебя, ты знаешь, мы скоро будем вместе и никогда больше не расстанемся, моя родная...»

Но вдруг грубое вмешательство самым пронзительным резким голосом:

— Флора, что случилось? Что такое?

Терьер «Святая Выдра» вскакивает на ноги и спешит к Флоре, озираясь, смотрит сощуренными близорукими глазами через пруд — видит фигуру своей предшественницы, которую, возможно, узнает. Привидение самой печальной красоты, но более пугающее в своей торжественности, чем то, другое, — мужчина. (Поскольку мужчину, с его сексуально-агрессивной, самоуверенной позой, можно определить как просто мужчину, а это существо, видит «Святая Выдра», не что иное, как вурдалак).

С безотчетной силой гувернантка берет Флору за руку, в ужасе восклицая:

— Мой Бог, что за... кошмар! Закрой глаза, детка! Спрячься!

Флора в слезах сопротивляется. Изумленная и моргающая, словно ее ударили по лицу, она убеждает, что ничего не видит, что там ничего нет. Хотя Джесел неотрывно смотрит в бессильной злобе, гувернантка быстро и властно уводит плачущего ребенка, схватив ее за обе ручки, бормоча слова упрека и утешения:

— Не смотри на нее, Флора! Жуткая, отвратительная гадость. Ты в безопасности.

* * *

Жуткая, отвратительная гадость. При жизни она была такой скромной девушкой, безупречно ухоженная как духовно, так и физически, да, и христианка, конечно, и девственница... конечно.

Это щекотная возня у нее в волосах? Жучок с крепким панцирем падает на землю.

Фанатичная Джесел, неотступающая от своей сути, начинает терять контроль. Теперь она безрассудно

бродит днем по Дому Блай в надежде повстречать свою дорогую девочку одну, хотя бы на несколько мгновений.

— Кажется, что я одержима, — в отчаянии смеется Джесел. — Но что же делать? Флора — моя душа.

Но ревнивая и мстительная «Святая Выдра» днем неотступно порхает над ребенком, а поставив хорошенькую кроватку Флоры к себе в спальню, охраняет ее и по ночам. (После недоразумения на берегу пруда ни гувернантка, ни ее возбужденная, лихорадочная подопечная не способны были уснуть более чем на несколько минут кряду.)

Флора молит: «Мисс Джесел, помогите! Придите ко мне! Скорее!»

И Джесел обещает: «Флора, моя дорогая, я приду. Скоро».

Но бдительная молодая женщина из Оттери Сент-Мэри не позволяет открыть ставни в своей спальне! А также ставни в соседней детской. Во времена «правления» мисс Джесел, когда они с рыжебородым Квинтом были любовниками, как эти комнаты были залиты солнечным светом! Да и лунным светом тоже! Самый воздух дышал их любовью, влажной и томной, витые серебряные канделябры на стенах дрожали от их страстных восклицаний. Теперь воздух несвежий и затхлый, только что постланное чистое белье в течение минут становится грязным.

Пользуясь властью, поскольку в Блае нет никого, кто мог ей противостоять, «Святая Выдра» пытается добиться, чтобы в комнате Майлза ставни тоже были закрыты. Но, будучи мальчиком чрезвычайно самовольным, чье ангельское личико скрывает не по годам развитую душу, Майлз сопротивляется.

Помилуйте, для чего же тогда нужны окна, вы, старая глупышка, — Майлз берет веселый, шутливый, слегка язвительный тон с ужасной женщиной, — если не для того, чтобы смотреть в них?

На что отвратительные челости изрекают:

— Майлз, этот вопрос я оставляю тебе.

Как будто деревянные ставни способны уберечь от самой неистовой любовной жажды.

Бедная проклятая душа: теперь уже все ее видели.

Она блуждает по дому то наверху, то внизу, то в открытых балконных дверях, выходящих на пышные остролистые белоснежные георгины... Этот плачущий крик принадлежит ей. Вздох, вырванный из нее... женщины, плачущей по своему потерянному ребенку или ее собственной угасающей душе. Почему так происходит, что «Святая Выдра» всегда между ней и Флорой... всегда! Совсем недавно тоже, с Новым Заветом в руках.

В то утро Джесел оказалась за своим столом в классной комнате. Она издает слабый стон. Руки на столе, а голова, отяжелевшая от горя, лежит на них, лицо спрятано, глаза воспалены от слез отчаяния и недоумения. От резкого вздоха она очнулась. Встает, качаясь, и поворачивается, чтобы увидеть своего врага в шести футах от себя. «Святая Выдра», согнувшись в поясице, как инвалидка, подняла руки, как бы отгоняя дьявола, но бесцветные глаза презрительно сощурены от несомненного отвращения. Бледный нависший лоб, тонкие губы.

— Изыди! Это место не для тебя! Гнусный, бессловесный ужас!

Если раньше Джесел настояла бы на своем, то теперь, видя ненависть в чужих глазах, она ослабела, она беззащитна. Она не может протестовать и чувствует, как растворяется, сдается своему противнику, который кричит ей вслед в экстазе триумфа совершенно безжалостным пронзительным, резким голосом:

— И не возвращайся никогда! Никогда, никогда не смей возвращаться!

* * *

Теперь еще с большим усердием и рвением «Святая Выдра» настойчиво расспрашивает бедную Флору: «Флора, дорогая, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Или: «Флора, дорогая, знаешь, ты можешь ска-

зять мне: я видела ужасную вещь, я уверена». И уже совсем невыносимо: «Дитя мое, ты также можешь сознаться! Я разговаривала с твоей «мисс Джесел», она мне все сказала».

Джесел — свидетель, хотя и невидимый и бессильный свидетель того, как наконец терпение Флоры лопається. Ее рыдания, ужасным эхом дрожащие в катакомбах под огромным Домом Блай, подобны рыданиям бесчисленного множества детей.

— Нет, нет, нет, нет! Я не видела! Не знаю! Не знаю, о чем вы! Я ненавижу вас!

Джесел бессильна вмешаться, даже увидев, как отчаявшееся дитя схвачено рукой миссис Гроуз.

Какая горькая ирония в том, что Джесел благодарна за это своему старому врагу, миссис Гроуз.

К рассвету я прекращаю свое существование. Я всего лишь воспоминание ночи.

* * *

Старый дом гудел до самого основания от неистовых воплей ребенка, от ее гортанных богохульных и непристойных выкриков. Миссис Гроуз с другой служанкой, сопровождающие Флору в Лондон, где она будет находиться под наблюдением известного детского врача, вынуждены время от времени закрывать уши руками, сгорая от стыда.

Миссис Гроуз слезно вопрошает:

— Где этот ангел набрался таких выражений?

* * *

Конечно, «Святая Выдра» останется, чтобы заботиться о маленьком Майлзе. Она потрясена... печально недоумевает... взбешена... внезапной потерей Флоры, но не намерена потерять Майлза.

Она тоже девственная дочь сельского священника-методиста. Стоя на коленях, умоляя Отца нашего о

силе в борьбе с дьяволом, она читает Новый Завет ради утешения и укрепления духа. Разве наш Спаситель не изгонял злых духов из бесноватых? Разве Он, по велению Своему, не поднимал мертвых из могилы. В мире, где идет яростная борьба духа, возможно все.

— Майлз, дорогой! Где ты? Отзовись, пора начинать урок!

Далеко внизу, в темных сырых катакомбах, его любимая Джесел с разбитым от горя сердцем. (Квинт не был ее мужем, но ощущает потерю, как муж, половина его души растерзана.) Питер Квинт слышит, как гувернантка ходит из комнаты в комнату, удивительно тяжело ступая на каблуках. Голос у нее как у грача, пронзительный, настойчивый.

— Майлз? Майлз?

Трясушимися пальцами Квинт готовит себя к последнему противостоянию. Он воспринимает себя как фигуру драматичную, или это может быть соотношение: вот Бог, а вот Дьявол, это обман, это должен быть обман, в противном случае не остается выхода... Скопившись на свое бледное отражение в осколке зеркала, он пытается преобразить седеющую бороду или придать ей прежний вид, вспоминая с томлением в паху, как бедный Майлз обнимал его за колени, прижимаясь к нему лицом.

Насколько греховно дарить и принимать любовные ласки?

Джесел сгинула. Растворилась, испарилась, как молочко-мутный утренний туман испаряется на рассвете. Его возлюбленная Джесел! Девушка с «шотландским завитком» и девственной плевой, которую так трудно было сломать! Всего лишь облачко разрозненных молекул, атомов?

Эта разрозненность и есть Смерть. В сравнении с которой Переход всего лишь увертюра. В Блае их удерживала только страсть, нежелание любви расстаться с любимыми. Страсть удерживает Квинта здесь. Этот факт ошеломил его. Всего лишь молекулы, атомы? В

то время как мы любим так страстно? Он видит тоскующее лицо Майлза, чувствует его застенчиво настойчивые и осторожные ласки.

Он готовится к встрече с врагом.

* * *

Тяжело дыша, как зверь, с мокрыми от росы ногами Квинт вглядывается сквозь грязные окна. Там внутри наконец выследили бедного Майлза. «Святая Выдра» нашла его в библиотеке на первом этаже, уютно затаившимся в глубоком кресле, повернутом в угол комнаты со сводчатым потолком, куда никто (даже хозяин в свои редкие визиты) давно уже не заходил. Это место для джентльмена, нечто вроде мавзолея, с темными дубовыми панелями, увешанными портретами патриархов, давным-давно обратившихся в прах и забытых. Двенадцатифутовые книжные полки до потолка, забитые старыми покрытыми плесенью книгами. Огромные, в кожаных обложках и с золотыми обрезами тома выглядят так, будто их не открывали столетиями. Какая несуразица — и в этом мраке, свеженький десятилетний Майлз с быстрой небрежной улыбкой!

Белогубая «Святая Выдра», подбоченясь, спрашивает Майлза, почему он «спрятался» здесь, почему затаился в кресле, поджав ноги, и сидит так тихо, «когда, как тебе известно, я все зову, и зову тебя?»

Майлз смотрит в окно, едва заметное движение глаз, и весело отвечает: «Я просто зачитался...» — показывает гувернантке несуразно-тяжелый антикварный том на коленях — *Directorium Inquisitorum*.

«Святая Выдра» сухо отвечает:

— С каких это пор, мой мальчик, ты стал читать по латыни ради удовольствия?

А Майлз очаровательно хихикнул:

— Моя дорогая, я читаю по латыни, как и все... ради муки.

«Святая Выдра» хочет снять Directorium Inquisitorum с колен Майлза, но мальчик шаловливо выпрямляет их, и тяжелая книга падает на пол в клубе пыли. Майлз бормочет:

— О! Извините.

Майлз снова смотрит в окно. «Квинт, ты здесь?»

Квинт глядит, не отрываясь, в надежде встретиться с ребенком глазами, но проклятая гувернантка встает между ними. Как бы ему хотелось задушить ее голыми руками! Она сразу начинает выпрашивать Майлза настойчиво, но с мольбой:

— Скажи мне, Майлз, твоя сестра общалась с этой ужасной женщиной, да? С моей предшественницей? Именно поэтому Флора так ужасно, трагически больна, да?

Но хитрый Майлз сразу все отрицает, он даже не знает, о чем говорит «Святая Выдра». Он начинает вести себя как маленький ребенок, гримасничая и извиваясь, отклоняется от «Святой Выдры», когда она пытается его схватить. И снова глаза его украдкой устремляются к окну. «Квинт, черт тебя побери, где ты? Помоги мне!»

«Святая Выдра» поймала его, как змея. Ее бесцветные близорукие глаза светятся миссионерскими добрыми намерениями.

— Майлз, дорогой, только скажи правду, ты знаешь, и не лги. Ты разобьешь сердце Иисуса и мое сердце, если солжешь. «Мисс Джесел» соблазнила бедную Флору, это так? А ты, что известно тебе о «Питере Квинте»? Его не надо бояться, если ты все мне расскажешь.

Смех у Майлза дикий и быстрый. Он просто все отрицает. Все.

— Я ничего не знаю о том, что вы говорите. Флора не больна. Флора поехала навестить нашего дядю в Лондоне. Я ничего не знаю про мисс Джесел, которая умерла, когда я был в школе. А Питер Квинт... он... — издалека видно, как исказилось его лицо, — ...этот человек умер.

— Умер, да! Но он здесь с нами, в Блае, постоян-

но! — кричит гувернантка с видом обманутой любовницы. — И Майлз, я думаю, что ты знаешь.

— Здесь с нами? Постоянно? Что вы имеете в виду? Где? — Лицо мальчика настолько убедительно-наивно, что Квинт недоумевает. — Черт вас возьми, где?

Торжествуя, «Святая Выдра» поворачивается и показывает на окно, к которому прильнул Квинт. Конечно, женщина не может знать, что там Квинт, но с фанатичной уверенностью она указывает пальцем в направлении испуганного взгляда Майлза.

— Там! И ты всегда это знал. Ты дурной, дурной мальчик!

Но похоже, что Майлз, хотя и смотрит прямо на Квинта, не видит его.

— Что? — воскликнул он. — Питер Квинт? Где?

— Там, говорю тебе, там! — В ярости гувернантка стучит пальцем по стеклу, словно хочет разбить его. Квинт отпрянул.

У Майлза вырывается вопль страдания. Лицо его мертвенно-бледно, он почти на грани обморока, но когда «Святая Выдра» пытается обхватить его руками, он отскакивает.

— Не прикасайся ко мне, оставь меня! — кричит он. — Я тебя ненавижу. — Он убегает из комнаты, оставляя «Святую Выдру».

Оставляет «Святую Выдру» и Питера Квинта любоваться друг другом через окно, теперь уже охладевших. Как любовников, измученных в экстазе объятий.

* * *

Вы, должно быть, вообразили, что если бы существовало зло, то Добро тоже имело бы право быть.

* * *

Ребенок по имени Майлз убегает в душистую мягкую ночь, бежит изо всех сил, промокшие волосы липнут к его лбу, а сердце бьется в груди как скользкая

рыба. Хотя и догадываясь, что это напрасно, потому что сумасшедшая женщина показывала в пустоту, Майлз кричит голосом, полным надежды:

— Квинт? Квинт!

В высоких кронах деревьев ветер. Небо усыпано звездами. Конечно, никакого ответа.

С улыбкой Майлз слушает лягушек в пруду. Каждый год в одно и то же время эти низкие, гортанные, нетерпеливые ритмичные звуки. Комичные, но не лишенные достоинства. И так много! Ночной воздух теплый и влажный, как во рту у любовника. Лягушкам он нравится. Пришло их время.

МУЧЕНИЧЕСТВО

Появившись из матки матери, он был гладеньким крошечным малышом, дышал жизнью, отличался здоровым аппетитом и был безупречно сложен: двадцать целеньких миниатюрных пальчиков с почти микроскопическими острыми коготками, розовые крошечные ушки, маленький бдительный носик. Зрение у него было сравнительно слабым, и различал он скорее движение, чем очертания, структуру или оттенки цветов (на самом деле он, возможно, вообще не различал цвета. А поскольку на этот недостаток ему никто никогда не указывал, то вряд ли он был «слеп» во вторичном, метафизическом смысле). Его младенческие челюсти, верхняя и нижняя, были мускулистые и неожиданно сильные. А хищные зубки этих челюстей были острые, как иголки, и идеальной формы (скоро их стало больше), и еще весело изогнутый хвостик, розовый, голый, тоненький, словно ниточка. Усы не длиннее десятой доли дюйма, но трепетные и жесткие, точно щетинки малюсенькой-премалюсенькой щеточки.

2

Какой красивой была Малышка, так звали ее любящие родители, зачатая в самой нежной и самой эротичной любви! Ей было суждено быть окруженной

любовью, поглощенной любовью. Американская Малышка, помещенная благоговейными руками в инкубатор. Голубые, как незабудки, глаза, светлые нежные волосы, прелестные, как лепестки розы, губы, аккуратный вздернутый носик, идеально гладкая белая кожа.

К кормящим матерям с полными, тяжелыми грудями обратились с просьбой поделиться, за деньги, своим грудным молоком, поскольку у матери Малышки молоко было недостаточно питательно. Инкубатор Малышки фильтровал загрязненный воздух и качал чистый кислород прямо ей в легкие. Ей не нужно было плакать, как другим детям, чья печаль так громка и назойлива. Во влажном, теплом, как в тропическом лесу, воздухе инкубатора Малышка цвела, сияла, блаженствовала и росла.

3

А как подрастал он, безмянный даже для своей матери! Как он удваивался, утраивался, учетверялся в размере в течение дней! Смышленный, гонимый, вечно голодный, он прокладывал свой путь в рое однопометников. Была ли это привычка, когда не спится, что-нибудь грызть, и не только съедобное, но даже несъедобное: бумагу, дерево, кости, металл определенного вида и толщины и прочее? Или просто он был вечно голоден, или просто любил грызть, кто знает? Известно, что его резцы росли со скоростью около четырех-пяти дюймов в год, поэтому ему нужно было стачивать их, чтобы они не проросли в мозги и не убили его. Если бы мозг позволил ему размышлять, он задумался бы над своими генетически обусловленными трудностями: добровольно или принудительно такое поведение? что есть принуждение? когда вопрос выживания является главным, подчиняясь законам Природы? кто вообще способен вести себя неестественно?

Малышка никогда не утруждала себя такими вопросами. В своем застекленном инкубаторе она понемногу набирала сантиметры и вес, ела и спала, спала и ела. Прошло совсем немного времени, когда ее пухленькие колени уперлись в стекло, запотевшее от дыхания. Родители начали беспокоиться за такой быстрый рост, но все же гордились ее розовой женственной красотой, маленькими упругими грудками, округлыми бедрами, пухленьким животиком, попкой, кудрявым светло-коричневым пушком на лобке, прекрасными густыми ресницами и глазами без зрачков. У Малышки была плохая привычка сосать палец. Поэтому они намазали его противной оранжевой йодистой смесью и с удовольствием наблюдали, как она плевалась, давилась и морщилась от отвращения, попробовав ее. Однажды теплым апрельским днем, когда в инкубаторе заметили винно-красный сгусток крови, выделившийся из ее пухлой промежности, все очень удивились и расстроились. Но что же делать? Отец Малышки сказал, что от того, что положено Природой, не уйдешь, и даже не отсрочишь.

Как много у него братьев и сестер! Проход полон их извивающимися телами, подвал склада кишит ими и питит от них. Он чувствовал, как бесконечно множится в мире его семейство, поэтому он не должен вымереть. Ибо из всех животных страхов самым ужасным признан страх не просто умереть, но *вымереть*. Сотни тысяч — что утешало, но в то же время являлось причиной беспокойства всех — единокровных братьев и сестер испытывали постоянный голод. Голодный писк распространялся до бесконечности. Пользуясь своими цепкими коготками, он научился взбираться по отвесным стенам, бежать сверх своих сил, вырывать глотки врагам, подскакивать и взлетать — например,

бросаться на расстояние одиннадцати футов с одной крыши на другую, таким способом отрываясь от преследования. Он научился на бегу пожирать еще живую, трепещущую жертву. От хруста костей его пасть наполнялась блаженством, а маленький мозг бешено и радостно работал. Он никогда не спал. Пульс у него всегда бился в диком ритме. Он знал, что нельзя давать загнать себя в угол и прятаться там, откуда нет выхода. Он собирался жить вечно! Если только однажды его враги не устроят ему ловушку, самую наглую ловушку. Принюхиваясь, изнемогая от голода, пища, он тянется к заплесневелой хлебной приманке, пружинка соскакивает, и по шее ударяет планка, ломая его хрупкий позвоночник и почти отсекая бедную удивленную головку.

6

Они ее обманывали, говоря, что этот бал по случаю ее дня рождения — только семейный праздник. Сперва была ритуальная баня, затем разглаживание кожи, бритье и выщипывание некоторых неудобных волос, завивка и укладка некоторых нужных локонов. Она голодала сорок восемь часов, затем сорок восемь часов ей было позволено объедаться. Они скребли ее нежную кожу жесткой щеткой, они втирали ей в раны едкую мазь, маленький клитор был удален и брошен кудахчущим курам во дворе, а только что выбритые губы были плотно зашиты; обильно льющаяся кровь была собрана в позолоченный кубок. Ее зубы выравнивали щипцами, большой горбатый нос был сломан быстрым умелым ударом ладони, кости и хрящ зажили и восстановились в более приятных контурах. Затем настала очередь тугого пояса, чтобы утянуть пухлую двадцативосьмидюймовую талию Малышки до требуемых семнадцати дюймов, отчего ее рыхлые бедра стали еще пышнее, а божественные груди-мячики поднялись еще выше. Кишки ее были вдавлены в грудную клетку. Ей сперва стало трудно дышать, а на губах

появились розоватые мокрые пузырьки. Затем она научилась самому главному — показывать свою классическую, как «песочные часы», фигуру и новую для нее власть над пламенным воображением мужчин. Платье ей шло и было как бы в стиле ретро, но в то же время игриво волнуемое, с провокационным декольте и уютно облегающей юбкой. Она очаровательно ковыляла ножками с плотно трущимися пухленькими коленками, а тонкие лодыжки вихляли от напряжения. На ней был чернѣй кружевной пояс, поддерживающий тонкие прозрачные шелковые чулки с прямыми черными швами. Поначалу она была неловка в своих узконосых белых атласных туфлях на шпильках, но потом постепенно освоилась, и притом очень быстро. Бесстыжая шлюшка. Хихикая и почесываясь, делая маленькие движения руками, вертя своей толстой задницей, с крепко, словно орешки, торчащими внутри вышитого блестками лифа сосками, с блестящими, хлопающими, как у куклы, незабудочно-голубыми глазами без зрачков, Малышка не была одной из тех проституток, которые только и делали, что думали, выдумывали и высчитывали, как бы охмурить какого-нибудь беднягу. Она хорошего происхождения. Можно было проверить ее родословную. На внутренней стороне бедра у нее был вытатуирован номер. Она не могла ни потеряться, ни быть заложена, не могла она сбежать и затеряться в Америке, как это делали многие, о чем постоянно пишут. Они надушили ее самыми изысканными духами, один только вдох которых, если вы мужчина, нормальный мужчина, наполнял кровь таким желанием, которое можно удовлетворить только одним способом. Были распространены копии заключения врача, подтверждающего, что у нее нет никаких венерических и других заболеваний и что она девственница. Конечно, в этом не было никаких сомнений, хотя, со своей походкой на высоких каблуках, улыбочкой, румянцем, подсматриванием сквозь пальцы за ухажерами, она иногда производила нехорошее впечатление. Бедная Малышка. Эти сочные, алые губы такого чувственного очертания

предполагали, даже при самом джентльменском и строгом взгляде, мясистое и сочное влагалище.

7

«Грязный паразит! Отвратительное маленькое животное». Они его ненавидели за то, что он есть, словно, воплотившись, он добровольно выбрал это племя и с удовольствием носил в своей утробе тиф, в слоне бубонную чуму, всевозможную заразу в своих экскрементах. Они хотели, чтобы он умер, хотели, чтобы вымер весь его род. Их не удовлетворит ничто другое, когда они бесшабашно палят по городской свалке, а он, визжа от страха, бросается из одного укрытия в другое и следом за ним взлетает от пуль зловонный мусор. Они проклинали его за хруст костей домашней живности в челюстях хищника. У них не было доказательств, но его обвиняли в том, что был съеден заживо целый помет новорожденных поросят. А что случилось с тем ребенком в квартире первого этажа на Одиннадцатой улице, которого мать оставила на двадцать минут, когда отлучилась купить сигарет и молока в магазине на углу Седьмой и Одиннадцатой? «О, мой Бог! О, о, о, не говорите, не могу слышать!» А жуткий пожар посреди холодной январской ночи, возникший от того, что насквозь прогрызли обмотку на электропроводах. Но почему он виноват, почему именно он, как оправдаться среди сотен тысяч его родственников, одержимых ненасытным аппетитом и вечной необходимостью что-то грызть? Ватага мальчишек больно бьет его камнями, улюлюкая и крича, гонит по крышам, а он в отчаянии карабкается по кирпичной стене. Ему удаётся убежать, несмотря на то что когти подвели, и он соскользнул, упал... головокружительно свалился в пространство... в вентиляционную трубу... пять пролетов... вниз на землю... тонко и резко визжа... отвесно падая, кружась и кувыркаясь в полете, блестя испуганными красными глазами. Ведь этим созданиям известен страх, хотя и не известно слово «страх». Они

воплощение страха, то есть страх у них во плоти. Но каждая клеточка его тела стремилась выжить, каждая частичка его существа жаждала бессмертия, так же как мы с вами. (Дарвин мудро советует не размышлять над страданиями живых существ в течение тысячелетий).

Стало быть, он упал с крыши в вентиляционную трубу с высоты, равной приблизительно ста семидесяти его ростам, от носа до хвоста (но исключая длину хвоста, который, если его выпрямить, длиннее тела — восемь дюймов). А мы смотрели, улыбаясь и зная, что маленькая грязная тварь разобьется в лепешку. Поэтому представьте наше негодование и злость, когда мы увидели, что он приземлился на лапы! Ничтожество ушиблось, но не повредилось! Как ни в чем не бывало! После такого падения в наших телах сломалась бы каждая косточка, а он встряхнулся, поднял хвост и убежал! И душная ночь сомкнулась над ним, как темная вода, скрыв его из виду.

8

Это происходило в Национальной оружейной палате, со скидкой арендованной на вечер в несезон. В похожей на пещеру, полной табачного дыма галерее рядами сидели свежесбритые мужчины с неясными, как сон, лицами, с мягкими, как моллюски, глазами, устремленными на Малышку, засунув толстые, словно сигары, пальцы себе между ног, где половые органы, налитые и распухшие, распирали ткань их брюк. Да, но это тщательно охраняемые, избранные мужчины. Да, но это серьезные парни. Большинство из них подчеркнуто игнорировали продавцов всевозможных товаров. Вряд ли теперь время для пива, кока-колы, хот-догов, кукурузных хлопьев. Глаза мужчин жадно следили за Малышкой. *Мой Бог, дай силы выдержать это.* Найти достойную жену в сегодняшнем мире — задача нелегкая. Девушка старомодного образца является объектом наших стремлений. Девушка, вышедшая

замуж за старенького, полуживого папашку, наш идеал. Но где найти такую? В нынешнем растерянном мире! А Малышка тем временем, взбив свои сверкающие рыжие кудряшки, прелестно дула губки, ослепительно белозубо улыбалась, мелодично с придыханием читала миленький стишок, который сочинила специально для этого случая. Малышка вертела свой украшенный камнями жезл, подбрасывала его под своды Палаты, где он в апогее полета на мгновение как бы замирал, а потом летел обратно в ее растопыренные пальцы. Ряды внимательных зрителей взрывались овацией. Малышка делала реверансы, краснела, кивала головкой, нагибалась, чтобы выровнять швы чулок, поясок, который так сильно врезался ей в кожу, что наверняка останется ужасный красный след на долгое время. Малышка смеялась и посылала воздушные поцелуи, ее прелестная кожа сияла, когда аукционист, важный и пузатый в своем смокинге с красным кушаком, прохаживался, говоря в микрофон. Его имя Жорж Брик.

— Та-ак, так, так. Слышу пять тысяч, я слышу восемь тысяч, а теперь десять, десять, десять тысяч. — И все это таким таинственным, высоким, певучим и завораживающим голосом, что торг начинается мгновенно. Японский джентльмен делает ставку, коснувшись рукой мочки левого уха, смуглый джентльмен в тюрбане подает знак движением своих темных жгучих глаз. — Та-ак, так, так, я слышу пятнадцать тысяч, двадцать тысяч, а теперь двадцать пять, двадцать пять, двадцать пять тысяч. — Интересный мужчина с тевтонскими усами не может устоять. — Да. — Средиземноморский мужчина, джентльмен с бритой головой, джентльмен из Техаса, тяжелый потный джентльмен, трет переносицу своего красного вздернутого, как у мопса, носа. — Я слышу тридцать тысяч, а теперь тридцать пять, а вот и пятьдесят. — Аукционист подмигивает и подталкивает Малышку к краю сцены. — Ну давай, детка, теперь не время стесняться. Давай, сладкая! Мы все знаем, зачем ты сегодня здесь. Не скромничай, ты, пиписка, неуклюжая коровья дырка. Господа, взгляните на эти соски, на это вымя, тут есть

на что посмотреть, крепенькие! — И с балкона, доселе незаметный, симпатичный седовласый джентльмен подает знак рукой в белой перчатке. *Да.*

9

Он был изувечен в сраженьях, все его тело покрывали шрамы и мелкие гнойные нарывы. На некогда гордом хвосте была гангрена, кончик отгнил, но он не падал духом и не жаловался, вгрызаясь в дерево, бумагу, изоляцию, в тонкие листы железа, жуя с обычным аппетитом, с экстазом челюстей, зубов, кишок и ануса, поскольку, если бы отведенное ему время было бесконечно, как и его аппетит, он бы обязательно прогрыз себе путь сквозь весь мир, испражня его позади себя кучками влажных темных катышков. Но природа распорядилась иначе: особям, к которым он принадлежал, отведено в среднем около двенадцати месяцев существования... если все идет хорошо. А в то майское утро на четвертом этаже наполовину пустого старинного кирпичного дома на Сулливан-стрит, где на первом этаже находилась кондитерская «Метрополь», самая лучшая из местных кондитерских, дела обстояли совсем неважно. «Мы специализируемся в изготовлении свадебных тортов с 1949 года».

Он устроился в выбоине в стене и нервно грыз что-то теоретически съедобное (затвердевшие сплюснутые останки какого-то сородича, разрезанного пополам экипажем), фыркая и моргая в припадке голода. Да, это был четвертый этаж, где он обитал вместе с тысячами приятелей, поскольку это одна из особенностей Природы. Когда Коричневые и Черные занимают одно помещение, то Коричневые (крупные и агрессивные) живут в нижних этажах, а Черные (более осторожные, философского склада) оттесняются наверх, где труднее раздобыть пропитание. Вот он сидит и ест или пытается есть. Вдруг раздается звук, похожий на звук рвущегося шелка и на него летит пушистое тело. Он схвачен. Клыки и когти дьявольски длиннее его

собственных. Задние ноги его вращаются как роторные лопасти, каждая блоха, каждый клещ на его перепуганном маленьком теле в панике, каждая клеточка его существа кричит о пощаде, но луноликая мохнатая Шеба безжалостна. Она, красивая серебристо-муаровая кошечка, обожаемая своими хозяевами за теплое, нежное мурлыканье, здесь, в это майское утро в старинном кирпичном здании, где расположена кондитерская «Метрополь», предается безумству убийства, рвет на части, пожирает. Они сплелись в самом интимном объятии, воют, визжат. Он готов вцепиться ей в сонную артерию, но Шеба уже добралась до его горла. Они катаются в грязи, и не только ужасные зубы Шебы, но и ее безжалостные задние лапы убивают его. Но он здорово дерется, выгрыз из ее уха треугольный кусок мяса. Правда слишком поздно. Видно, что более тяжелая Шеба победит. Несмотря на то что он визжит и кусается, Шеба вырвала его горло. Фактически она его расчленила. Его беспомощные внутренности скользкими полосками повисли у нее в зубах. Что за шум! Что за вой! Можно подумать, кого-то убивают! И он умирает, а она начинает его пожирать. Свежая кровь лучше всего, крепкие волокнистые мышцы лучше всего. Прелестная Шеба смыкает челюсти на его шишковатой маленькой головке, ломает череп, добравшись до мозгов, и он кончается. Просто кончается. А жадная муаровая кошечка (которая даже не голодна: хозяева следят, чтобы она была гладкой и сытой) съедает его на месте, хрустит его косточками и хрящами, проглатывает его членистый хвост, его красивые розовые ушки, его глаза, нежное мясо. А потом она умывается, чтобы избавиться от всяких воспоминаний о нем.

Случилось, однако, вот что: внезапно проснувшись после обеда от неприятного ощущения в животе, Шеба содрогнулась от тошноты. Ее неграциозно корчило и тошнило на лестнице, когда она спускалась в конди-

терскую «Метрополь», жалобно мяукая. Но никто ее не слышал. Раскачиваясь на стропиле над одной из огромных кадок с тестом для ванильного торта, бедная Шеба вытошнила туда *Его* — бесчисленные кусочки и лоскуточки его тела. Конвульсивно даваясь и икая, она изрыгнула наконец его усы, которые теперь распались на полу- и четвертьдюймовые фрагменты. Бедная киска! Бежит домой, кроткая и несчастная, а ее любящая хозяйка берет ее на руки, укачивает, бранит: «Шеба, где ты была?» В тот вечер Шеба получает свой ужин раньше обычного.

11

Безумно влюбленный мистер Х — самый преданный поклонник. А потом самый замороженный жених. Он покрывает поцелуями розовое румяное личико Малышки, обнимает ее так крепко, что она восклицает: «О!» А вся свадебная процессия, в особенности ее папа, довольно смеется. Мистер Х — достойный, интересный пожилой джентльмен. Он соль земли. Он ведет Малышку на середину паркетного зала под звуки вальса «Я так тебя люблю». А как элегантно он танцует, как красиво он поддерживает свою невесту, кроваво-красная гвоздика в петлице, в глазах кусочки сухого льда, широко обнажены белоснежные зубные протезы, как грациозны реверанс и поклон этой пары. Малышка в захватывающе красивом старинного покроя подвенечном платье, которое носили еще ее мама, бабушка и прабабушка, как и фамильное обручальное кольцо, в светло-коричневые кудри вплетены цветы ландышей. Малышка смеется, показывая розовую внутренность своего рта. Она взвизгивает: «О!» — когда муж прижимает ее к груди и крепко целует в губы. Его большие сильные пальцы гладят ее плечи, грудь, бедра. Поднимаются бокалы шампанского, звучат тосты, веселые пьяные речи не умолкают далеко за полночь. Сам епископ произносит благословение. Сидя на коленях мистера Х, Малышка ест из рук жениха клубнику и

свадебный торт, сама тоже кормит его клубникой и тортом. Они облизывают пальцы друг друга попеременно с поцелуями и смехом. Жуя торт, Малышка неприятно ощущает что-то твердое, острое, колючее, похожее на хрящ, или кусочки костей, или крошечные кусочки проволоки. Но она слишком хорошо воспитана и смущена, чтобы выплюнуть посторонние предметы, если это вообще что-то постороннее. На всякий случай она постепенно отодвигает их языком за щеку. А мистер Х бокалом шампанского смывает кусок пирога себе в желудок, и все проглатывает, даже не моргнув глазом. Он шепчет в розовое ушко Малышки, что это самый счастливый день в его жизни.

12

Это был эксперимент бихевиоризмальной* психологии, феномена привыкания, доклад о котором предполагалось опубликовать в «Научной Америке», с тем чтобы произвести немало шума. Но, разумеется, его не предупредили, бедное маленькое ничтожество, согласия своего он не давал. Полуголодный, сидя в плетеной клетке и нервно грызя свои собственные задние лапки, он быстро научился реагировать на малейший жест своих мучителей. Записываемое на монитор его сердцебиение панически ускорялось, глазные яблоки бешено вращались. Метафизическое недомогание поразило его душу, как сернистый ангидрид всего через несколько часов. Но его мучители не останавливались, потому что оставалось еще много граф и разделов, которые надо было заполнить. В эксперименте участвовало много молодых ассистентов. Чтобы вызвать страх у безответного зверька этой породы, они пугали его с возрастающей жестокостью, пока над его головкой не стал подниматься естественный пар. Они подносили к его шерсти раскаленные иголки, кололи этими иголками его в анус, опускали его клетку над

* Бихевиоризм — ведущее направление американской психологии первой половины XX века. — *Прим. ред.*

огнем, смеялись до слез над его уловками, трясая и крутя клетку, вращая ее со скоростью девяносто миль в час. Их изумляло, что он реагировал не только на жесты, но даже на слова, будто понимал. А потом, что интереснее всего, — это будет трудным вопросом в противоречивой статье в «Научной Америке» — спустя сорок восемь часов он начал реагировать даже на мысли о том, что пытка будет возобновлена! (При условии, что экспериментаторы нарочно думали об этом в пределах лаборатории, а не снаружи). Замечательное научное открытие. К сожалению, после его смерти никогда больше не повторенное, а следовательно, совершенно бесполезное для науки и не более чем шутка в кругах экспериментальной психологии.

13

Как мистер Х обожал свою Малышку! Любовно мыл ее в душистой мыльной пене, вытирал и расчесывал ее длинные волнисто-кудрявые светло-коричневые волосы, спадающие до колен, ворковал, проникал в нее языком. После бурной ночи супружеской любви приносил ей в постель завтрак, настаивал на том, чтобы самому брить своей опасной бритвой персиковый пушок, покрывавший ее дивное тело, а также жесткие «неприглядные» волосы под мышками, на ногах и в промежности. Недели, месяцы. Пока однажды ночью пенис не подвел его. Он обнаружил, что откровенно устал от ее голубых глаз. От ее розовых губ бантиком. Он понял, что ее гнусавый плоский голос ранил его чувствительные нервы, ее привычки стали ему противны. Несколько раз он замечал, как она чесала свою толстую задницу, когда думала, что никто ее не видит. Она не была достаточно утонченной, чтобы не ковырять в носу. Часто после нее в ванной воняло, на фамильном белоснежном постельном белье появились пятна крови от менструации, в стоках собирались ее курчавые волосы, ее дыхание по утрам затхло пахло, как его старые ботинки. Она глядела на него больши

ми, грустными, вопрошающими коровьими глазами. «О, что случилось, дорогой? О! Разве ты меня больше не любишь? Что я сделала!» Однажды, когда она опустила свою тушу ему на колени, обвинила за шею пухлыми руками, дыхла в лицо мясным дыханием, он неожиданно и жестоко раздвинул колени. Малышка неуклюже шлепнулась на пол. Когда она изумленно и обиженно уставилась на него, он ударил ее обратной кисти, окровавив нос. «О, ты смеешь, шлюха, ты смеешь! — хрюкнул он. — Смеешь! Да!»

14

Плодить и плодить. Размножаться. Безумство размножения. В расцвете половой зрелости он наплодил дюжины, сотни, тысячи потомков. Теперь они носятся и пищат повсюду, маленькие твари, везде под ногами, отталкивают его, когда он ест, нападают на него стайками. До чего быстро растут дети! Поразительно, как быстро растут дети, в один день на дюйм, на следующий уже два дюйма, потом четыре, а какие у них крошечные идеальные пальчики, когти, ушки, усики, грациозные хвостики, резцы, зверский аппетит.

И вдруг его охватил ужас от всего этого: «Я не могу умереть, я расплодился до бесконечности».

Это не его вина! Его враги до сих пор разбрасывают шарики пушисто-вязкой отравы, чтобы избавить округу от него и его отпрысков. Но в том не его вина! Им и его сестрами овладела лихорадка. Ежедневно, ежечасно, ни минуты на размышление. Всего два дюйма длиной, некий кусочек плоти, ниточка, горячий и твердый от крови, быстрый, как пистон, неустанный, выскакивающий из мягкого мешочка между задними лапами. Да он и не мог сопротивляться! Это еще важнее, чем грызть, и вдобавок гораздо приятнее. Он сам всего лишь дополнение! А поэтому невиновен! Но его врагам, замышляющим против него, все равно. Они жестоки и хладнокровны, повсюду разбрасывая шарики. Ему бы лучше знать (не так ли?), но он не

способен сопротивляться, пробиваясь в море пищашего извивающегося молодняка, волнующееся море, темные волны, волна за волной, жуют с иступленной жадностью, кажется, что это единый питающийся организм. Однако эта дьявольская отравка убивает не сразу на месте. Она вызывает дикуую жажду, поэтому сразу он и тысячи его сыновей и дочерей бегут из дома, в панике ища воду, чтобы утолить эту безумную жажду. Их тянет к докам, к реке. Там толпы людей видят, как они появляются темной волной — блестящие глаза, усы, розовые, почти голые хвосты. Они никого и ничего не замечают в своем стремлении к воде. Многие из них тонут в реке, другие пьют, пьют и пьют, пока, как задумано, их бедные тела не раздуваются и не лопаются. А городские ассенизаторы в противогазах страшно ругаются, сгребая лопатами небольшие горки их трупиков в кузова грузовиков Дампстера. Потом водой из шлангов они моют тротуары, улицы и доки. На фабрике удобрений он и его потомство будут раздавлены, перемолоты, перетерты в порошок и проданы для коммерческого и частного использования. Конечно, без упоминания об отраве.

15

Становясь все более странно-равнодушным к переживаниям своей жены, мистер Х в первый год их супружества начал водить домой «деловых партнеров» (так он их называл) поглазеть на Малышку, подсматривать за ней в ванной, шептать непристойности на ушко, прикасаться, гладить, ласкать, в то время как мистер Х, куря сигарету, наблюдал! Сперва Малышка была слишком удивлена, чтобы понять, потом она залилась слезами негодования и обиды, потом умоляла грубиянов о пощаде, потом в ярости побросала шелковые тряпки и прочее в чемодан, потом очутилась лежащей в луже на полу ванной. Дни и ночи проходили в беспамятстве. Ее хранитель кормил ее скудно и нерегулярно. Были обещания солнечного света, зелени,

рождественских подарков. Обещания давались и не выполнялись. Потом однажды на пороге появилась фигура в маске и в позвякивающих военных регалиях. Он стоял подбоченясь, в перчатках, в поясе с медными заклепками, с кобурой и пистолетом на боку, в блестящих черных кожаных сапогах, носки которых Малышка жадно целовала. Ползая перед ним, она обвивала его лодыжки своими длинными кудрявыми волосами, она умоляла: «Пощади! Не обижай меня! Я твоя! В печали и радости, как поклялась Богу!». Малышка полагала, что человек в маске был мистером Х (ибо разве это не разумное предположение при таких обстоятельствах?). Она послушно побрела за ним в спальню к старинной с медными столбами кровати и не сопротивлялась хриплому, грубому, долгому и больному совокуплению, если это можно так назвать. «Какое оскорбление! Какая боль!» И почти в конце, когда маскированный торжествующе снял маску, Малышка поняла, что это был незнакомец... а сам мистер Х стоял у кровати и, спокойно наблюдая, курил сигару. После всего случившегося проходили недели, месяцы, являлись один за другим «деловые партнеры», всякий раз новые, а жестокость мистера Х соответственно возрастала. Вряд ли его уже можно было назвать джентльменом. Его жену, связанную и беспомощную, на их супружеском ложе насиловал мужчина с отточенными, как бритва, ногтями, полосуюя ими ее нежную кожу. Потом кто-то с блестящей чешуйчатой кожей. Мужчина с бородавками, как у индюка, мужчина с наполовину отрезанным ухом, мужчина с совершенно лысой головой и кровожадной улыбкой, некто в гнойных мокрых ранах, подобно татуировке покрывавших его тело. Малышку били за непослушание, Малышку жгли сигарами, Малышку хлестали, пинали, колотили, почти душили, давили, топили. Она кричала, задыхалась от пропитанного слюной кляпа во рту, металась, содрогалась. Из нее липкими комьями шла кровь, что особенно не нравилось мистеру Х, и он наказывал ее дополнительно, как подобает мужу, лишая своего доброго внимания.

От голода голова была необыкновенно легкая, когда он прятался от врагов под кучей кирпичей. Он начал грызть свой собственный хвост — сперва осторожно, потом более жадно, с аппетитом. Остановиться было невозможно — сперва бедный тощий хвостик, потом двадцать розовых пальчиков, задние лапки, филейную часть, окорок, кишочки, потроха, мозги и вообще все! И вот наконец его косточки чисто обглоданы, обнажилась восхитительная симметрия и красота скелета. Теперь ему хочется спать. Старательно умывается аккуратными чешущими движениями лапок, потом свертывается калачиком на теплом сентябрьском солнышке и, вздохнув, засыпает: абсолютный покой.

Однако двое мальчишек-хулиганов, увидев его спящим на его любимом кирпиче, набрасывают на него сетку, засовывают кричащего от ужаса в картонную коробку, закрывают сверху крышкой с дырками и доставляют на велосипеде джентльмену с аккуратно причесанными белыми волосами и приятным голосом, который платит мальчикам по пять долларов каждому, разглядывает его, скорчившегося в углу коробки, и потирает довольно руки, тихонько усмехаясь: «Ну! Какой же ты корявый парень, не так ли!»

К немалому удивлению, этот джентльмен его кормит, изредка грубо берет за загривок, чтобы разглядеть его лоснящиеся идеально правильные части тела, острые зубы в особенности; и с радостным удовольствием, громко дыша, бормочет: «Да, верю, ты подойдешь, старина!»

Хотя бедную Малышку более не выпускали из дома и часто запирали в спальне на втором этаже, она тем не менее сумела приспособиться к изменившимся условиям жизни, сохранив похвальную силу духа и юмор. Большую часть дней, лениво валяясь в постели, делая маникюр, поглощая отборный шоколад, подаренный кем-то из деловых партнеров мистера Х, она смотрела телевизор (особенно любила Евангельские проповеди), жаловалась сама себе, как это делают американские домохозяйки, залечивала раны, вырезала рецепты из журналов, сплетничала по телефону со своими подружками, делала покупки по каталогу, читала Библию, толстела, печалилась, думая о будущем, выщипывала брови, втирала в кожу душистые кремы — сохраняла оптимизм. Во всяком случае, пыталась это делать. Она старалась не думать о странном изменении ее замужней жизни, потому что Малышка была не из тех жен, которые плачут, ноют, ворчат. Нет, только не Малышка! Поэтому представьте ее удивление и ужас, когда однажды вечером мистер Х приехал домой и вбежал в спальню, где она была привязана белыми шелковыми веревками к четырем столбам по углам кровати. Он радостно распахнул свое пальто из верблюжьей шерсти: «Посмотри, что я тебе принес, дорогая!» — сказал он, расстегивая брюки трясущимися пальцами. И когда Малышка взглянула, невероятно, он выпрыгнул — пищащий, с красными глазами, зубы блестят, покрытые пеной, жесткий голый хвост торчит. Душераздирающие крики Малышки наполнили спальню.

Мистер Х и его приятели наблюдали за отношениями между Ним (как сокращенно они его называли) и Малышкой с жуткой беспристрастностью ученых: как поначалу они усердно и даже истерично отвергали

друг друга. Малышка кричала даже с кляпом во рту, когда его накрыли сеткой вместе с ней. Какая борьба! Что за акробатика! Он негодующе визжит от животного страха, кусается, царапается, сражается не на жизнь, а на смерть. Но и Малышка, несмотря на ее дряблую мускулатуру и явную вялость, тоже устроила отчаянную драку! И это продолжалось часами, всю ночь и две последующие. Никогда не было ничего более замечательного на Берлингейм Вей, привлекательной тихой улочке, где жил мистер Х.

20

Он не хотел этого, нет, определенно он этого не хотел. Он сопротивлялся изо всех сил своего маленького пушистого тела, когда, надев перчатки, мистер Х засунул его туда — бедная Малышка, распятая и беспомощная, истекала кровью от тысяч укусов и царапин, оставленных его когтями и зубами. Сперва засовывали туда его рыльце, потом голову, потом всего целиком, почему туда... прямо туда... А он захлебывался, почти задыхался, зубами прокладывая себе путь, но даже тогда мистер Х, окруженный жадно наблюдавшими приятелями, трясущимися руками толкал его все дальше и дальше... в горячий от крови, резко пульсирующий эластичный тоннель между толстыми ляжками бедной Малышки... и еще дальше, пока снаружи остались только его задние лапки и розовый восьмидюймовый хвост. Он вгрызался в теплые стенки, которые так сильно облегали и сочились струйками крови, что он едва не захлебнулся, а непроизвольные спазмы стенок влагалища бедной Малышки чуть не раздавили его. Если бы он и Малышка одновременно не потеряли сознание, неизвестно чем бы закончилась эта борьба. Даже непристойно возбужденные и обезумевшие мистер Х с приятелями признали, что сражение закончено.

Отмечено, что на мученическом костре в Руане, когда пламя бешено поднималось все выше и выше, поглощая ее, Жанна д'Арк кричала восторженным голосом: «Иисус! Иисус! Иисус!»

«Кто приберет в комнате?» С больной головой, с промокшей гигиенической прокладкой между истерзанных ног она боится увидеть в зеркалах свою распухшую челюсть и подбитый глаз, тихо плачет, осторожно шлепая по полу в тапочках и японском халатике. Единственное утешение, что почти в каждой комнате есть телевизор, и поэтому, даже когда рычит пылесос, ей не одиноко: с ней Реверенд Тим, Бровер Джесси, Свит Алабам Макгаван. Хоть какое-то утешение. Малышка страдала не только от оскорбления и унижения со стороны того, кто отвечал перед всем миром за ее эмоциональное благополучие, не только ослабела от едва припоминаемой физической травмы, рискуя, как ей казалось, получить заражение и рецидив старой женской болезни — не только это. Но она была вынуждена утром навести в доме порядок, а кто же еще? Отстирать залитые кровью простыни — дело нешуточное. Ползая на четвереньках, она пыталась отмыть пятна на ковре, отпылесосить его. Мусорный пакет переполнен, новый установить трудно — вечная проблема. Испытывая головокружение, несколько раз чуть не умерев от приступов пронизывающей боли, она присаживается, чтобы перевести дух. Прокладка у нее между ног насквозь промокла от черной крови, как кровяная колбаса. А когда она пытается почистить жаропрочную керамическую кастрюлю металлической терочкой, та буквально тонет в слезах. «О! Куда подевалась любовь!» Но как-то вечером он ее удивляет, с детской непринужденностью сообщая, что сегодня ее день рождения. А она уже извелась, думая, что никто

не вспомнит. Они входят в ресторан «Гондола», один из немногих хороших ресторанов, где можно заказать даже пищу и где гости уже ждут. «С днем рождения!» Воздушные шарик, поет хор. «Ты думала, что мы забыли?» Она заказывает шипучую сливянку, которая сразу бьет ей в голову. Она хихикает и, прижав пальцы к губам, сдерживает маленькую отрывку. Позднее ее муж ругает официанта, но она, решив избежать конфликта, направляется прямо в туалет попудриться и проверить макияж в зеркале с льстивой розовой подсветкой, и видит, что, слава Богу, синяк под левым глазом проходит. Потом она устилает толчок туалетной бумагой, чтобы не подцепить инфекцию. С появлением СПИДа Малышка особенно осторожна. Потом она некоторое время сидит на толчке, совершенно ни о чем не думая, пока, повернув голову, просто повернув голову, хотя, возможно, почувствовав его присутствие менее чем в шести дюймах, она видит на слегка закопченном подоконнике окна с шероховатым стеклом красные глаза большого грызуна. «О, Господи, это же крыса!» Эти глаза смотрят на нее. Сердце бешено вздрагивает и почти останавливается. Крик несчастной Малышки пронизывает здание насквозь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ: РАЗМЫШЛЕНИЕ О ГРОТЕСКЕ

Что есть «гротеск» и что есть «ужас» — в искусстве? И почему эти, на первый взгляд отталкивающие, состояния ума для некоторых представляют неизменный интерес?

Я воспринимаю как наиболее глубокую тайну человеческого существования тот факт, что каждый из нас существует индивидуально и воспринимает мир через призму своего «Я», оттого эта «субъективность» недоступна, нереальна» и таинственна для других. И на поверку выходит, что все окружающие нас люди в самом глубоком смысле — незнакомцы.

Разнообразие гротеска столь велико, что он не поддается определению. Здесь мы сталкиваемся с безграничностью воображения. И примеров тому немало: начиная с англосаксонских саг о чудовишной матери Гренделя в «Беовульфе»*, до озорно-уродливых горгулий на кафедральных стенах; от ужасающе обыденных кровавых сцен битв в «Иллиаде» до бредовой реалистичности «изумительного приспособления» в «Колонии уголовников» Франца Кафки**; от комически-кошмарных образов Хиеронимуса Босха** до стратегической артистичности кино двадцатого века — переработка Вернером Герцогом в 1979 году классических

* Беовульф — древний англосаксонский эпос.

** Ф.К. Кафка, Х. Босх — мировые мастера гротеска. — *Прим. ред.*

лент немецкого немого кино 1922 года «Вампир Носферату» Ф.В. Мюрнау. Чувственность «гротеска» питает гений Гойи и сюрреализм китча Дали. Грубая первобытная сила Г.П. Ловеркрафта и вычурная элегантность Исаака Дайнессена; фаталистическая простота сказок братьев Гримм, исключительным примером видения которой является «Роза для Эмили» Уильяма Фолкнера, — все это являет нам историческую хронику гротескового образа.

Затянувшиеся немислимые мучения шекспировского Глосестера в «Короле Лире» ни что иное, как вершина театрального гротеска. Таковы, но менее выразительны судьбы несчастных героев и героинь Сэмюэля Беккета* — например, женская линия в «Гри-масае». Начиная с гоголевского «Носа» до «Давней истории» Пола Баулса, от демонических образов Макса Клингера**, Эдварда Мюнха, Густава Климта*** и Эгона Шиле, до Френсиса Бэкона****, Эрика Фишла, Роберта Гобера; от Иеремии Готхельфа («Черный паук», 1842)***** до постмодерновой фантастики Анжелы Картер, Томаса Лиготти, Клива Баркера, Лизы Тоттл и неизменных бестселлеров Стефена Кинга, Питера Страуба, Анне Райс — везде мы узнаем яркие черты гротеска, как бы сильно ни различались стили писателей. (Разве истории о привидениях бесспорно относятся к жанру гротеска? Нет. Викторианские рассказы о привидениях в целом слишком «красивы», слишком женственны, независимо от пола писателя. Большинство произведений Генри Джеймса***** о привидениях, так же как и его современников Эдит Вартон и Гертру-

* С. Беккет (р. 1906) — один из основоположников драмы абсурда. Нобелевский лауреат (1969 г.) — *Прим. ред.*

** Макс Клингер (1857—1920) — немецкий живописец, график, скульптор. — *Прим. ред.*

*** Густав Климт (1862—1918) — австрийский живописец. — *Прим. ред.*

**** Бэкон Френсис (1561—1626) — англ. философ, родоначальник материализма. — *Прим. ред.*

***** Готхельф Иеремиа (1797—1854) — швейцарский писатель. — *Прим. ред.*

***** Джеймс Генри (1843—1916) — американский писатель. — *Прим. ред.*

ды Афертон, хотя и написаны элегантно, слишком манерны, чтобы быть квалифицированы как таковые.) Гротеск — это полулюди-полуживотные на «Острове доктора Моро» Г. Уэллса или табу-образы самого вдохновенного создателя гротескных кинофильмов нашего времени Давида Кроненберга («Муха», «Стая», «Мертвые звонари», «Голый ленч»). А это значит, что для гротеска характерна откровенная физичность, которую не может скрыть никакая гносеологическая интерпретация*. Фактически гротеск можно определить как антитезу «красивого».

В 1840 году Эдгар Аллан По, наш величайший и самый гонимый мастер гротеска, опубликовал «Истории гротеска и арабеска», содержащие произведения, ставшие классикой, — «Падение дома Ашеров», «Предательское сердце», «Колодец и маятник», «Маска Красной смерти», «Бочка и амонтильядо». К тому времени существовала богатая, обширная литература, которую окрестили архитектурным термином «Готика». Эдгар По был хорошо знаком с ней: «Замок Отранто: готическая история» Хораса Валпола (1764), «Отравитель Монтремо» Ричарда Гамберланда (1791), «Тайны Адольфо» Анны Рэдклиф (1794) и «Итальянец» (1797), «Монах» М.Г. Льюиса (1796), «Франкенштайн» Мэри Шелли (1818), «Мелмот бродяга» С.Р. Матурина (1820), мерзкие басни Э.Т.А. Гофмана, среди которых «Песочный человек» был более других в духе Эдгара По. Сюда же можно отнести истории американских коллег Эдгара По — Вашингтона Ирвинга (чей приятный стиль скрывает гротески в «Рип Ван Уинкл», «Легенде сонной пещеры») и Натаниэль Хоторн. Был еще наш главный американский готический роман «Виеланд» (1798) Чарльза Брокдена Брауна. В свою очередь влияние По на литературу гротеска — и на жанр мистического детектива — было столь сильно, что не поддавалось измерению. Но кто не поддался влиянию Эдгара По? Хотя бы произвольно? Косвенно? Каково бы ни

* Гносеология — то же, что теория познания. — *Прим. ред.*

было это влияние, в зрелом возрасте или в детстве, оно кажется всепоглощающим.

Пристрастие к искусству, обещающему напугать нас, потрясти, порой даже вызвать отвращение, кажется так же сильно присуще человеческой психике, как и противоположное стремление к дневному свету, рациональности, научному скептицизму, правде и «реальному» (не думая о том; находится ли рациональное в контакте с «реальным»).

Разве лукаво-зловещие гермафродитные образы Обри Бердслея менее «реальны», чем подробные портреты Джеймса Макнейла Вистлера? Эстетическое чувство, неприемлющее мрачные эксцессы «Камиллы» Шеридана Ле Фану (1871) или «Дракулы» Брэма Стоукера (1897), может благосклонно отреагировать на истории про вампиров, написанные в более литературном духе, такие как «Поворот винта» Генри Джеймса и символистско-реалистические работы Томаса Манна «Смерть в Венеции», «Марко волшебник», «Тристан» («...в то время как младенец Антон Клотержан, изумительный экземпляр ребенка, с чудовишной энергией и безжалостностью захватывал свое место в жизни, его молодая мать ежедневно таяла от медленной и незаметной лихорадки»). Среди всех чудовищ, вампир традиционно привлекает и отталкивает, поскольку вампиры почти всегда изображались эстетически (т.е. эротически) привлекательными. (Питер Квинт как шарнир, рыжий, без шляпы, «очень прямой», на который навинчивается «Поворот винта» Джеймса — если только он сам не винт.) И это есть запретная правда, неприкосновенное табу — что зло не всегда отвратительно, но часто даже привлекательно; что у него есть власть делать нас не только жертвами, как делают природа и случай, но сообщниками.

Дети особенно восприимчивы к образам гротеска, поскольку дети пока что учатся различать «реальное» и «нереальное»; что хорошо, и что плохо. Жизненный опыт самых маленьких детей, со временем отодвинутый и забытый, должен быть калейдоскопом ощущений, впечатлений, событий, «образов», связанных со

«Смыслом» — как понять этот цветущий, гудящий мир? Самый ранний и ужасный образ моего детства, врезавшийся в сознание так же глубоко, как любое «реальное» событие (а я жила на маленькой ферме, где забой цыплят происходил довольно часто) обрушился на меня из, казалось бы, безобидной детской книжки Льюиса Кэролла «Алиса в Зазеркалье». В последней главе этой, в общем беспокойной, книги Алису выбирают королевой на балу, который начинается с обещания, а потом стремительно превращается в беспорядок.

«— Будь осторожна! — завопила Белая Королева, обеими руками схватив Алису за волосы. — Должно кое-что случиться!»

А потом... в мгновение произошло всякое разное. Свечи выросли до потолка... Что касается бутылок, то они, каждая, взяли по паре тарелок, которые быстро приладили вместо крыльев, а вилки вместо ног, и разбежались в разные стороны...

В тот момент Алиса услышала рядом хриплый смех, и повернулась посмотреть, что случилось с Белой Королевой, но вместо Королевы в кресле сидела баранья ножка.

— А вот и я! — раздался голос из супницы, и Алиса повернулась, как раз чтобы увидеть широкое, доброжелательное лицо Королевы, улыбнувшееся ей из супницы, перед тем как нырнуть обратно в суп.

Нельзя было терять ни минуты. Некоторые гости уже лежали на тарелках, а половник приближался к креслу Алисы...»

Алиса избегает перспективы быть съеденной, очнувшись ото сна, точно так же, как, проснувшись, я избавилась от приключений в Стране Чудес. Но какое утешение, если память хранит невысказанное, а невысказанное не может быть обращено в сон?

В более точном смысле искусство, представляющее «ужас» в эстетических формах, сродни экспрессионизму и сюрреализму, поднимая на поверхность скрытые (и, возможно, подавленные) состояния души. Даже

если бы теперь, в этот деконструктивный век, психологически и антропологически мы не были бы способны расшифровать непонятные документы, сказки или легенды, произведения искусства или мнимо объективные истории и научные доклады, мы должны были бы немедленно почуять в гротеске то, что он одновременно «реален» и «нереален», так же как вполне реальны состояния ума — эмоции, настроения, изменчивые наваждения, вера, — хотя и неизмеримы. Субъективность, которая является сутью человека, в то же время есть тайна, неизбежно разъединяющая нас.

Особенность романов ужаса в том, что мы вынуждены читать их быстро, с растущим чувством отвращения, и отсюда с всеобщим укоренением скептицизма, мы обживаемся в нем без вопросов и фактически как его протагористы*. Мы не видим пути назад, а только вперед. Подобно сказкам, произведения гротеска и ужаса делают нас снова маленькими детьми, вызывая в душе что-то первозданное. Внешние признаки ужаса доступны, многочисленны, несметны — внутренние неопределенны. О том, что такое видение, мы можем догадываться, но, населяя разнообразный, общительный, занятой внешний мир, в котором мы приходимся друг другу социальными существами с именами, профессиями, со своими ролями, отличительными чертами и в котором мы, чаще всего, чувствуем себя дома — а не разумнее ли не делать этого?

Джойс Керол Оутс
Апрель, 1993.

*Протагор — др. греч. философ, виднейший из софистов. Утверждал субъективную обусловленность знания. «Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют». — *Прим. ред.*

Оутс Джойс Кэрол

О90 Одержимые. — Роман. — Пер. с англ. Ю.К.Рыбаковой — М.: АО „Издательство «Новости»“, 1998. — 352 с.

(Серия «Мировой бестселлер»)

Книга издана в суперобложке

Погружаясь в причудливый океан своей фантазии, герои книги Оутс пытаются вырваться из мрака повседневности. Несмотря на то, что трагическая развязка кажется неизбежной...

**УДК 820 (73)—31
ББК 84.7 (7 Сое.)**

Джойс Кэрл Оутс
ОДЕРЖИМЫЕ
Серия «Мировой бестселлер»

Заведующий редакцией *Т.Ю. Савинова*
Ответственный за выпуск *И.А. Новикова*
Редактор *Е.Г. Маришина*
Художественный редактор *М.М. Занегин*
Технический редактор *Н.А. Федорова*
Корректор *А.Л. Курочкина*
Технолог *В.Н. Каткова*

ЛР № 040676 от 28 февраля 1994 г.

Подписано в печать 20.04.98.
Формат издания 84×108¹/₃₂.
Гарнитура Таймс. Печ. л. 11,0. Усл. печ. л. 18,48.
Тираж 5000 экз. Заказ № 3218. Изд. № 9372.

АО „Издательство «Новости»“
107082, Москва, Б.Почтовая ул., 7.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Книжной фабрике № 1 Госкомпечати России.
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.



Джойс Кэрол ОУТС

Джойс Кэрол Оутс - автор 23 романов, многочисленных рассказов и сборников поэзии. Ее яркий талант был отмечен Национальной премией в области литературы и неоднократно — премией имени О'Генри. Сборник «Одержимые» получил единодушную высокую оценку самых взыскательных критиков и пользуется большой

популярностью у читателей. «Это одно из прекраснейших творений Оутс. Она по-прежнему продолжает удивлять», — писала «Чикаго трибюн». «Великолепная книга», — отмечала «Нью-Йорк таймс бук ревью». Живет писательница в Принстоне, штат Нью-Джерси. Она — профессор гуманитарных наук в Принстонском университете.

ОДЕРЖИМЫЕ

...Флоренс страшно поразились, увидев этот дом. Он был точной копией игрушки, подаренной ей в далеком детстве. Да и хозяин напоминал одну из детских кукол. Загадочный мужчина начинает угрожать Флоренс, бить ее, как вдруг... она просыпается. Но был ли это лишь ночной кошмар? И кто же тогда сама Флоренс? Человек или кукла? Ведь грань между сном и явью почти стерта.

Погружаясь в причудливый океан своей фантазии, герои книги Оутс пытаются вырваться из мрака повседневности. Несмотря на то, что трагическая развязка кажется неизбежной...

АО „Издательство «Новости»“ продолжает публикацию серии «Мировой бестселлер», в которую войдут лучшие и наиболее читаемые сегодня в мире книги. Вам представится уникальная возможность познакомиться с произведениями и авторами, прочно занявшими свое место в современной мировой литературе и впервые издающимися на русском языке.



Новости